человек загадка

Борис
СОКОЛОВ

ВАЛЬКИРИЯ
И БЛУДНИЦА
РЕВОЛЮЦИИ

КОЛЛОНТАЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Среди деятелей революционного движения в России было немного женщин из высшего общества. Что же заставило дочь русского генерала, героя Русско-турецкой войны, примкнуть к революционерам и почему ей доверяли вожди советского государства? Какими тайнами была окутана жизнь первого народного комиссара государственного призрения и автора концепции «Новой женщины»? Как удалось многолетнему представителю советского государства уцелеть в годы репрессий? На эти и многие другие вопросы читатель найдет ответ в предлагаемой книге.

Знак информационной продукции 12+

- Предисловие
- Детство и юность
- Начало революционного пути
- В эмиграции
- Первая мировая
- В огне революции
- В оппозиции
- На дипломатическом поприще
- Вторая мировая война
- Последние годы

Предисловие

Александра Михайловна Коллонтай была революционеркой по призванию. Дочь весьма состоятельного царского генерала, она была принята в петербургском высшем свете и легко могла найти себе достойного жениха. Тем более что была женщиной красивой и умела сводить мужчин с ума. Однако Александра думала не о замужестве, а о свободе, причем не только для себя, но и для всех женщин и для всего человечества. Можно сказать, что она была одной из первых русских феминисток. И считала революцию вернейшим средством достижения свободы и равноправия. И преданно служила делу революции до самых последних дней, хотя очень скоро поняла, что ни о какой свободе в новом Советском государстве помышлять не приходится. И стала первой женщиной — членом правительства и первой женщиной — послом в истории России. И, несмотря на то что жила в суровое сталинское время, счастливо умерла в своей постели, никаким репрессиям не подвергнувшись. Довелось Коллонтай участвовать и в тайных переговорах, и в оппозициях.

В 1917 году Коллонтай была одной из самых известных женщин русской революции, чему способствовали ее запоминающаяся внешность и неординарный ораторский дар, ее частые выступления на митингах. Можно сказать, что Александра Михайловна стала одним из символом Октябрьской революции, а также, пожалуй, главным символом эмансипации российских женщин после революции. Ее имя, впрочем не вполне справедливо, связывали с теориями «свободной любви» и «стакана воды». Последняя подразумевала, что в коммунистическом обществе удовлетворить свои сексуальные потребности будет так же легко и просто, как выпить стакан воды. Однако на самом деле Коллонтай никогда не отделяла сексуальное от духовного. Для нее секс без любви был буржуазной пошлостью. Александра Михайловна боролась против проституции, которой, по ее убеждению, в новом социалистическом обществе не было места. Но она боролась также и против того, чтобы любовь продавалась и в официальном, законном браке, когда такой брак фактически заключается по расчету. Коллонтай считала необходимым предоставить женщинам равные права с мужчинами во всем, в том числе и в свободном выборе партнеров для брака или свободного сожительства.

Пламенный трибун, Александра Коллонтай вовремя поняла, что ораторы и прометен революции больше не нужны, сумела

перейти на дипломатическую работу. Это обстоятельство во многом спасло ей жизнь в период Большого террора. Она не могла стать таким выдающимся дипломатом, как Талейран, Бисмарк или Горчаков, поскольку не являлась, в отличие от них, ни главой правительства, ни наиболее доверенным человеком в сфере внешней политики со стороны первого лица государства. Однако свою миссию в скандинавских странах она провела вполне успешно и добилась ряда частных дипломатических побед, не потерпев в то же время каких-либо значимых дипломатических поражений. Но все же в истории она осталась в первую очередь как революционный трибун и публицист-пропагандист, привлекшая на сторону большевиков миллионы российских женщин.

Я попытаюсь рассказать о своей героине без гнева и пристрастия. Только так можно написать биографию, действительно интересную для читателя.

Детство и юность

Александра Михайловна Домонтович (так тогда звали нашу героиню) родилась 19 (31) марта 1872 года в принадлежавшем ее родителям трехэтажном особняке на Средне-Подьяческой улице в Санкт-Петербурге, в дворянской семье. Ее отцом был генерал от инфантерии Михаил Алексеевич Домонтович. Род Домонтовичей происходил от литовского нальшанского князя XIII века Домонта (Довмонта), соперничавшего с великим князем Миндовгом и убившего его в 1263 году. В дальнейшем Домонт бежал в Псков и стал псковским князем. Кстати сказать, супругой Домонта была дочка или внучка Александра Невского. В 1299 году, незадолго до своей смерти, Домонт (в русских источниках Довмонт) разбил ливонских рыцарей. Его сын Давид Гродненский, убитый в 1326 году, был женат на Бируте (Марии) — дочери Великого князя литовского Гедимина. В конце XVI века Русская православная церковь причислила Домонта к лику святых. Впрочем, нельзя исключить, что происхождение дворянского рода Домонтовичей от псковкого князя Домонта — всего лишь легенда. Первый достоверно известный предок отца Коллонтай, Иван Михайлович Домонтович, был генеральным судьей Войска Запорожского и на раде в Конотопе 17 июня 1672 года в числе прочих старшин подписал утверждение московским царем в качестве украинского гетмана Ивана Самойловича. Его сын Георгий (Юрий) Иванович Домонтович, родившийся около 1654 года, был прадедом нашей героини. Отец же Коллонтай родился 24 ноября 1830 года в селе Кудровка Сосницкого уезда Черниговской губернии в родовом имении, пожалованном еще Ивану Михайловичу Домонтовичу. Михаил Алексеевич окончил Императорскую военную академию по первому разряду в 1858 году и в дальнейшем служил преимущественно по военно-административной части. 3 декабря 1863 года Михаил Домонтович был назначен помощником начальника Азиатского отделения Главного управления Генерального штаба. В 1864 году он был командирован на Кавказ и находился в составе Пшехского отряда при движении на Хакучинский перевал. После возвращения с Кавказа за составление описания Черниговской губернии отец Коллонтай был принят в действительные члены Русского географического общества. В момент ее рождения он состоял штаб-офицером, заведовавшим офицерами, обучающимися в Николаевской академии Генерального штаба.

Александра Михайловна вспоминала о своих предках: «Это была старинная семья, и отец очень интересовался

генеалогическим деревом. Род Домонтовичей ведет свою родословную от знаменитого князя Довмонта Псковского, княжившего в XIII столетии в Пскове и признанного православной церковью святым Тимофеем Псковским. У псковичей имеется много легенд, песен и сказаний, составленных в честь доблестных походов князя Довмонта на тевтонских рыцарей, и по сказаниям народ его высоко чтил. Мощи святого Довмонта и его победоносный меч хранятся в Пскове… Отец рассказывал: если кто-либо из рода Довмонтович приезжал в Псков, то монахи звонили в его честь во все колокола, и я в детстве очень хотела попасть в Псков, чтобы в мою честь звонили колокола».

В 1876 году генерал-майор Домонтович был назначен правителем канцелярии заведующего гражданской частью при главнокомандующем Дунайской армией, а в 1877 году, во время русско-турецкой войны, — тырновским губернатором в Болгарии. За успешное исправление этой должности Михаил Алексеевич был удостоен ордена Св. Станислава 1-й степени с мечами. В начале февраля 1878 года, после заключения перемирия, Домонтович возвратился в Россию, где был назначен состоящим для особых поручений при главном управлении военно-учебных заведений. Но уже в апреле 1878 года он был возвращен в Болгарию на пост директора Канцелярии и управляющего делами Совета Российской императорской комиссии в Болгарии, занимавшейся организацией управления в новосозданном Болгарском княжестве, фактически до 1885 года остававшемся под протекторатом России. За заслуги на этом поприще генерал был удостоен ордена Св. Анны 1-й степени.

А уже в 1879 году Домонтович возглавил группу российских военных инструкторов в только что созданной Персидской казачьей бригаде, призванной охранять шаха Насер-эд Дина и иностранные миссии в Тегеране и обеспечивать российское влияние в Персии. В группу под его командованием входили казачьи и кавалерийские офицеры, подпрапорщики и вахмистры. Бригада формировалась по образцу терских казачьих частей. Унтер-офицеры в бригаде были русскими, а солдаты-добровольцы набирались из мухаджиров — потомков мусульманских родов, переселившихся с Кавказа во время русско-персидских войн. Это были кочевники — курды, афганцы и туркмены. Домонтович командовал персидской бригадой, которая тогда состояла из двух казачьих полков общей численностью 600 человек, до ноября 1881 года, когда он был назначен сверхштатным членом военно-учебного комитета и председателем военно-исторической комиссии по описанию Русско-турецкой войны 1877–1878 годов. С созданием этого труда оказались связаны драматические

события.

«После окончания Русско-турецкой войны, — как вспоминал генерал-лейтенант царской, а потом белой армии Александр Сергеевич Лукомский, — написать ее историю было поручено небольшой комиссии под председательством генерала Домонтовича. Составленный и представленный на просмотр старших чинов нашей армии первый том вызвал массу возражений. Указывалось, что многие факты переданы или освещены неверно, что по отношению к еще живым участникам войны допущена совершенно невозможная критика, подрывающая авторитет многих лиц, занимающих крупные посты в армии; что вообще действия высшего командного состава армии и центральных управлений военного министерства представлены в крайне неприглядном, а во многом и неверном освещении; что, наконец, этот труд является не историей, по существу, блестяще проведенной кампании, а самооплевыванием…

Александр III

Начались нападки на генерала Домонтовича. Последний представил военному министру обширный доклад, в котором давал объяснения на нападки и доказывал, что он и его комиссия

должны дать правду, а не писать превратную самовосхваляющую историю, стараясь не обидеть участников войны. В конце концов все это дошло до государя Александра III. Государь признал, что труд генерала Домонтовича в том виде, как он был составлен, не может быть пущен в общее пользование.

Его Величество приказал историю Русско-турецкой войны написать заново, положив в основание, что труд должен заключать только правду, но избегать неуместной и резкой критики. Работа генерала Домонтовича света не увидела, и описание войны было поручено комиссии под председательством другого лица. Новое описание войны, по отзывам многих, грешило другим: было официально-казенное, без всяких серьезных выводов и представляло мало интереса…» Однако императору Александру III подобный объективный и критический подход к истории победоносной для русского оружия подход, по всей видимости, понравился, хотя он и признал, что он не может получить широкой огласки, а должен быть известен только узкому кругу высшего руководства армии. Тут сказалось всегдашнее русское стремление составлять два варианта описания одних и тех же войн и сражений. Один, объективно-критический, — для узкого круга специалистов, которые попробуют что-то исправить в организации и боевой подготовке вооруженных сил. Другой, парадно-пропагандистский, — для широкой публики. Домонтович был более свободен в своем взгляде на войну 1877–1878 годов, поскольку в ходе нее не отвечал непосредственно за ведение боевых действий. За работу в комиссии он получил орден Св. Владимира 2-й степени, что говорит о том, что император оценил его труд достаточно высоко. 30 августа 1886 года Михаил Алексеевич был произведен в генерал-лейтенанты. Надо отметить, что два выпуска «Особого прибавления к Описанию Русско-турецкой войны 1877—78 гг. на Балканском полуострове» под редакцией генерала Домонтовича все-таки были напечатаны еще при его жизни, в 1899–1900 годах, уже при новом императоре Николае II, но тиражом всего 100 экземпляров и с ограничительным грифом «Не подлежит разглашению».

В 1896 году отца Александры назначили членом Военного совета. С 1897 по 1900 год Домонтович был управляющим кодификационным отделом при Военном совете. В 1898 году он был произведен в генералы от инфантерии.

Скончался Михаил Алексеевич Домонтович 8/20 октября 1902 года в Петербурге и был похоронен на кладбище Новодевичьего монастыря.

Мать Александры Коллонтай, Александра Александровна

Масалина-Мравинская, была дочерью финского фабриканта, торговавшего лесоматериалами.

Первым мужем Александры Масалиной был военный инженер Константин Иосифович Мравинский (или Мровинский), поляк по национальности. Чтобы развестись с ним, Александре пришлось доказывать, что он «прелюбодействовал». Такого рода слухи о Константине Иосифовиче действительно ходили, так что соответствующая претензия была небеспочвенной. Брак между ее матерью и отцом был заключен перед самым рождением Александры Коллонтай.

Константин Мравинский, родившийся в 1828 году, был участником обороны Петропавловска-Камчатского от англофранцузской эскадры в Крымскую войну и дослужился до чина генерал-майора-инженера. В 1881 году, будучи старшим техником петербургского градоначальства, за необнаружение подкопа народовольцев при осмотре лавки Кобозевых (подкоп с миной был вскрыт уже после убийства Александра II) был судим, разжалован и сослан в Архангельскую губернию. Александра Алексеевна пыталась помочь Константину Мравинскому. Она попросила своего второго мужа, генерала Домонтовича, использовать свои связи. Неизвестно, насколько они помогли, но в итоге по ходатайству дочери Евгении Константин Иосифович был частично помилован и возвращен в Санкт-Петербург, где жил у сына Александра до самой своей смерти в 1923 году.

От первого брака у Александры Алексеевны было трое детей — сын Александр и дочери Адель и Евгения. Сводная сестра Александры, Евгения Константиновна Мравинская, стала известной оперной певицей (лирико-колоратурное сопрано), солисткой Мариинского театра, выступавшей под псевдонимом Евгения Мравина. Евгения пела ведущие партии, среди ее поклонников был и наследник престола, будущий император Николай II. Но в 1900 году она ушла из театра, а в 1906 году вообще прекратила концертную деятельность из-за серьезной болезни. Евгения Мравинская умерла 12 декабря 1914 года в Ялте в возрасте всего лишь 50 лет. Александра Коллонтай восхищалась ее шармом, музыкальностью и неповторимым тембром голоса.

«Вскоре Женя вышла замуж, — вспоминала Коллонтай. — Не столько по любви, сколько чтобы оградить себя от назойливых поклонников. Муж ее был гвардейский офицер, но начальство предложило ему покинуть полк. Гвардейский офицер не мог быть женат на актрисе».

Муж Евгении Людвиг Лаврентьевич Корибут-Дашкевич в итоге стал преподавателем в Николаевском кавалерийском училище. А сын Александра Мравинского Евгений стал всемирно

известным дирижером. «Как младшая в семье, — вспоминала Александра в автобиографии, — и притом единственная дочь отца (мать моя была замужем вторично), я была окружена особой заботой всей нашей многочисленной семьи с ее патриархальными нравами».

А в черновых записях своих мемуаров Александра утверждала: «Я родилась в судьбоносное время, и это имеет свою закономерность. <…> Когда родители задумали мое появление, из Парижа пришли вести о крахе Коммуны и о казни коммунаров. Луиза Мишель несет в массы новое евангелие — коммунизм. Маркс и Энгельс борются против Бакунина, против анархизма, против развала I Интернационала. Юный студент Карл Каутский учится в Вене. Звезда Бисмарка еще на восходе. Вильгельм Либкнехт собирает силы рабочих в Германии, а Карл Либкнехт еще даже не зачат. <…> Дарвин еще жив. Спенсер углубляет аналитику социологии… <…> В России растет движение за освобождение и объединение всех славян — растет вместе с ростом политической реакции, пока еще скрываемой под личиной либерализма. Но уже есть тенденция к „правизне“. Первые русские социалистки „идут в народ“, проповедуя социализм. Эпоха нигилизма закончилась. <…> Плеханов еще даже не студент. Ленину еще нет и трех лет».

С детства Александра отличалась сильным и целеустремленным характером и верила, что предназначение у нее — высокое, хотя еще не знала, что уйдет в революцию.

Александра не любила родовое имение отца в Кудровке, но зато обожала Финляндию и финскую усадьбу своей матери Куасан-Хови, на берегу Финского залива, где семья Домонтовичей отдыхала каждое лето. И в дальнейшей жизни ее больше тянуло к северным странам. Здесь, в Куасан-Хови, был большой дом с белыми колоннами, парк с беседками. Коллонтай вспоминала: «Моя мать была дочерью простого скупщика и продавца леса из Финляндии („простой скупщик“ был крупным лесоторговцем и фабрикантом, но в советское время принято было преуменьшать богатство предков. — Б.С.). Дедушка был сыном бедного финского крестьянина, близ Нейшлота. Восемнадцатилетним он босиком пришел в Петербург и занялся скупкой и продажей леса… дедушка, которого звали Александр Масалин, был энергичным, предприимчивым… накопил состояние на поставках леса. Женившись на русской девушке Крыловой, вернулся в Финляндию. На Карельском перешейке купил усадьбу и построил деревянный дом в стиле Александра I… В доме были художественные паркетные полы. Архитекторы из Петербурга и Выборга приезжали смотреть на них».

А вот как Александра описала довольно романтическое знакомство своих родителей: «Мой отец, — рассказывала Коллонтай, — впервые встретил мою мать в Итальянской опере. Но моя мать была внучкой финского крестьянина. Мой дедушка был гордый человек и не позволял, чтобы легкомысленные гвардейские офицеры ухаживали за его красивыми дочерями (офицеров, вероятно, привлекала не только красота, но и солидное приданое. — Б.С.). Он нашел для моей матери другого мужа. Только через несколько лет мои родители снова встретились на балу. Они с первого взгляда страстно влюбились друг в друга, и мама настояла на разводе, что в то время было крайне трудным делом».

О своем счастливом детстве в весьма обеспеченной семье, где она ни в чем не знала отказа, Александра Михайловна вспоминала так: «Маленькая девочка, две косички, голубые глаза. Ей пять лет. Девочка как девочка, но если внимательно вглядеться в ее лицо, то замечаешь настойчивость и волю. Девочку зовут Шура Домонтович. Эта девочка — я».

Семья жила в богатом трехэтажном особняке. Женился генерал Домонтович лишь в сорок лет, на женщине с гремя детьми, которая ушла от мужа. Так что Шура была ее четвертым ребенком, но для отца — первым и любимым. В девочке смешалась русская, украинская, финская, немецкая и французская кровь. Прабабушка Александры была француженкой, а прадед остзейским немцем.

Александра получила разностороннее домашнее образование. Семья не жалела денег на ее обучение. Она владела несколькими иностранными языками (английский, немецкий, французский, шведский, норвежский, финский и другие), интересовалась литературой, легко освоила светские манеры. Учителем словесности к ней был приглашен один из самых известных в ту пору русских педагогов и литературоведов Виктор Острогорский, редактор журнала «Детское чтение». В числе любимых книг Шуры были «Овод» Войнич и «Спартак» Джованьоли, что впоследствии повлияло на формирование у нее революционного мировоззрения. В 1888 году Александра сдала экстерном экзамены за курс гимназии в 6-й мужской гимназии в Санкт-Петербурге. Она посещала Школу поощрения художеств, брала частные уроки рисования. В юности увлеклась своим троюродным братом, поэтом Игорем Северяниным. Редкая красавица, Александра Домонтович пользовалась вниманием мужчин, была принята в петербургском высшем свете. Но Александра отказалась выйти замуж за генерала Ивана Федоровича Тутолмина, который сделал ей предложение в первый же вечер

знакомства. Родители были не против этого брака и горячо поддерживали эту партию для своей дочери, хотя генерал все-таки был на 35 лет ее старше. Знакомство с Тутолминым произошло в Тифлисе, где тогда служил командиром 1-й Кавказской казачьей дивизии Иван Федорович.

Один из воздыхателей Александры, на два года старше ее, Иван Михайлович Драгомиров, сын известного генерала Михаила Ивановича Драгомирова, не выдержал и застрелился. Причиной самоубийства стало то, что, когда бедный Ваня признался в своих пламенных чувствах к ней, Саша высмеяла желание поклонника быть вместе всю оставшуюся жизнь. Шурочка обожала танцевать, и ее любимым партнером по танцам был Ванечка Драгомиров. Они были признаны на балах самой блистательной парой. Ей казалось, что она влюблена, а ее кавалер твердо верил, что у них обоих любовь до гроба. Но, когда Ваня попытался ее убедить, что они должны быть вместе навеки, Шурочка подняла его на смех. Через несколько дней Ваня пустил себе пулю в сердце из отцовского револьвера.

Начало революционного пути

Саша была против намерения родителей выдать ее за генерала Тутолмина, который был близок ко двору и одно время был воспитателем великого князя Петра Николаевича. Она объясняла это отцу и матери следующим образом: «Мне безразличны блестящие перспективы. Я выйду замуж за человека, которого полюблю». В 1890 году она вышла замуж за дальнего и бедного родственника, своего троюродного брата Владимира Коллонтая, с которым познакомилась во время поездки в Тифлис. Она так вспоминала об их знакомстве: «Среди беззаботной молодежи, окружавшей меня, Коллонтай выделялся не только выдумкой на веселые шутки, затеи и игры, не только тем, что умел лихо танцевать мазурку, но и тем, что я могла с ним говорить о самом важном для меня: как надо жить, что сделать, чтобы русский народ получил свободу… Кончилось тем, что мы страстно влюбились друг в друга».

Уговаривать родителей согласиться на брак с ним Александре пришлось целых два года.

В 1889 году отец отправил ее развеяться в Париж и Берлин под присмотром ее сводной сестры. Но переписка между влюбленными не прекращалась, а в Европе Шура узнала про профсоюзы, Клару Цеткин, «Коммунистический манифест» и про многое другое, включая феминизм, что в России все еще было запретным.

Владимир Людвигович Коллонтай (иногда встречается другое написание фамилии — Колонтай) родился 9 июля 1867 года и был старше Александры на пять лет, приходясь ей троюродным братом. Он был сыном участника польского восстания 1863–1864 годов, высланного в Сибирь, а затем поселившегося в Тифлисе. Сам Владимир уже обрусел и был православным. В момент сватовства к Шуре он имел чин поручика, но затем, вероятно во многом благодаря тестю, сделал довольно успешную карьеру. В 1893 году Владимир Коллонтай окончил Николаевскую инженерную академию по 1-му разряду, а в 1900 году, уже в чине капитана, стал штатным преподавателем той же академии. Во время Русско-японской войны Коллонтай за отличие был произведен в полковники, а в 1913 году — в генерал-майоры. В годы Первой мировой войны Владимир Людвигович был заведующим инженерной частью 3-й армии, а с мая 1916 года — начальником инженерных снабжений армий Северного фронта. За отличие он был в 1915 году награжден георгиевским оружием, а также орденами Св. Владимира 4-й степени и Св. Станислава 1 —

й степени. Владимир Людвигович скончался вскоре после возвращения своей супруги в Россию, как раз в промежутке между Февральской и Октябрьской революциями. Не исключено, что, если бы генерал Коллонтай прожил дольше, он бы имел шансы разделить печальную судьбу второго официального мужа Александры Коллонтай Павла Дыбенко и ее многолетних любовников Александра Саткевича и Александра Шляпникова.

Владимир возмущался делением людей на богатых и бедных. Они вместе читали запрещенного Герцена.

То, что девушка из обеспеченной аристократической семьи идет в революцию, для России было явлением не частым" но и не уникальным. Достаточно вспомнить самый яркий пример здесь — Софью Перовскую. К счастью, Александре Коллонтай не пришлось жертвовать своей жизнью в революционной борьбе, равно как и кого-нибудь убить в этой борьбе. Но свой след в революции Коллонтай оставила.

Тут была совестливость, осознание того, что богатство тебе в своей семье досталось незаслуженно, когда рядом миллионы живут в голоде и нищете. Было юношеское стремление переустроить этот несовершенный и несправедливый мир в мир всеобщего счастья и благоденствия.

Вернувшись из заграничного путешествия, Александра написала свои первые рассказы и послала их своему бывшему учителю Виктору Острогорскому. Тот ответил незамедлительно, подробно и на полном серьезе разобрав ее пробы пера. Острогорский писал о хорошем замысле, о благородстве чувств и точности авторского зрения. Но также указал на вялость слога, бедность языка, подражательство и штампы. Но педагог не сомневался в литературных способностях Александры и советовал не бросать "дела, которому вы предназначены". "…Как я вам благодарна, дорогой Виктор Петрович, — отвечала Шура. — Сколько радости Вы мне доставили своим доброжелательным и, как всегда, мудрым советом! <…> Я всегда буду следовать Вашим советам. <…> Ваша Александра Домонтович".

Могла ли она предполагать, что переваливший через полувековой рубеж учитель вот уже пять лет тайно влюблен в свою ученицу, что, бездумно подписавшись "ваша" и не вложив в это слово никакого конкретного смысла, она породила у всероссийской знаменитости надежду на взаимность. За час до того, как Владимир и Александра отправились в церковь венчаться, пришло трагическое известие: накануне Острогорский предпринял неудачную попытку самоубийства. Он попытался отравиться угарным газом, но в последнюю минуту был спасен случайно зашедшей в комнату экономкой. Педагог уцелел, но

остался инвалидом. Письмо, которое перед попыткой самоубийства он отправил своей ученице, по договоренности с молодым супругом Александра сожгла. В 1893 году молодые обвенчались, а в 1894 году у них родился единственный сын Михаил.

О том, как прошел их медовый месяц, напомнила годы спустя в письме тете Шуре племянница Владимира — дочь его старшей сестры Женя: "Живо припомнился ваш приезд с дядей Володей к нам в Тбилиси. Как мы, дети, искренне были уверены, что перед нами не просто молодая жена нашего дяди, а какая-то воздушная и лучезарная фея из сказки. Вы были восхитительно красивы, кроме того, мы все бессознательно воспринимали то молодое счастье, еще ничем не омраченное, ту необыкновенную любовь, которую вы оба излучали. <…> Помню, мы доходили до восторженного состояния, когда дядя в неудержимом порыве схватывал вас на руки и бегал, и кружился по балкону, а мы сопровождали его эволюции прыжками и радостными криками. А Вы, тетя Шура, были такая беленькая, нежная и такая счастливая".

Они сняли себе отдельную квартиру на Екатерининском канале, близ Кокушкина моста, чтобы не зависеть от родителей, у которых с зятем оставались прохладные отношения. Отец определил дочери ежемесячное содержание в размере трехсот рублей (больше половины губернаторского оклада!), чтобы не зависела материально от мужа, так что денежной проблемы не существовало. Но теперь организация быта стала долгом жены, к чему Александра совсем не была готова.

Муж был мягок и добр, старался во всем ей угождать, он был горазд на выдумки и забавы. Но Шурочка никогда не была примерной женой. Впоследствии она честно признавалась: "Я терпеть не могу домашнего хозяйства". После замужества она начала работать в публичной библиотеке. И дело было вовсе не в недостатке средств. Отец, хотя и был против брака, выделил замужней дочери значительное содержание. Но в библиотеке собирались вольнодумцы, с которыми тесно общалась Александра.

Кокушкин мост. Современный вид

Бывшая домашняя учительница Александры, Мария Ивановна Страхова, работала поблизости — в публичной библиотеке известного русского собирателя книг Николая Рубакина. У Александры наконец появилось "дело" — читать редкие книги в этой библиотеке. На базе рубакинской библиотеки Страхова затеяла создать передвижной (Подвижной) музей учебных пособий.

Страхова познакомила Александру с Лелей (Еленой) Стасовой, чей дядя, Владимир Стасов, был самым влиятельным театральным, музыкальным и художественным критиком, являлся хранителем Императорской публичной библиотеки. Отец же, Дмитрий Стасов, возглавлял Совет присяжных поверенных Петербурга и был одним из самых известных адвокатов, а также неплохим музыкантом, основателем Русского музыкального общества и Санкт-Петербургской консерватории.

Но в счастливом браке с любящим и готовым сделать все для своей любимой Владимиром Александра прожила недолго, хотя он терпел все ее измены. Вскоре она поселила в доме свою подругу Зою Шадурскую, дочь генерал-майора Леонида Шадурского, военного юриста, и приятеля мужа — Александра Саткевича. Сестра Зои Вера впоследствии стада знаменитой артисткой, выступавшей под псевдонимом Юренева, а потом вступила в большевистскую партию. Ее ближайшей подругой

стала еще более знаменитая актриса Вера Комиссаржевская, которая жертвовала деньги в большевистскую партийную кассу.

Якобы Саша хотела сосватать Зою, но Саткевич сразу же увлекся не Зоей, а Шурой. "Это не человек, это Дяденька с Марса", — говорила о нем Зоя, разочаровавшись в потенциальном женихе. Правда, по вечерам читали неподцензурную литературу, в том числе марксистскую. Когда разозленная Зоя покинула дом Коллонтай, то в снимаемой ею квартире начали регулярно встречаться Саткевич и Александра. Саша никак не могла понять, кого же она все-таки больше любит, мужа или любовника. "Я уверяла обоих, что их обоих люблю — сразу двух", — вспоминала Коллонтай. Но в то же время признавалась: "…К Владимиру Людвиговичу оставалась девичья влюбленность. Но "мужем" он не был и никогда не стал для меня. В те годы женщина во мне еще не была разбужена. Наши супружеские сношения я называла "воинской повинностью", а он, смеясь, называл меня "рыбой". Но я любила на него смотреть, мне он весь нравился и был мил, и даже было жалко его, точно жизнь его обидела".

Вот фрагмент единственного сохранившегося письма Александра Саткевича к Александре Коллонтай от 6 марта 1898 года (есть основания полагать, что переписка была весьма обширной, но потом кто-то из корреспондентов, или они оба, ее предусмотрительно уничтожил): "Умоляю Вас, берегите себя! Помните, что мне очень, очень дорого Ваше здоровье, что бы дальше ни было. Обо мне не беспокойтесь. Не надо ничего говорить Володе, Вам будет только хуже". Стало быть, даже весной 1898 года Владимир еще ничего не знал — по крайней мере от самой Александры, хотя ее драматические отношения с Саткевичем длились уже почти три года. Оказавшись в весьма двусмысленной и деликатной ситуации, Зоя ушла из "коммуны", предпочитая снимать свою квартиру, где и встречались тайно Александра и Александр.

17 лет спустя Александра так вспоминала эту любовную драму: "…Кууза. Осень. Льет, барабанит дождь. Вечер. Отпили чай. Мама, прислуга улеглись. А я стучусь в заветную дверь к маминой подруге Елене Федоровне, которая часто гостит в нашем доме. Недавно овдовевшая бывшая красавица, молодящаяся, хотя ей под пятьдесят, всегда хорошо затянутая, вся в завитках и высоких воротниках с пышными кружевными рюшами — так, чтобы виден был лишь пикантный носик с раздувающимися ноздрями и огромные черные глаза. <…>

В халатике, немного сгорбленная и сразу постаревшая без корсета, Елена Федоровна сидит перед туалетом и массирует лицо. "Шурочка? Вы? Вот умница, что пришли. Хотите

шоколадные конфеты?" Я отказываюсь. До шоколада ли? Я переживаю свою первую серьезную любовную драму. Я мать семейства. Мой мальчик с розовыми щечками спит рядом со мной на бабушкиной половине, в которой я поселилась с тех пор, как я замужем. <…> Мой муж, еще недавно так страстно мною любимый, в командировке. А мое сердце уже отдано другому. Сердце ли? Я сама не разбираюсь, я сама не понимаю себя.

Я все еще люблю своего красивого мужа с его милой черной головкой, с его удальством, мальчишеской смелостью, с его шутками, с его любовью прокатиться на тройке, устроить пикник, с его порывами ко мне, с его любовью к своему — к нашему — мальчику.

Но рядом народилось, выросло, окрепло и другое чувство. Совсем другое. <…> Это чувство душевного родства, близости и понимания, точно у нас с ним, с тем другим, одна душа. Мы одно в мыслях, в отношениях к жизни, к людям. Он слышит меня без слов, он понимает каждое мое движение. Он так не похож на моего мужа, даже по наружности, не говоря уже о душевном складе. <…> Контрасты! И чувство к обоим уживается в душе, дополняя друг друга. Но разве это может быть, разве это бывает? Вот если бы с одним было одно, с другим другое, или даже одно и то же, но в разное время!.. Почему такая несвобода в единственный раз данной нам жизни? <…>

Считается, что любовь к двум сразу — это же ненормальность. Позор! Разврат! За разгадкой своей души я и иду к Елене Федоровне. Она должна знать. По типу она "холодная женщина" <…> не случайно ее звали "кукушкой". Народила детей от разных мужей (хотя официально была замужем только два раза) и разбросала по свету. Дети — это ненужное последствие того, что составляло центр ее жизни, — любовные переживания, страсти, муки, радости любви. У нее и сейчас роман — последний и мучительный. Он "мальчишка", годами по ней страдал. Она издевалась над ним, иногда снисходила. И вот теперь он собирается жениться на "девчонке"! Задето самолюбие отвергнутой красавицы, задета ревность. Пусть она даже не любит его — этот "мальчишка" был последний "дар жизни"…

<…> Она делится этим со мной. Я горда ее доверием. И со своей стороны именно ей рассказываю все. <…> Разве можно любить двух?

— Конечно, можно! Женское сердце такое сложное! Но вы все равно проверьте себя, Шура, одного вы должны любить больше. Помните, как вы были влюблены в вашего мужа четыре года назад? В этой самой комнате, когда мама требовала, чтобы вы ему отказали, вы уверяли меня, что умрете, если вас за него не

выдадут. А теперь…

— Я и сейчас его люблю. Если я с ним расстанусь, я никогда, никогда не найду покоя. Но расстаться с тем, с другим, — вы понимаете, тогда жизнь сразу становится такой пустой, такой холодной. И я буду одинока, да, одинока, даже любя моего черноглазого, милого, любимого Володю. С кем бы из них я ни рассталась, все равно, я знаю, на всю жизнь буду несчастна.

— Ну это, положим, глупости! Это ваш не первый и не последний роман. Вы очень влюбчивая натура, и у вас еще будет немало романов.

— Никогда! — я страстно протестую, я возмущена, оскорблена. — То, что я теперь переживаю, это так глубоко, это на всю жизнь. Мое чувство к А.А. срослось с моей душой, это просто часть меня! Его я никогда не разлюблю, потому что это не просто любовь, это не роман — это нечто гораздо более глубокое, сложное…

Елена Федоровна слушает меня со снисходительной улыбкой.

— Если вас так много связывает с А. А. (Саткевичем. — Б.С.), если это на всю жизнь, чего же вы колеблетесь, зачем тянуть эту муку? Зачем не порвете теперь с мужем? Верьте, это будет и для него легче, к чему изводить себя, его, А.А.?

— Если я уйду от мужа к А.А., счастья не будет. Я буду тосковать по мужу, мучиться. Наши отношения с А.А. совсем из другой области. Поймите: мне оба нужны! Они не исключают, а дополняют друг друга. Почему нельзя все оставить "так"? Почему надо непременно выбирать? Почему надо рвать по живому? Это жестоко. Это несправедливо.

— Вы сами виноваты, Шура, зачем вы все рассказали мужу?

— Как же иначе, ведь было бы бесчестно умолчать.

— Бесчестно? Это слова!.. Разве лучше, что вы все трое мучаетесь теперь? Добро бы еще вы забеременели… Вы гораздо больше влюблены в своего мужа, чем сами сознаете. И для чего создавать целую драму — объяснения, слезы, ревность, разрывы? Если бы вы ничего мужу не говорили, жили бы, как все эти годы, все трое, в близком общении и согласии. И вам было бы хорошо, и они оба были бы довольны. Конечно, А.А. страдал бы, но, уверяю вас, меньше, чем страдает сейчас, хоть вы и говорите, что он неревнив, что он вас чудно понимает, но это кому же не обидно будет, что любимая женщина мечется между мужем и им, как маятник, то туда, то сюда… Погодите, еще лопнет у А. А. терпение, и уйдет он к другой.

— Никогда! При таком понимании, при такой близости.

<…> Мы говорили до полуночи. <…> Она рассказывала, как, беременная от другого, она приходила объясняться с

вернувшимся из далекой поездки мужем. <…> "Когда-нибудь вы вспомните мои слова, что нет прочных отношений на свете, что чувства, желания — все преходяще". Тогда я не верила. <…> В глубине души жила надежда, вернее, юная вера: вот перескачу через пропасть, а там ждет большая, радостная, красивая жизнь. <…> Разве я не баловень госпожи-жизни? <…>

На бабушкиной половине мирно спит мой мальчик. Я крадусь мимо в свою спальню. Зажигаю свечу в фарфоровом подсвечнике и ложусь на высокую, парадную, двуспальную бабушкину постель. Засыпается сладко под мирный звук осеннего дождя, с чувством снисходительной жалости и сознанием превосходства своего положения. У Елены Федоровны все хорошее — позади, а у меня — впереди".

Короче говоря, идеалом для Шурочки на какое-то время стало иметь сразу и хорошего мужа, и хорошего любовника. И обоих она сильно, хотя и по-разному, любила. Возможно, Саткевич удовлетворял ее больше как мужчина, а с Владимиром в тот момент была большая духовная близость, которая потом появилась и с Саткевичем. Коллонтай считала ханжеством, когда женщину осуждают за то, что она одновременно дарит свою любовь двум мужчинам. И не считала, что при этом она кому-нибудь изменяет и кому-нибудь причиняет боль.

Затем прошло еще больше 20 лет, Саткевич к тому времени уже погиб, и Александра Михайловна теперь несколько иначе описывала происшедшее. "Как это началось с А.А.? (Саткевичем. — Б.С.), — писала она почти сорок лет спустя после этого памятного романа в своем дневнике. — <…> Женщина чувствует, что нравится, мужчина завоевывает ее отзывчивостью и пониманием, завоевывает душу. <…> Любила ли я А.А.? В те годы мы увлекались (по Чернышевскому) проблемой: "любовь к двум". Не чужды были этой теме Байрон и Гете. Но в жизни сложнее. На распутывание узла ушло два с половиной года. Мы все трое хотели быть великодушными друг к другу, чисты перед собою и друг перед другом, и все усложняли. <…> А.А. не мог рубить беспощадно. Он поддерживал во мне стремление, чтобы все было по-хорошему. И сам все запутывал. Виновата и я, потому что уверяла обоих, что их обоих люблю — сразу двух. Любить двоих — не любить ни одного, я этого тогда не понимала. <…> С Володей я не могла говорить об А.А., а с А.А. могла плакать о К[оллонтае], о моей любви к нему".

Александр Александрович Саткевич уже в 1902 году получил звание профессора и возглавил адъюнктуру в Военноинженерной академии. Он стал крупным ученым в области гидро-, аэро- и термодинамики, генерал-лейтенантом императорской армии и

членом-корреспондентом АН СССР, начальником Военно-инженерной академии РККА. В период борьбы с "военно-фашистским заговором" это была очень плохая должность, поскольку академию курировал Тухачевский, отвечавший за вооружения Красной армии. Александра Александровича арестовали 8 февраля 1938 в Ленинграде, дома, ночью. Обвинение ему было предъявлено по ст. 58, п. 2, 6, 10, 11 как участник контрреволюционной офицерской монархической организации, проводившей шпионскую и диверсионно-повстанческую деятельность. 19 июня 1938 года Комиссией НКВД и прокурора СССР Саткевич был приговорен к расстрелу и расстрелян 8 июля 1938 года в Ленинграде. Ему было 68 лет. В 1957 году А.А. Саткевича реабилитировали и посмертно восстановили в составе Академии наук.

Александра рано начала интересоваться социальными вопросами. Уже летом 1896 года она собирала деньги для участников стачки текстильщиков в Петербурге. Позднее она признавалась: "Женщины и их судьба занимали меня всю жизнь, и их-то участь толкнула меня к социализму".

В апреле 1898 года Александра Коллонтай покинула супружескую квартиру, обосновавшись в снятых ею для себя, сына и няни меблированных комнатах на Знаменской улице. Но покоя и на новом месте не обрела.

Она ушла от мужа через пять лет казавшегося счастливым брака, оставив супругу малолетнего сына Мишу, получившего домашнее прозвище Хохля из-за сумрачности взгляда и склонности вбирать наклоненную голову в плечи, когда ему кто-то или что-то не нравилось. Позднее Александра Михайловна признавалась, что оставила семью, чтобы участвовать в революционном движении: "Я хотела быть свободной, — признавалась она. — Маленькие хозяйственные и домашние заботы заполоняли весь день, и я не могла больше писать повести и романы… Как только маленький сын засыпал, я шла в соседнюю комнату, чтобы снова взяться за книгу Ленина". Александра Коллонтай отправляется за границу и посвящает себя делу революции.

"Рвалась всегда куда-то в будущее, не успокаивалась ни в работе, ни в любви. Все-то мне мало было, — записала Коллонтай в дневнике. — Оглядываюсь: всегда-то я шагала через препятствия. Смолоду была "мятежная". Никогда не останавливалась перед тем, как на это посмотрят "другие", что скажут. Не боялась ни горя, ни трудностей. И опасности не пугали. Захочу — добьюсь. И достигала. Была холеная девочка в благополучной семье. Могла прожить, как другие. Так нет же,

смолоду, с детства рвалась куда-то, искала чего-то нового, другого, не того благополучия, как у сестер. И ненавидела "несправедливость". Не успокаивалась ни в работе, ни в любви…"

Революцией Александра Коллонтай увлеклась в 1890-х годах благодаря знакомству с Еленой Дмитриевной Стасовой. Она также подружилась с Татьяной Львовной Щепкиной-Куперник, в доме которой Коллонтай скрывалась от полиции. Эта помощь революции зачлась, после 1917 года Татьяна Львовна осталась вполне востребованной переводчицей и репрессиям не подвергалась, несмотря на свою не вполне стандартную сексуальную ориентацию.

13 августа 1898 года, оставив мужа, Коллонтай уехала в Швейцарию, где поступила в Цюрихский университет к профессору Генриху Геркнеру, чьими трудами по рабочему вопросу она заинтересовалась. Миша остался на попечении родителей Александры. Коллонтай хотела получить полноценное образование, что в России для женщины было практически невозможно сделать. Геркнер откликнулся на просьбу молодой русской поклонницы и взял ее в свой семинар. Но она заболела нервным расстройством. Депрессия погнала ее в Италию, где Александра писала статьи для газет и журналов, которые мало кто печатал. Впрочем, писала она для души, а не для денег. Деньгами щедро снабжал отец. Она поселилась на побережье Лигурийского моря, неподалеку от Генуи. По совету Геркнера в 1899 году Александра приехала в Англию изучать английское рабочее движение. В Англии Коллонтай познакомилась с Сиднеем Веббом и Беатрисой Вебб — лидерами британского социалистического движения и будущими основателями лейбористской партии. Супруги показались ей милыми, но полностью оторванными от реалий современности стариками. Однако нервное расстройство усилилось, Александра заехала в Берлин, где врачи посоветовали вернуться домой. И в том же 1899 году Александра Михайловна возвратилась в Россию, где попыталась в последний раз зажить нормальной семейной жизнью, ухаживала за больным мужем. Но вскоре возобновились встречи с Саткевичем. После она вернулась в Швейцарию, где продолжила занятия у профессора Геркнера. Коллонтай писала о Финляндии — о проектируемых реформах, об экономике, о рабочем движении, и ее статьи охотно публиковали солидные журналы. Так появился крупный специалист по Финляндии "Эллен Молин" (под этим псевдонимом были опубликованы ее статьи в издававшемся Каутским журнале "Новое время"), знаток местного и русского рабочего движения.

"К прошлому — нет тропы, писала Коллонтай Татьяне

Щепкиной-Куперник. — Надо идти, идти, идти вперед, до дня, когда впереди уже не будет ничего, кроме небытия. След прошлого заметается помелом событий. Есть память о нем.

Как о сне. Было ли все это? Пережито ли? Или вычитала в книге? Фантазия или быль? Все одно — сейчас это дымка воспоминаний, и все. И люди, милые люди, уже стали другими. Другие заботы. Другие задачи. Жизнь была редко к кому милосердна".

А в автобиографии Александра утверждала: "В 1899 году я вернулась в Петербург уже определившейся марксисткой и сошлась с друзьями одного со мной политического мировоззрения".

Прежняя болезнь Владимира — хронические нарывы в горле — вспыхнула с новой силой, и Александре сразу же после возвращения из-за границы пришлось ухаживать за ним. Но ее хватило лишь на несколько недель. Ей вновь захотелось в Швейцарию. Встречи с Саткевичем также продолжались.

А в 1901 году Александра вернулась в Швейцарию к профессору Геркнеру. В Женеве, в библиотеке, она познакомилась с лидером российских марксистов Георгием Плехановым. Плеханов сразу же пригласил Коллонтай домой, познакомил с женой Розалией Марковной, подарил книги. А в Цюрихе Коллонтай также подружилась с Розой Люксембург. Изредка она наведывалась в Петербург, но встречалась теперь не с мужем, а с Саткевичем.

От Плеханова у Коллонтай началось знакомство с марксистской теорией. Георгий Валентинович познакомил ее с супругами Лепешинскими, открывшими на углу улицы Каруж и набережной Арвы партийную столовую для малоимущих эмигрантов. Ольга сама готовила традиционные блюда русской кухни: борщ и рубленые котлеты. Александра к числу малоимущих, разумеется, не относилась, но предпочитала столовую Лепешинских, где, в отличие от обычных парижских кафе, всегда можно было пообщаться с единомышленниками.

Иван Бунин писал в "Окаянных днях":

"О Коллонтай (рассказывал вчера Н.И.):

— Я ее знаю очень хорошо. Была когда-то похожа на ангела. С утра надевала самое простенькое платьице и скакала в рабочие трущобы — "на работу". А воротясь домой, брала ванну, надевала голубенькую рубашечку — и шмыг с коробкой конфет в кровать к подруге: "Ну давай, дружок, поболтаем теперь всласть!" Судебная и психиатрическая медицина давно знает и этот (ангелоподобный) тип среди прирожденных преступниц и проституток".

Как кажется, Иван Алексеевич подозревал ненавистную ему Коллонтай в приверженности к лесбийской любви, еще не подозревая, что ему самому предстоит стать жертвой лесбиянки, когда Марта Степун отобьет у него Галю Кузнецову. Писатель тогда еще жаловался ее брату, философу Федору Степуну, что любовь женщины с женщиной — это грех.

Замечу, что подозревать Александру Коллонтай в бисексуальности есть определенные основания. Вспомним, сколь нежные письма писала она Татьяне Щепкиной-Куперник. И столько писем, сколько ей, Александра больше никому не написала. С Щепкиной-Куперник Коллонтай дружила 45 лет, до самой своей смерти. Сохранилось 777 писем Коллонтай к Щепкиной-Куперник, а также 599 писем нашей героини Зое Шадурской и 183 письма к ее сестре, Вере, известной актрисе, выступавшей под псевдонимом Юренева.

Т.Л. Щепкина-Куперник. Художник И.Е. Репин

У Татьяны Львовны Щепкиной-Куперник детей не было, хотя был муж — Николай Борисович Полынов — и слыл донжуаном. Зато у Щепкиной-Куперник была репутация лесбиянки (точнее,

бисексуалки). Учитывая, что большего количества писем, чем Танюсе, Коллонтай никому не написала, можно предположить, что между ними была не только дружба, но и любовь.

Впрочем, нельзя быть стопроцентно уверенными в характере сексуальной ориентации Коллонтай. В конце концов, видеокамер тогда не было, а свечку никто не держал. Но в одном можно быть уверенным, так это в том, что, если у Александры и были любовницы, любовников у нее было на порядок больше.

В 1902 году после смерти отца его имение в Черниговской губернии переходило по завещанию только к ней, а с ним и все хозяйственные заботы. Ей досталась весьма значительная недвижимость — дом, земля, лес. Но о ведении сельского хозяйства, в отличие от рабочего вопроса, Александра не имела никаких внятных представлений и должна была целиком полагаться на управляющих, которые по возможности себя не забывали и тащили то, что плохо лежит. Перед Первой мировой войной имение пришлось продать. В своем имении Александра никогда не была и лишь читала подробные ежемесячные отчеты управляющего К.А. Свикиса. Но доходы от Кудровки были главным источником семейного благосостояния. Управляющий информировал хозяйку о сдаче внаем дачи, о продаже овса и гречки, картофеля и проса, молока и яиц. В управлении имением Александре помогал преданный Саткевич, взявший на себя переписку с управляющим. Впрочем, он тоже мало что смыслил в сельском хозяйстве. Доходы от имения колебались в пределах от 1700 до 2600 рублей в месяц, да и после продажи имения банковские доходы на капитал, вырученный от продажи имения, остались примерно на том же уровне.

После раскола Российской социал-демократической партии на большевиков и меньшевиков на II съезде партии в 1903 году Коллонтай не примкнула ни к одной из противоборствующих фракций, хотя по своим взглядам стояла ближе к меньшевикам. Она так передавала свои чувства того времени: "У меня были друзья в обоих лагерях. "По душе ближе мне был большевизм с его бескомпромиссностью и революционностью настроения, но обаяние личности Плеханова удерживало от разрыва с меньшевиками".

Лето 1903 года она провела с Мишей на море — на французской Ривьере. Ребенок впервые попал за границу и быстро освоился в ней: он уже сносно болтал по-немецки, начал учить французский.

Первая серьезная статья Коллонтай, "Земельный вопрос в Финляндии", была опубликована в 1902 году в журнале "Научное обозрение". А будучи уже автором двух книг ("Жизнь

финляндских рабочих", вышедшей в 1903 году, и "К вопросу о классовой борьбе"), а потом и третьей ("Финляндия и социализм"), она также писала о женском движении, о "пролетарской нравственности", которая должна прийти на смену нравственности буржуазной. В 1906 году вышла ее книга "Финляндия и социализм. Сборник статей, не появившихся в печати в России".

С Саткевичем они жили теперь почти открыто. Его начальство смотрело на это сквозь пальцы. Часто они оставались друг у друга на ночь и перестали соблюдать конспирацию. Сын Миша жил отдельно от матери, с экономкой и гувернанткой.

В эмиграции

Во время расстрела рабочей демонстрации в Кровавое воскресенье 9 января 1905 года Коллонтай была на петербургских улицах. Расстрел мирных пролетариев, многие из которых шли целыми семьями, ее потряс. В том же году в Петербурге познакомилась с Лениным. После начала Первой русской революции Коллонтай инициировала создание "Общества взаимопомощи работницам". Она часто выступала на митингах и собраниях и обнаружила талант оратора, умеющего зажечь толпу. Осенью 1905 года на подпольном собрании в помещении Технологического института Коллонтай познакомилась с только что вернувшимися из эмиграции Владимиром Лениным и его другом и соперником, главой меньшевиков Юлием Мартовым.

Примерно тогда же Коллонтай познакомилась с соредактором первой легальной социал-демократической "Московской газеты" Петром Масловым, приехавшим по делам в Петербург. У Александры с редактором первой российской легальной газеты социал-демократов, экономистом, который был старше ее на пять лет, завязывается бурный роман. Маслов, специалист по аграрному вопросу, безумно влюбился в нестандартную революционерку, всюду следовал за Коллонтай, прихватив с собой свое семейство. Хотя внешность у него была не слишком презентабельной: пухленький, рано начавший лысеть степенный мужчина, похожий на купца второй гильдии или чиновника средней руки. И хотя Петр Павлович происходил из оренбургских казаков, казачьей лихости у него не было. Но он окунулся с головой в омут внезапно нахлынувшей любви.

Ленин отчаянно критиковал Маслова за "ревизионизм", за "измену марксизму" — причиной тому была не столько его программа муниципализации земли, сколько его организационная принадлежность к меньшевикам. Тем не менее друг Коллонтай благополучно пережил все революционные бури, а потом и Большой террор. Ему даже не поставили в вину преподавание в университете в колчаковском Омске, а в 1929 году избрали в академики АН СССР.

А между тем в биографии П.П. Маслова периода Гражданской войны были и вовсе опасные моменты. В конце июня 1918 года на Челябинском уездном съезде крестьянских, казачьих, рабочих и мусульманских депутатов Петр Павлович был избран председателем Челябинского исполнительного комитета народной власти. С июля 1918 года исполнял обязанности комиссара Челябинского округа Временного Сибирского

правительства, в которое входили эсеры, народные социалисты, беспартийные областники. А это уже по большевистским меркам — прямая контрреволюция. В сентябре 1918 года Маслов участвовал в Уфимском государственном совещании. Только после колчаковского переворота он ушел со всех постов и обратился к преподавательской деятельности. Можно предположить, что в дальнейшем большевики не узнали, чем занимался Петр Павлович летом и осенью 1918 года. Иначе он не только не стал бы советским академиком, но и вряд ли бы умер своей смертью.

Ретроспективно оглядывая свой жизненный путь годы спустя, Коллонтай записала в дневнике: "Было хорошо в совместной жизни и дружбе с Дяденькой. Он меня берег и баловал. Но опять душно стало, опять ушла <…>".

Но вот беда — Петр Петрович состоял в законном браке, и его жена, Павлина, в просторечии Павочка, неусыпно следила за мужем, не отпуская от себя ни на шаг.

Коллонтай арестовали, но выпустили под залог. Пока она укрывалась у писательницы Щепкнной-Куперник, друзья приготовили ей заграничный паспорт, и она эмигрировала. Пока готовили паспорт, Татьяна Щепкина-Куперник предложила ей укрыться в своей квартире, столь респектабельной и известной, что полиция туда не наведывалась. Накануне бегства Татьяна устроила для Александры прощальный вечер. Пришли музыканты, актеры, художники. Композитор Сергей Василенко и поэт Сергей Городецкий написали в честь Александры романсы — их исполнили знаменитые певцы.

В ночь с 13 на 14 декабря 1908 года Коллонтай эмигрировала, так как против нее были выдвинуты обвинения в призыве к вооруженному восстанию в брошюре "Финляндия и социализм". В том же году в предисловии к своей книге "Женское движение и классовая борьба" она писала: "Необходимо, чтобы социал-демократия, ввиду нового выступления феминистов, формулировала свое отношение к женскому буржуазному движению и отмежевалась и у нас — в России — от буржуазного феминизма. Эту задачу и преследует моя работа, которая является первой попыткой самостоятельной разработки женского движения на русском языке…" Можно сказать, что Александра стала первой русской феминисткой. Она была убеждена: "Мир женщин, как и мир мужской, также разделен на классы. Никакое формальное уравнение женщины в правах с мужчиной, ни политическое, ни профессионально-трудовое, не спасет женщину от социального и экономического рабства".

Очень скоро в берлинский пригород Грюневальд, где

поселилась Коллонтай, приехала повидаться с ней Татьяна Щепкина-Куперник, а потом и Петенька. Но для того, чтобы надолго обосноваться в Германии, он прихватил с собой семью.

"Если б ты знала, милая Зоюшка, — писала она Шадурской из Берлина, — как я люблю своего Маслика, но не могу идти на замужество, мысль о совместной жизни меня прямо пугает". А "Маслик" меж тем уже и не представлял жизни без нее, был готов на разрыв с семьей, только бы не потерять своей "Коллонтайки".

В Берлине Коллонтай вступила в германскую социал-демократическую партию и в качестве ее представителя поехала в Копенгаген на Восьмой конгресс Второго Интернационала в августе 1910 года. Перед конгрессом состоялась Международная конференция социалисток, где Александра Михайловна Коллонтай была делегаткой работниц-текстилыциц Северного промышленного района Петербурга и выступила с докладом об охране материнства и детства. Там ее избрали членом постоянного Международного секретариата по руководству женским социалистическим движением. Тогда как раз и было принято решение о ежегодном праздновании 8 марта Международного дня женщин.

Обладая признанным даром оратора и свободно говоря на основных европейских языках, Коллонтай пользовалась большим спросом как лектор. В сентябре 1909 года она признавалась одной из подруг: "Платят хорошо: десять марок суточных, все переезды на их счет и двадцать марок "за выход". Предлагают прочесть хоть сто рефератов, ей-богу, я разбогатею!"

С 12 по 31 мая 1909 года Коллонтай путешествовала по Германии и Швейцарии, выступала с докладами о революционном движении и положении женщин в России. В Хемнице проходила организованная социал-демократами "Красная неделя", и старая подруга Клара Цеткин лично просила Александру, как признанного оратора, в том числе на немецком языке, поучаствовать в митингах и собраниях.

По партийным делам Александра много путешествовала, посетила Бельгию, Великобританию, Германию, Данию, Норвегию, Францию, Швейцарию и Швецию. Дважды посещала США. В 1907, 1910 и 1912 годах Коллонтай делегировалась РСДРП на международные социалистические конгрессы в Штутгарте, Копенгагене и Базеле. Там она иной раз представляла и социал-демократов других стран.

Клара Цеткин

Александра Михайловна вполне комфортно чувствовала себя в Западной Европе. Тем более в большинстве стран языкового барьера для нее не существовало. Но она тосковала по петербургским друзьям. В июле 1910 года Коллонтай интимно писала Щепкиной-Куперник: "Как странно, мои мысли так часто витают возле тебя, моя нежная Танечка с солнечной улыбкой, ты все еще жива во мне, ясно вижу твои глаза, с их глубокой жизнью, богатой оттенками, слышу твой голос, твой смех, а письма мои стали так редки…

Не писала тебе, так как говорить с тобой о погоде, о новостях в пансионе, о выборах в баварский ландтаг казалось диким, а писать о другом, что лежало на душе, было страшно… Ты понимаешь, нельзя касаться того, что еще трепещет, как раненая птица, в душе и содрогается от каждого прикосновения. Но теперь уже я более или менее взяла себя в руки… Главное сейчас — работа. Хочется дорваться до нее, ведь сама по себе она дает большое наслаждение. Ты это знаешь, правда? Особенно, когда веришь, что сделаешь нечто большее, чем сейчас тобою сделано…"

В эмиграции Александра примкнула к ликвидаторам. Коллонтай читала лекции в основанной группой "Вперед" школе в Болонье. Здесь преподавали также Богданов, Луначарский, Алексинский. "Быть активным, действующим социал-демократом, оставаясь при этом женщиной, очень трудная, иногда даже мучительная задача", — отмечала она для себя. В Болонье ее почему-то остро невзлюбила жена Богданова. Приревновала без всякой причины. "Она не женщина, — коротко объяснила Коллонтай драму этой семьи в своем дневнике. — Несчастье: она оперирована. Но при чем здесь я? При чем сам Богданов? Как он меня боялся!.."

Речь здесь идет о жене видного философа — социал-демократа Александра Александровича Богданова (Малиновского) Наталье Богдановне Малиновской (урожденной Корсак), профессиональной акушерке, принимавшей роды у жены Льва Толстого в Ясной Поляне. У них с Александром Александровичем детей не было.

В феврале 1911 года Коллонтай читала лекции в Болонье о Финляндии и об эволюции семьи. Она писала Щепкиной-Куперник: "Читаю не только ежедневно, но часто по два раза в день, сверх того — практические занятия со слушателями, дискуссии и т. д. Не успеваю даже поспать нормально и от этого сильно устаю".

Лекции по финляндскому вопросу, о земельной реформе, о роли крестьянства в неизбежно предстоящей революции, жаркие дебаты с молодыми социал-демократами о будущем России имели такой успех, что Эмиль Вандервельде и Камиль Гюисманс сразу же пригласили Коллонтай совершить лекционное турне по Бельгии.

В Бельгии Коллонтай рассказывала русским эмигрантам о положении в России и о женском вопросе. Одна из лекций так и называлась: "Сексуальный кризис и классовая мораль", Александра Михайловна жаловалась Щепкиной-Куперник: "Ежедневно без отдыха ношусь по Бельгии, среди копоти и гор каменного угля… Гнезда тяжелого упорного труда… Бледные, желтые, худые лица шахтеров, сильные и гордые типы металлистов, чахоточные и почему-то всегда воодушевленные "идеалисты" — ткачи, ткачихи… Залы, забитые тысячью и более слушателей, процессии с музыкой, с которой меня встречают на вокзале…"

А в конце апреля 1912 года прямо в поезде, возвращаясь в Берлин, Шура радостно сообщала Тане Щепкиной-Куперник: "Поездка по Швеции дала мне громадное моральное удовлетворение, так как я осязательно чувствовала, что являюсь

опорой для молодого радикального течения в Швеции (общесоциалистического, не женского), но и женщинам кое-что дала. Вся поездка — это какой-то золотой сон… Могло бы вскружить голову, если б я была моложе и менее знала жизнь. Было много и чисто внешнего успеха. Моя первомайская речь комментировалась всякими газетами… Но быть временной знаменитостью — это тоже имеет свои неудобства: сегодня на пароходе, конечно, меня все знали, еще бы: в газетах всяческие снимки — то на трибуне, то премьер-министр и… я — два полюса первомайского дня. Проводы толпы с криками: "Александра Коллонтай, ура! Ура! Ура! Ура!" (четыре раза, заметь! Это полагается в Швеции); одним словом, все, как полагается, и вот на пароходе — качка. Русская агитаторша борется с приступами морской болезни, наконец, срывается с места… А пассажиры бегут смотреть, что она будет делать!!!"

Маслов прочел цикл лекций в Германии. Коллонтай же приехала на съезд социал-демократов в Мангейм. Ее пригласили по рекомендации Карла Каутского и Розы Люксембург. Здесь она познакомилась с Карлом Либкнехтом, Кларой Цеткин, Августом Бебелем. Либкнехт был явно неравнодушен к ней, и она отвечала взаимностью.

В Берлине Коллонтай встретилась с Масловым. В Петербурге он встречаться боялся, остерегаясь огласки.

Берлин Александре не нравился. "Представь, Танюся, это Берлин! — писала она Щепкиной-Куперник. — В таких квартирах ютятся плохо оплачиваемые рабочие… Сыро, темно… Меня возили смотреть. 650 тысяч семейств живут в перенаселенных квартирах! И это в "благоустроенном" Берлине. Иногда так ненавидишь весь этот мир контрастов…"

Однако Шурочку сильно тяготило то, что после их свиданий он, боясь жены, сразу спешил домой. Тайные встречи с любовником стали утомлять Александру. Она уехала в Париж, сняла комнату в скромном семейном пансионе. Но Петр бросился за Шурой, прихватив, как всегда, свое семейство. Он приходил к ней каждый день, но ровно в половине десятого торопился домой. Ее это угнетало.

Зоя писала Александре: "…Видела Мишку, жаловался на тебя: "Мамочка к себе на версту не подпускает, только здоровались, да прощались, да за обедом три часа сидели". — "Что ж ты ей прямо не сказал?" — "Как же скажешь, мама стала такая раздражительная. Все Маслов да Маслов…" Ревнует <…>".

А вот как Коллонтай представляла себе "будущий социалистический город": "…Красивые особняки в садах. Все особняки оборудованы всей современной техникой… Каждый

живет сообразно своим индивидуальным склонностям, вкусам…" Маслов же считал это "наивной восторженностью гимназистки".

Когда Александру навещал сын Миша, для нее наступал настоящий праздник. Она писала Тане: "На душе — относительно покойно и ясно. Жду своего сына — это праздник. Мечтаю о том, как мы с ним будем "питаться" заграничной жизнью… Это особенная радость — показать хорошее, любимое, интересное "собственному" большому сыну…"

Но праздник быстро кончался. И Александра жаловалась той же Щепкиной-Куперник: "Я только что проводила Мишу и шла на почту с душою, полной той холодной тоски, какую познала только здесь, за границей, в период моего одиночества. Странно, что эта холодная тоска, ощущение одиночества, никому ненужности является у меня особенно ярко всегда в шумном и людном Париже".

В Париже Коллонтай снимала комнату в скромном семейном отеле "Босежур" на улице Ранелаг, р. 99 в пригороде Пасси. Она почти никуда не выходила, работая над рукописью новой книги "По рабочей Европе". Героями книги были Жан Жорес и Жюль Гед, Эмиль Вандервельде, Виктор Адлер, Отто Бауэр, Камиль Гюисманс, Карл Каутский, Вильгельм Либкнехт, Роза Люксембург, Клара Цеткин. По поводу этой книги, вышедшей в Петербурге в 1912 году, Александра писала из Берлина своей подруге Варваре Волковой: "Не хватает у немцев революционного духа, знаете, не боевых фраз, а этого стремления вперед, энтузиазма, веры во что-то светлое, что ждешь после борьбы. Конечно, они деловитее, быть может, даже более знающие, но это все-таки чужие…"

Маслову в Берлин Александра сообщила, что остается в Париже. Более четверти века спустя в своем дневнике Коллонтай вспоминала: "В первый раз за годы близости с П.П. я забываю о нем и в душе не хочу его приезда в Париж. Его приезд значит, что он меня запрет в дешевом отельчике с окнами во двор, что я не смею днем выйти, чтобы партийные товарищи меня случайно не встретили и не донесли бы Павочке. <…> Все это было столько раз — я не хочу "плена любви". Я жадно глотаю свою свободу и одиночество без мук. <…> Я начинаю "освобождаться" от П.П.". Но Петр Павлович вместе с семьей тотчас примчался во французскую столицу вслед за любимой и поселился на Монпарнасе. К десяти часам ему приходилось возвращаться от любовницы к жене, поскольку ни одна библиотека в Париже не работала позднее, чем до половины десятого. Впрочем, Павлина уже, вероятно, догадывалась об измене мужа. Александру этот подкаблучник начал уже раздражать.

Ужин с Масловым быстро переходил в споры о земельной

ренте, о законе народонаселения, вообще о демографии, о социальном неравенстве и классовой борьбе. Но любовники соглашались в главном: для большевиков демократия — только лозунг, средство для захвата власти, которую они потом никому не собираются отдавать… А вот для нас, меньшевиков, демократия, свобода для каждого — не средство, а цель. Без ее достижения политическая борьба бессмысленна.

Коллонтай активно участвовала в стачке парижских домохозяек. Она вспоминала: "Я участвую с увлечением в стачке <…>, — писала она впоследствии в своих неизданных мемуарах. — Я на митингах, на собраниях, нас хватает французская полиция <…>. Выпускает, и я снова на трибуне. Я горю с ними за общее дело".

Восемь лет спустя Александра Михайловна вспоминала, как ожидала свидания с Масловым: "Дивное утро. Цветет белая акация, пьянящий запах и знакомый. Он с чем-то связан. Ах да: белые душистые гроздья акации в пригороде Парижа — Пасси, 1911 год. Я живу в дешевом отеле и питаюсь больше земляникой и сырками. Почти не выхожу. С утра до вечера пишу "По рабочей Европе". В третий раз переписываю всю рукопись… А по вечерам сижу у окна, дышу белой акацией, жду к себе П.П…Наши радостные встречи, наши скромные ужины, сыр, хлеб, масло, земляника. И, конечно, разговоры о падении земельной ренты и о законе народонаселения. Хорошо, радостно… Я хлопочу о переводе и издании его книги в Германии. И тут же вечный страх П.П.: а вдруг его жена, Павочка, узнает, что он у меня? Павочка безмерно ревнива. Как я любила, страдала от его уколов, что так непонимающе, чисто по-мужски наносил мне П.П. И все-таки я его любила со всей мукой и искренностью. И вот разлюбила. Значит, это возможно? Это только в юности веришь, что если полюбишь, то это навсегда…"

Действительно, тогда настроение у Александры было приподнятое, воодушевленное очередной любовью. В апреле 1911 года она писала Щепкиной-Куперник: "У меня весеннее настроение, бодра и, знаешь, трепещет что-то беспричинной радостью в груди, как в семнадцать лет!.."

Выступая на первомайском митинге 12 мая 1911 года, Ленин пригласил Коллонтай участвовать в открытии знаменитой партийной школы в Лонжюмо. Тринадцать слушателей-партийцев и пять вольнослушателей из Петербурга, Москвы, Баку, Тифлиса и других городов. Там Коллонтай познакомилась с Инессой Арманд, любовницей Ленина и подругой Крупской. С Инессой Александре уже после революции предстояло руководить женотделом ЦК партии.

Осенью Вандервельде опять пригласил Коллонтай совершить турне по Бельгии, выступая с лекциями о вовлечении женщин в борьбу за свои права, за интересы пролетариата. В середине ноября она вернулась в Париж. Маслов встретил ее на Северном вокзале.

В середине февраля 1912 года Коллонтай писала Щепкиной-Куперник: "Я уже три недели абсолютно себе не принадлежу — меня нет, есть лишь деловой манекен, который вечно торопится, спешит и так поглощен заботой о затеянном деле, что садится по рассеянности в трамвае на колени к какой-то даме; является в гости, вместо того чтобы повесить пальто на вешалку, идет и вешает пальто в чужой шкаф…"

В 1913 году Александра Коллонтай опубликовала статью "Новая женщина", в которой развивала взгляды на женщину будущего коммунистического общества. Новая женщина, чтобы стать полноправным членом общества, должна руководствоваться следующими принципами:

Победа над эмоциями, выработка самодисциплины.

Отказ от ревности, уважение свободы мужчины.

Требует от мужчины не материального обеспечения, а бережного отношения к своей личности.

Новая женщина — самостоятельная личность, ее интересы не сводятся к дому, семье и любви.

Подчинение разуму любовных переживаний.

Отказ от фетиша "двойной морали" в любовных отношениях. Новая женщина не скрывает своей сексуальности.

Только сама Коллонтай этих принципов часто не могла придерживаться. И ревновала, и ставила любовь выше разума.

Развитию концепции новой женщины Коллонтай посвятила также свою беллетристику, в частности, повесть "Большая любовь". Там любовь молодой незамужней революционерки Наташи и женатого революционера Семена разбивается об устаревшие взгляды Семена, который видит в женщине лишь объект любовных утех. И в финале Наташа все же уходит от любовника-ретрограда и обретает свободу.

Позднее Коллонтай развивала эти идеи в 1923 году в повести "Василиса Малыгина" и рассказе "Любовь трех поколений", героини которых — раскрепощенные женщины, не желающие обременять себя семьей.

Коллонтай относилась к семье скептически, веря, что женщины должны служить интересам класса, а не оставаться обособленной ячейкой общества. В статье "Отношения между полами и классовая мораль" она писала: "Для рабочего класса большая "текучесть", меньшая закрепленность общения полов,

вполне совпадает и даже непосредственно вытекает из основных задач данного класса".

В то же время Коллонтай признавала необходимость любви во взаимоотношениях мужчины и женщины, ибо без любви эти взаимоотношения превращаются в проституцию, скрытую или явную, в отношения купли-продажи.

Борьба за равные права и свободу женщин для нее была неотделима от борьбы за свободную любовь. Свободная любовь для Коллонтай сводилась не столько к праву каждого иметь неограниченное количество любовниц и любовников, сколько как право женщины на эротическую и осознанную любовь. Она утверждала: ""Свободная любовь" наталкивается на два неизбежных препятствия: "любовную импотенцию", составляющую сущность нашего распыленного индивидуалистического мира, и отсутствие необходимого досуга для истинно душевных переживаний. Современному человеку некогда "любить". В обществе, основанном на начале конкуренции, при жесточайшей борьбе за существование, при неизбежной погоне либо за простым куском хлеба, либо за наживой или карьерой, не остается места для культа требовательного и хрупкого Эроса… Мужчина опасается отравленных стрел Эроса, большого и истинного любовного захвата, могущего отвлечь его от "главного" в жизни. Между тем свободная любовная связь, при всем комплексе окружающей жизни, требует несравненно большей затраты времени и душевных сил, чем оформленный брак или беглые покупные ласки. Начиная с того, что душевные притязания свободных возлюбленных друг к другу обыкновенно еще выше, чем у легальных супругов, и кончая невероятной затратой времени друг на друга…"

Сама Александра Михайловна, несомненно, страдала от того, что на любовь, на свидания со своими любимыми у нее всегда было слишком мало времени. Ведь основное время у нее уходило на революционную работу: поездки с лекциями, конгрессы, написание книг и статей.

По мнению Коллонтай, ""Любовь-игра" в различных своих проявлениях встречалась на всем протяжении человеческой истории. В общении между древней гетерой и ее "другом", в "галантной любви" между куртизанкой эпохи Возрождения и ее "покровителем-любовником", в эротической дружбе между вольной и беззаботной, как птица, гризеткой и ее "товарищем"-студентом нетрудно отыскать основные элементы этого чувства. Это не всепоглощающий Эрос с трагическим лицом, требующий полноты и безраздельности обладания, но и не грубый сексуализм, исчерпывающийся физиологическим актом… "Игра-

любовь" требует большой тонкости душевной, внимательной чуткости и психологической наблюдательности и потому больше, чем "большая любовь", воспитывает и формирует человеческую душу. "Любовь-игра" гораздо требовательнее. Люди, сошедшиеся исключительно на почве обоюдной симпатии, ждущие друг от друга лишь улыбок жизни, не позволят безнаказанно терзать свои души, не пожелают мириться с небрежным отношением к своей личности, игнорировать свой внутренний мир…

Она была убеждена, что "наше время отличается отсутствием "искусства любви"; люди абсолютно не умеют поддерживать светлые, ясные, окрыленные отношения, не знают всей цены "эротической дружбы". Любовь — либо трагедия, раздирающая душу, либо пошлый водевиль. Надо вывести человечество из этого тупика, надо выучить людей ясным и необременяющим переживаниям. Только пройдя школу эротической дружбы, сделается психика человека способной воспринять "великую любовь", очищенную от ее темных сторон… Без любви человечество почувствовало бы себя обокраденным, обделенным, нищим…

Сейчас, чтобы бороться, жить, трудиться и творить, человек должен чувствовать себя "утвержденным", "признанным". "Кто себя чувствует любимым, тот себя чувствует и признанным; из этого сознания рождается высшая жизнерадостность". Но именно это признание своего Я, эта жажда избавления от призрака вечно подкарауливающего нас душевного одиночества не достигается грубым утолением физиологического голода. "Только чувство полной гармонии с любимым существом может утолить эту жажду". Только "большая любовь" даст полное удовлетворение.

Любовный кризис тем острее, чем меньше запас любовной потенции, заложенной в человеческих душах, чем ограниченнее социальные скрепы, чем беднее психика человека переживаниями солидарного свойства.

Поднять эту "любовную потенцию", воспитать, подготовить психику человека для воспитания "большой любви" — такова задача "эротической дружбы"".

Она ратовала за равноправие полов и была противницей буржуазного брака, противопоставляя ему свободный союз мужчины и женщины.

Пожалуй, идеалом для Александры была такая любовь, когда сексуальная гармония сочетается с глубоким духовным чувством, но чувство это не является обременительным для обоих, и разрыв потом должен происходить гладко и не вызывать длительных душевных страданий. Тут-то и крылось неразрешимое противоречие. Если любовь истинна, глубока и духовна, то гибель

любимого человека или разрыв с ним причиняют долгие, неустранимые душевные страдания, которые порой могут привести даже к самоубийству. Примеров тому в истории множество. Страданий нет только тогда, когда связь действительно мимолетна. Коллонтай, несомненно, искренне любила многих из своих любовников, но той настоящей любви, когда отсутствие рядом любимого причиняет мучительные страдания, у нее, как кажется, не было.

В 1911 году она рассталась с Петром из-за другого революционера — Александра Гавриловича Шляпникова. Тот был моложе ее на 13 лет и, в отличие от подавляющего большинства социал-демократов, действительно был пролетарием. С 1898 года он работал рабочим на заводах, сначала в нижегородском Сормове, потом в Петербурге, участвовал в стачках, в 1901 году вступил в РСДРП, состоял во фракции большевиков. Оказавшись в эмиграции, с 1908 по апрель 1914 года он работал на заводах Франции, Германии и Англии. Принадлежность к разным фракциям не помешала его любви с Коллонтай.

26 ноября 1911 года покончили с собой видные марксисты супруги Поль и Лаура Лафарг, для которых невыносимо было наступление старости. Александра часто бывала у них, а до этого много лет с ними переписывалась. Коллонтай выступила с речью на траурном митинге у могилы Лафаргов. Здесь она и познакомилась с Шляпниковым. Ночью он привез ее в пригород, в скромный дом для малоимущих, где снимал убогую комнату. Они сразу же провели вместе ночь. "Что-то зажглось. Он мне мил, этот веселый, открытый, прямой и волевой парень. Этот "пролетарий из романа". Мне с ним хорошо…" — признавалась в мемуарах Александра. Они долго бродили по городу, зашли в бистро. Затем поехали к Шляпникову в Аньер, успев на последний поезд. Александре Коллонтай эта ночь запомнилась на всю жизнь. Два с лишним десятилетия спустя она писала: "Ранним утром — поездом, на котором едут ребята на заводы, я из Аньера возвращаюсь в Париж. На лестнице, у дверей пансиона, где я живу, — знакомый силуэт. Бог мой! Петр Павлович! Вид убитый. Захолонуло: "Поймана на месте преступления". — "Вчера тебя не было допоздна. И ночью… Я был сейчас в твоей комнате. Ты дома не ночевала…" Он прав!.. Но нет! Не хочу лжи. Иду на разрыв! Я не хочу новых пут, а ложь — это всегда новая мука. "Да. Я ночевала у моего нового друга". Это жестоко. Это не похоже на меня. <…> Это нож, который я вонзила в сердце "самоуверенного", вчера еще безмерно любимого Петеньки. Бедный, бедный П.П. Он растерялся, он стал маленьким и беспомощным. <…> Он даже не упрекал, он глядел на меня с

мукой собаки, которую до смерти избивает рука любимого господина. <…> Кончилось все это слезами и объятиями. Я уверяла, что это всего лишь "вспышка", что я люблю только его. Он рыдал, целуя меня, мои ноги, руки… Это была пытка, это было нехорошо, потому что я думала в этот момент только об А.Г. Шляпникове, о том, что вечером мы будем с ним снова вместе".

Создается впечатление, что Маслова Коллонтай не столько любила, сколько терпела. Вероятно, он был слишком стар для нее (на пять лет старше; в 1911 году ему было уже 44 года), а она предпочитала молодых любовников.

Они собирались уехать в Берлин, но она еще задержалась в Париже: прибыл муж, Владимир Коллонтай. Он написал, что по служебным делам приезжает в Париж в начале января и очень хочет встретиться с ней "для решения общих вопросов". Они встретились в кафе неподалеку от Сорбонны. Не читая, Шура подписала заготовленные его адвокатом документы о разводе, где всю вину брала на себя, сознавшись в прелюбодеянии.

Ведь по российским законам православный брак мог быть расторгнут в следующих случаях:

Доказанное прелюбодеяние одного из супругов или его неспособность к брачному сожитию.

Судебный приговор в отношении одного из супругов с лишением всех прав состояния.

Безвестное отсутствие одного из супругов.

Обоюдное согласие супругов принять монашество при отсутствии малолетних детей.

В судебном процессе требовались показания двух или трех свидетелей о факте прелюбодеяния, либо письма, доказывающие супружескую измену, либо документы, свидетельствующие о наличии внебрачных детей. У адвокатов, специализирующихся на подобного рода делах, существовали профессиональные свидетели, специализирующиеся на даче необходимых фальшивых показаний. Признание же в супружеской неверности устраняло многие проблемы.

Теперь по российским законам Владимир мог вступить в повторный брак и жениться на любимой женщине, учительнице Марии Ипатьевне Скосаревской, с которой давно жил и которая любила их с Шурой сына Мишу. А вот его бывшая супруга как официальная виновница развода в новый законный брак в Русской православной церкви вступить не могла. Но официальный брак ее никогда не волновал. "В парижском кафе при обсуждении положения в России, — написала позднее Александра в своем дневнике, — мы нашли гораздо больше общего языка, чем в годы нашего молодого, счастливого, по

существу, брака".

Из Парижа она сообщила Мише: "Мимулек, папочка тебе расскажет, как хорошо и тепло мы встретились в Париже и как хорошо провели время. О тебе говорили много и дружно на тебя радовались… Знаешь, я ужасно рада, что встретила папочку. Мы так хорошо, так тепло подошли друг к другу. И столько вспомнили далекого, прошлого…"

Теперь Коллонтай официально развелась с мужем. Она писала Зое, что безмерно счастлива с новым другом: "Зоечка, родная, любимая моя, — писала Александра в Петербург своей лучшей подруге из Берлина, — я очень, я безмерно счастлива! Если бы ты только знала, какой замечательный человек стал моим другом! Только теперь я по-настоящему почувствовала себя женщиной. <.. > Но главное — это то, что он рабочий. Грамотный пролетарий. Теперь, живя с рабочим, а не с буржуазным интеллигентом, хотя и самых прогрессивных, истинно социал-демократических взглядов, я лучше узнаю и понимаю жизнь, нужды, проблемы рабочих. Он открыл мне на многое глаза, он сделал меня другой. <…>".

Чувствуется, что к Зое Шура была неравнодушна как к женщине.

А вот что Зоя написала в ответ: "Дорогая моя деточка, женщина милая, Шурик мой тоненький, ненаглядный. Восхитительная, единственная! Если бы ты знала, как моя душа полна нежностью к тебе!..

Не могу понять, откуда вдруг у тебя столько самоуничижения и непонимания, что же на самом деле ты собой представляешь. Придется мне это тебе объяснить. Ты, Шура, — Александра Коллонтай, а это уже не просто имя и фамилия, это целое понятие, это большое явление <…> ты сама по себе, со СВОИМ лицом.

И вот это-то и есть твоя сила, твое преимущество, в том твоя победа, что ты осталась и всегда остаешься собою. <…> Разве ты могла бы иметь всю силу обаяния и свою увлекательность для всех, если бы ты была тоже, до дна, как они? Не тебе открывают глаза, а ты открываешь глаза людям, позволяя им увидеть себя в полный рост. <…> Милая, сходи в театр, быть может, тебе нужно какое-нибудь впечатление или переживание красоты? <… > Целую горячо, горячо родную, любимую. Шлю тебе всю мою нежность".

Маслов продолжал писать Шуре письма, полные любви и готовности все простить, обо всем забыть и "вернуться к исходным позициям". Он надеялся на чудо, которого не произошло. Много лет спустя она написала в дневнике, что, читая

эти письма, "страдала за него задним числом. Страдала и переживала <…> мой, уже внутренний, отрыв от него. Ведь я глубоко любила П.П. Но я настрадалась с ним. И я бежала не от него, а от страданий, которые он причинял <…>. И, когда чаша переполнилась, я схватилась за новые переживания и за веселого, смеющегося А.Г.". Петя приехал в Берлин, но эта встреча лишь оформила происшедший разрыв.

Тут лидер шведских левых социал-демократов Цет Хеглунд пригласил Александру принять участие в первомайских торжествах. Плохо было только то, что лекции шведской аудитории пришлось слушать в переводе. Шведского языка на таком уровне, чтобы произносить речь, Коллонтай тогда еще не знала. "Ничего не получается, — вспоминала она. — Не могу зажечь. Если бы говорила по-шведски, зажгла бы обязательно. А так не выходит…" И принялась за серьезные занятия шведским языком.

Через несколько лет и Шляпников стал ее раздражать и получил отставку. Мужчина, который при всей непритязательности все-таки требовал минимального ухода и внимания, был обузой. Он мешал ей работать, писать статьи и тезисы лекций. Имение давало все меньше денег. Правда, до этого по ее меркам было еще далеко.

После отъезда мужа Александра отправилась в Берлин. "С тобой хоть на край света", — воскликнул Шляпников, услышав о ее решении. "Но только на такой край, где у нас есть общее дело, где мы сможем бороться за интересы рабочих".

Секс Александре Михайловне уже приелся. Она признавалась: "…Меня прямо пугает мысль о физической близости. Старость, что ли? Но мне просто тяжела эта обязанность жены. Я так радуюсь своей постели, одиночеству, покою… Если бы он мог жить тут как товарищ!.. Но не супружество! Это тяжело". Чтобы избавиться от назойливого Шляпникова, Александра решила поехать с сыном Мишей в Америку.

Шляпников предложил отправиться "всей семьей". Коллонтай его одернула: "Я хочу побыть с сыном, я так давно его не видела". Но Шляпников не отступал, купил билет на тот же рейс, но Коллонтай поменяла свои билеты на более ранний. "Так надо. Когда-нибудь ты поймешь мои материнские чувства. Если хочешь, приезжай. Но потом" — такую записку она написала Шляпникову перед отъездом.

Ранней весной 1913 года Коллонтай и Шляпников на несколько дней поселились вместе в цюрихском отеле Habis Royal. Александр работал над статьей о профсоюзном движении, Шура готовилась к лекциям на любимую тему — о том, как

положение матери и жены мешает женщине целиком отдать себя борьбе за победу пролетариата. Долго быть вместе Коллонтай не удавалось ни с одним из мужей или любовником. Партийные дела заставляли много путешествовать по Европе.

Весной 1913 года она писала из Цюриха сыну: "Мой дорогой Хохленыш! Часто думаю о тебе, а писать совсем некогда… Хохлинька! Отчего это в письмах никогда не можешь говорить тепло и хорошо? И хочется с тобою поговорить просто, а как-то пишешь все не о том! Ведь я тебя очень люблю, мой Хохленыш! Очень!!! Успех у меня всюду большой. Ну, целую мордочку моего Хохлиньки!"

15 июня 1913 года Шляпников писал ей из Лондона: "Я не хотел <…> расставаться с гобой потому, что еще очень люблю тебя, и потому, что хочу сохранить в тебе друга. Я не хочу убивать в себе ото красивое чувство и не могу видеть и чувствовать, что ты убиваешь теперь эту любовь ко мне только в угоду предвзятой идее "на условии соединить любовь и дело". Какой же ложью звучат теперь эти слова и что должен думать я! О, какой цинизм! <…> Любящий тебя Санька".

После его отъезда в Париж в Лондон прибыла Коллонтай — писать книгу о проблемах материнства и детства. Для этого надо было поработать в библиотеке Британского музея.

Новый либеральный русский еженедельник "Голос современника", в котором Шадурская начала работать, отправил ее своим специальным корреспондентом в Европу. Но из Брюсселя, где была ее первая остановка, Зоя уже не вернулась.

Германское издательство решило издать на немецком нашумевшую книгу Коллонтай "По рабочей Европе", и тяготевшая к социал-демократам писательница Э. Федери согласилась вместе с автором работать над переводом. Квартирка, которую Коллонтай сняла в Берлине, позволяла ей поселиться вместе с Зоей.

В феврале 1914 года Коллонтай писала сыну из Берлина: "Дорогой мой мальчик, тяжело думается о тебе, о папочке эти дни… Хочу теперь ускорить свой переезд в Россию. Мне кажется, что надо быть ближе к тебе, надо быть там, чтобы помочь тебе вести жизнь. Ведь я знаю, как твое сердце болит за папу и как ты живо воспринимаешь все его неудачи и невзгоды… Хохлинька, дорогой мой! Напиши мне про все дела папины и про все, что знаешь, невольно мучаюсь за всех вас. И так, так больно за папочку! Но верь, что если у него есть враги, то есть и друзья, которые и ценят, и уважают его. И ведь враги-то у папы потому, что кругом старый бюрократический мир с его глубокой порчей. Папина честность и благородство им бельмо на глазу…"

Сын уже вырос, а мать за свою жизнь видел считаные недели. Строго говоря, Коллонтай не находилась в розыске, и формальных причин для возвращения в Россию у нее не было. Но начавшаяся мировая война исключила ее скорое возвращение на родину. Наоборот, незадолго до ее начала Миша приехал к ней. А вскоре после того, как разразилась война, публичные антивоенные выступления и статьи Коллонтай сделали ее в России персоной нон грата.

Первая мировая

После начала Первой мировой войны Коллонтай отошла от меньшевиков и правого крыла европейской социал-демократии, поддержавшего войну. Осуждение империалистического характера войны и желание поражения "своему" правительству сблизило Коллонтай с большевиками, к которым она окончательно присоединилась в 1915 году. За активную антивоенную пропаганду, в частности, за публикацию антивоенной статьи в одном из шведских журналов в ноябре 1914 года, она была арестована шведской полицией, доставлена в крепость Мальме и выслана из страны по личному указу короля Густава V. Поселившись в Копенгагене, Коллонтай наладила тесную связь с Лениным и выполняла его поручения.

Мировая война застала Коллонтай с Мишей в Германии. Они вместе отдыхали в это лето в курортном городке Кольгруб в австрийском Тироле. 31 июля они вернулись в Берлин, а на следующий день, 1 августа, Германия объявила войну России. Их арестовали как российских подданных, но через два дня ее выпустили, так как она была врагом того режима, с которым Германия вступила в войну. С трудом удалось вызволить Мишу, мотивируя это тем, что он не достиг еще призывного возраста и не подлежал интернированию. Помог Карл Либкнехт как депутат рейхстага, убедивший полицейских, что русская социал-демократка не может быть царским шпионом. Они выехали в Данию. Еще из Берлина Шура дала знать Щепкиной-Куперник: "Только что вырвалась из немецкого плена. Пришлось пережить много ужасов и тяжелого. Даже не верю, не верю, что вырвалась…" Перед тем как отправиться на вокзал, Коллонтай записала в дневнике: "Солнечное, но уже осеннее утро. Желтеют мои любимые каштаны под окном. А небо высокое, осенне-чистой синевы <…>. Через два часа поезд увезет нас из Берлина, из Германии. Гляжу из окна. Прощаюсь не только с целой законченной полосой собственной жизни, но с чем-то большим, много большим. Более важным <…>. С отрезком истории, с эпохой, которая отошла навеки в область летописи <…>.

После войны мир будет иным. Каким?.. Глаза мои отрываются от прошлого без слез. Гляжу вперед. В будущее…"

Тогда же она написала Зое, признаваясь, что датская столица ее совсем не радует: "Как странно, мы оба попали сейчас в города, которые больше всего не любим: ты — в Париж, я — в Копенгаген. <…> Я не люблю Копенгаген, его мокрую, нудную, тоскливую погоду, гаденькие, грязненькие дешевые пансионы <…>".

Однако отсюда ей удалось отправить сына пароходом в Россию и установить письменный контакт с Лениным. Мысль о раскате русской демократии в такой критический момент угнетала ее. Она все еще призывала Ленина к объединению, но "пролетарский вождь" оставался верен себе.

А Ленин писал Коллонтай в середине декабря 1914 года: "Бесполезно выставлять добренькую программу благочестивых пожеланий о мире, если не выставлять в то же время и на первом месте проповедь нелегальной организации и гражданской войны пролетариата против буржуазии… Европейская война принесла ту великую пользу международному социализму, что наглядно вскрыла всю степень гнилости, подлости и низости оппортунизма, дав тем великолепный толчок к очищению рабочего движения от накопленного десятилетиями мирной эпохи навоза".

Шура отправила сына в Россию, а сама уехала в Швецию, где был в то время Шляпников. Но когда он был рядом, то быстро надоедал, зато, когда его не было, Александра чувствовала себя тоскливо и одиноко. Даже очень скромный стокгольмский Hotel de Poste, в котором она сначала остановилась, оказался теперь не по карману. Денежные переводы из России перестали поступать, что вынудило ее перейти в более дешевый пансион "Карлссон". Приходилось зарабатывать на жизнь литературным трудом.

В одной из статей, опубликованных в Швеции, она писала, объясняя, почему правительствам воюющих стран удается вести за собой массы: "Национальные чувства, которые искусственно подогреваются капиталистами <…> во всех странах мира при помощи церкви и печати, а также проповедуются в школах, в семье и в обществе, имеют, по-видимому, более глубокие корни среди народа, чем представляли себе интернационалисты. <…> Получается, что правительства буржуазных государств лучше знали психологию народа, чем сами представители демократических и рабочих масс".

Но из Швеции в ноябре 1914 года ее выслали за революционную агитацию без права возвращения когда-либо. "Вломились утром, в восемь часов, — записала она в дневнике про свой неожиданный арест. — Формально за статьи, за выступления на собраниях и за то, что у меня с утра до вечера толкался народ — русские и шведы. Обвиняюсь в нарушении шведского нейтралитета и злоупотреблении гостеприимством <…>". Ее хотели выслать в Финляндию, то есть фактически в Россию, прямо в объятия полиции, но после протеста влиятельных шведских друзей отправили обратно в Копенгаген.

28 ноября Коллонтай писала Ленину: "Мой арест и высылка

вызваны были формально статьей о войне и наших задачах в антимилитаристском шведском журнале, но, кажется, настоящим поводом послужила моя речь на эту же тему на закрытом партийном шведском собрании. Говорила я в понедельник, а в пятницу меня уже арестовали, таскали по тюрьмам (Стокгольм, Мальмё) и препроводили с полицией в Копенгаген…

Консервативная шведская пресса использовала этот инцидент, чтобы поднять травлю на шведских товарищей, особенно на Брантинга… Пишут, что Брангинг запятнал себя дружбой с русской "нигилисткой", ведущей антимилитаристскую пропаганду в ту минуту, когда Швеция должна быть "сильна"".

Коллонтай выгнали из Швеции навсегда, не подозревая, что через шестнадцать лет она вернется в Стокгольм с триумфом.

Из Копенгагена Александра написала сыну:

"Михенька, милый!

Копенгаген мне совсем не нравится. Теперь он еще грязнее, чем летом, а хороших пансионов совсем нет. С радостью уехала бы в Англию, да пугает дорога — 7 дней ехать. Не нравится мне здесь и то, что люди какие-то сухие, холодные…"

Пока же в Дании было невесело. "Все время ворчала в Стокгольме, — самокритично записала она в дневнике, — что Шляпников мешает работать. Теперь жизнь наказала. Никто не мешает. Никому нет дела до меня. А не работается". Вызвала Шляпникова из Стокгольма, и он с радостью приехал. Александра записала в дневнике: "С А. отношения лучше, чем были раньше. Теплее. Пожалуй, ближе. Я ему много помогаю в его работе… Из него может выйти лидер, подлинный лидер. Ведь все данные есть".

Вдвоем, с Шляпниковым за бутылкой дешевого вина встретили Новый 1915 год, и Александр уехал в Стокгольм. "Я сейчас, как школьница, оставшаяся без гувернантки, — призналась Александра в дневнике сразу же после отъезда Шляпникова. — Одна! Это такое наслаждение!.. <…> Мне казалось, я просто не вынесу этой жизни вдвоем. Приспособилась, однако. Подкупила его ласка (всегда одно и то же! Всегда на это попадаешься!). Потом появились тысячи нитей. Ах, я даже люблю его, совсем нежно люблю. Но до чего, до чего я была бы счастлива, если б он встретил милое, юное существо, ему подходящее. <…> Только после отъезда А. я начала по-настоящему работать".

По предложению руководителей норвежских социалистов Александра переехала в Норвегию. Пришлось добираться паромом до Мальмё, где в начале февраля 1915 года она высадилась на запретный шведский берег. Там ее ждал

предупрежденный заранее Шляпников. Он довез Александру в поезде до Гетеборга и вернулся в Стокгольм, а Коллонтай отправилась в Христианию (нынешнее Осло). Там ее встретили норвежские друзья.

Эрика Ротхейм, норвежская певица, с которой они познакомились в Германии, нашла для Александры маленький, тихий "Турист-отель" в горах над Христианией, в курортном поселке Хольменколлен, в получасе езды на электричке от норвежской столицы. Правда, от станции до него надо было еще идти двадцать минут пешком. В дневнике Коллонтай писала: "Наш домишко — красная избушка, но внутри электричество, центральное отопление, телефон. Чистота идеальная. В воскресенье приезжает молодежь гулять, кататься, прыгать на лыжах. <…> Снег, сосны, ели, запушенные снегом, внизу Христиания и фиорды. <…> Странное чувство удивительного покоя и в то же время неловкости за то, что в это ужасное, кошмарное, кровавое время попала в это зачарованное царство гармонии и красоты. <…> Взрослые и дети катаются на санках, слышен перезвон бубенчиков — Россия…"

Эрика Ротхейм имела поблизости небольшой домик. Шура забегала к ней на чай, но беседы затягивались до вечера, "чай" плавно перетекал в ужин… После одного из таких визитов, когда в беседе участвовали еще две дамы, Коллонтай раздраженно записала в дневнике: "Разговор ни о чем. Скука. <…> Что делают эти люди, когда нас, гостей, нет? Муж на службе, дети в школе, а жена? Меня еще девочкой пугала эта неотвратимая скука в благополучном семейном доме. <…> Вчера, смотря на Эрику Ротхейм, я поняла, что она от опостылевшего семейного повседневья часто удирает за границу и что там у нее всякие переживания: надо заполнить пустоту жизни". И сразу беспощадный вывод: "Я устала сближаться с людьми, приспособляться к новой обстановке, сживаться. Я устала вбирать жизнь. <…> А жизнь все суровее, требовательнее, неумолимее…"

Мещанское благополучие не затронутой войной Скандинавии Александре претило.

Она записала в дневнике: "…На днях приедет Саня. А у меня двоится желание, двоится настроение. Одной все-таки тяжело, без близких. Но когда я желаю присутствия Сани, то всегда себе представляю кого-то близкого, родного, кто обо мне ласково подумает. Стоит же представить себе всю действительность, и руки опускаются. Опять начнется: "Сделай это! Найди то! Напиши для меня и т. д.". И потом, меня прямо пугает мысль о физической близости. Старость, что ли? Но мне просто тяжела эта

обязанность жены. Я так радуюсь своей постели, одиночеству, покою. Если бы еще эти объятия являлись завершением гаммы сердечных переживаний. <…> Но у нас это теперь чисто супружеское, холодное, деловое. <…> Так заканчивается день. И что досадно: мне кажется, будто Санька часто и сам вовсе не в настроении, но считает, что так надо.

Если б он мог жить тут как товарищ! Как веселый товарищ он мне мил, я люблю с ним говорить, даже приласкать его, он же милый мальчик. Но не супружество! Это тяжело".

Шляпников вновь приехал 8 марта 1915 года, и этот приезд Александру не обрадовал, но скорее раздосадовал. Накануне она получила известие, которое едва не сразило ее. Александр Саткевич сообщил, что скоро женится, и просил поздравить его с законным браком. По этому поводу появилась возмущенная запись в дневнике Коллонтай: "И с кем?! С очень, очень обыденной "дамочкой", безличной и типично буржуазной. <…> Я понимаю прекрасно всю психологию Дяденьки и рада за него, потому что сейчас это то, что ему нужно. И потому, что она даст ему все свое тепло, заботу. А он, бедный, в этом очень нуждается. У меня даже теперь какое-то чувство успокоения за него, но, когда я читала письмо, сидя у Ротхейм (я его там получила), мне казалось, что я читаю письмо с извещением о смерти близкого человека. Эта свадьба — крест на нашу долголетнюю, особенную близость-дружбу. Ровно двадцать лет знакомства, дружбы, понимания. <…> Сколько пережито! Двадцать лет? Мне кажется, много, много больше. Мне кажется, у меня всегда была Дядина дружба, его забота, его исключительная привязанность. Великая, незаменимая ценность! Опора, последняя опора в жизни! Казалось, без нее вообще не прожить. Сколько раз в самые тяжелые минуты жизни борьба, сознание, что где-то есть человек, для которого я самое дорогое в жизни, давали силы и вносили утешение. Мысль, что всегда можно позвать Дяденьку, давала иллюзию, что я не одна, и помогала нести жизнь… Я знала <…> что где-то есть человек, к которому я всегда могу обратиться и за большим, и за малым, который сделает для меня все, что сможет, и сделает с радостью…

Провела бессонную ночь. <…> Так сиротливо! Если б я чего хотела сейчас, так это одного: присутствия Дяденьки. Выплакаться на его плече, на все, на все пожаловаться <…> Теперь я для него почти чужая. А сколько лет и сколько мук нас связывало. И сколько тепла и добра я от него видела! Это единственный человек, который меня не только любил по-настоящему, по-большому, по-человечески, но и знал, и понимал".

Непонятно, на что Александра надеялась, много лет держа на

расстоянии своего старого преданного любовника. Александр Александрович терпеливо ждал, что когда-нибудь она к нему вернется, дабы вместе обустроить семейный очаг, пусть даже не в законном браке. Но Александре Михайловне семейный очаг был не нужен, он ее пугал, так как неизбежно ограничил бы ее свободу.

Периодически наезжавший Шляпников все больше тяготил ее. Сказывались и долгая разлука с Россией, и бездеятельность.

У нее началась депрессия, она писала о своем одиночестве и ненужности.

Шляпников уехал выполнять очередное ленинское задание в Лондон. Там нашелся издатель, готовый издать сочинения вождя большевиков. Вместе со Шляпниковым поехала еще одна русская эмигрантка — юная Лида, "из эсеров", как писала о ней Коллонтай, "чистая и милая девушка, но узкая, не чувствует, что совершается сейчас". Ревности Александра как будто не испытывала. В дневнике она отметила: "Проводила Александра — и отдыхаю. Он пробыл здесь один месяц и три дня, а кажется, был год. До чего устала вся! Как всегда, при нем ничего не наработала, запустила даже свои одежды и сижу без денег. Сижу без сапог и даже без белья — все рвется и рвется. <…> Мы живем на то, что зарабатываю я одна. Когда я одна, могу помогать еще и товарищам, и партию поддерживать, а с Александром ничего не остается".

В книге "Общество и материнство" Коллонтай утверждала: "Свободное материнство, право быть матерью — все это золотые слова, и какое женское сердце не задрожит в ответ на это естественное требование? Но при существующих условиях "свободное материнство" является тем жестоким правом, которое не только не освобождает личности женщины, но служит для нее источником бесконечного позора, унижений, зависимости, причиной преступлений и гибели…

Что же удивительного, если страх последствий заставляет рабочих быть осмотрительнее при общении влюбленных и все чаще и чаще прибегать к практике неомальтузианства?"

Сама она после рождения единственного сына больше детей не хотела и делала все, чтобы их не было.

В дневнике Коллонтай записала, как пришла к ней поплакаться "маленькая женщина, жена часовщика": любит другого, хочет и боится иметь от него ребенка, пока не ушла от мужа. Другая — "с мужем не венчана, но разве есть разница по существу? У них "свободная любовь", но какая же это любовь? Она ненавидит его "аппетиты", ей это скучно, особенно по утрам она ненавидит это удовольствие. У нее хозяйство, скромное, но

берущее время, силы. <…> Зачем ей ребенок от такой любви?"

Даже став большевичкой, Коллонтай по-прежнему активно сотрудничала с меньшевистской парижской газетой "Наше слово", оправдываясь перед Лениным необходимостью донести "революционные идеи" до бойцов русских бригад во Франции и русских волонтеров французской армии, которые читали эту газету. А в большевистской "Правде" она тогда еще не публиковалась.

С датировкой "май 1915" в дневнике Коллонтай появилась такая неожиданная запись: "Вместе с меньшевиками я хотела строить, но сейчас время разрушать. Дорогу большевикам! Дорогу левым! Какие уж там "реформы", строительство и т. п. Еще надо воевать и воевать. Не строить, а разрушать приходится. Война открыла нам глаза, отрезвила нас. Я испытываю чувство громадного облегчения и радости, когда слышу от левых, от большевиков-интернационалистов, настоящий, старый, забытый революционный язык. Язык "чистого социализма" с его непримиримостью! Надо вверх, вверх от земли. К идеалам!"

Александра прониклась идеей, что, прежде чем построить новый мир, старый надо разрушить до основания. И активно способствовала одному из институтов этого мира — "буржуазной" семьи.

И еще Александра записала: "17 мая 1915 года (4 мая по русскому стилю). 26 лет назад в этот день я пережила первое горе. В этот день застрелился Ваня Драгомиров… Не верю, что даже Мишулечке я дорога. Вот не верю! Может быть, потому, что я не чувствую своей "нужности" ему. Опять ночью мучила мысль: вот я вся ушла в работу, в свои интересы, я старалась "выковывать" себя, не боялась переживаний, не боялась тратить силы. Казалось, надо, надо из себя сделать человека, чтобы принести пользу делу нашему. И ради этого не сделала и не делаю того, что могла бы для Миши. Когда шел конфликт: дело или Миша, я никогда не колебалась — только дело! Но хочется одного: чувствовать себя НУЖНОЙ, полезной, необходимой. <… > Если я делу не нужна. Мише не нужна, тогда зачем же я живу?

Думала ли я, что буду так одинока? А ведь до этого вера в прочность наших отношений с А.А., нашей особенной дружбы жила так же крепко, как и 17 лет назад. Только 17–18 лет назад переживала я ту первую драму — поворотный пункт моей жизни. Только 18 лет назад? Я бы поверила, если бы мне сказали, что прошло 40–50 лет. Так все это далеко, так не похоже на то, что окружает. И жизнь другая, и интересы другие, и сама я другая".

В мае 1915 года Ленин писал Коллонтай: "Ваши статьи в "Нашем Слове" и для "Коммуниста" о скандинавских делах

вызвали во мне такой вопрос: можно ли хвалить и находить правильной позицию левых скандинавских социал-демократов, отрицающих вооружение народа? Я об этом спорил с Хеглундом в 1910 году и доказывал ему, что это не левизна, не революционность, а просто филистерство захолустных мещан. Забрались эти скандинавские мещане в своих маленьких государствах чуть не к Северному полюсу и гордятся тем, что до них 3 года скачи, не доскачешь! Как можно допустить, чтобы революционный класс накануне социальной революции был против вооружения народа? Это не борьба с милитаризмом, а трусливое стремление уйти в сторонку от великих вопросов капиталистического мира. Как можно "признавать" классовую борьбу, не понимая неизбежности ее превращения в известные моменты в гражданскую войну?

В.И. Ленин

Мне кажется, надо бы собрать материал об этом и выступить решительно против в "Коммунисте", а для поучения скандинавов Вы бы потом напечатали это по-шведски и т. д.

Хотелось бы знать об этом поподробнее Ваше мнение.

Bruce Giasier, по-моему, негодный сотрудник: у него хотя и есть пролетарская жилка, но он все же невыносимый оппортунист. Едва ли с ним можно идти вместе: заплачет через два дня и скажет, что его "вовлекли", что он ничего подобного не желает и не признает.

Видели книгу Давида и его отзыв о нашем манифесте? Нет ли в скандинавских странах материала о борьбе 2 течений по вопросу об отношении к войне? Нельзя ли бы собрать точный материал (отзывы, оценки, резолюции) с точным сопоставлением фактов относительно тенденции обоих течений? Подтверждают ли факты (по-моему, да), что оппортунисты — взятые, как течение, — в общем, больше шовинисты, чем революционные социал-демократы? Как Вы думаете, нельзя ли бы для "Коммуниста" собрать и разработать такой материал?"

А в письме от 26 июля 1915 года Ленин писал: "Если слова о классовой борьбе не фраза в либеральном духе (каковою она стала у оппортунистов, Каутского и Плеханова), то как можно возражать против факта истории превращения сей борьбы, при известных условиях, в гражданскую воину? Как может далее угнетенный класс вообще быть против вооружения народа?

Отрицать это — значит впасть в полуанархистское отношение к империализму: это, по-моему, наблюдается у некоторых левых даже у нас. Если-де империализм, то не нужно ни самоопределения наций, ни вооружения народа! Это вопиющая неверность.

Именно для социалистической революции против империализма нужно и то, и другое.

"Осуществимо" ли? Критерий такой неверен. Без революции вся почти программа-minimum неосуществима. Осуществимость в такой постановке собьется на мещанство.

Мне кажется, этот вопрос (как и все вопросы социал-демократической тактики теперь) можно ставить только в связи с оценкой (и учетом) оппортунизма. И ясно, что "разоружение", как лозунг тактики, есть оппортунизм. Захолустный притом, воняет маленьким государством, отстраненностью от борьбы, убожеством взгляда: "моя хата с краю"…

Посылаем проект (индивидуальный) декларации международных левых. Очень просим перевести и сообщить левым Швеции и Норвегии, дабы деловым образом двинуть Verstandigung (сговор. — нем.) с ними. Шлите Ваши замечания, resp. контрпроект и добейтесь того же от левых Скандинавии.

Beste Grtisse! (наилучшие пожелания. — нем.). Ваш Ленин".

Еще в одном письме Александре, тоже в июле 1915 года, Ленин повторил схожую мысль: "Дорогой товарищ! Вопрос о

конференции "левых" двигается. Была уже 1-я Vorkonferenz (предварительная конференция. — нем.) и на носу 2-я, решающая. Крайне важно привлечь левых шведов (Хёглунда) и норвежцев.

Будьте добры черкнуть (1), солидарны ли мы с Вами (или Вы с ЦК), если нет, то в чем, и (2) возьметесь ли привлекать "левых" скандинавов.

Ad 1. Нашу позицию Вы знаете из "Социал-Демократа". В русских делах мы не будем за единство с фракцией Чхеидзе (чего хочет и Троцкий и ОК и Плеханов с К°: см. "Войну"), ибо это есть прикрытие и защита "Нашего Дела". В интернациональных делах мы не будем за сближение с Haase-Bernstein-Kautsky (ибо они на деле хотят единства с Зюдекумами и прикрытия их, хотят отделаться левыми фразами и ничего не изменить в старой гнилой партии). Мы не можем стоять за лозунг мира, ибо считаем его архипутаным, пацифистским, мещанским, помогающим правительствам (они хотят теперь одной рукой быть "за мир", чтобы выпутаться) и тормозящим революционную борьбу.

По-нашему, левые должны выступить с общей идейной декларацией (1) с обязательным осуждением социал-шовинистов и оппортунистов; (2) с программой революционных действий (сказать ли: гражданская война или революционные массовые действия — не так уже важно) — (3) против лозунга "защиты отечества" и т. д. Идейная декларация "левых" от имени нескольких стран имела бы гигантское значение (конечно, не в духе цет-кинской пошлости, проведенной ею на женской конференции в Берне: Цеткин обошла вопрос об осуждении социал-шовинизма!! из желания "мира" с Зюдекумами + Kautsky??).

Если не согласны с этой тактикой, черкните тотчас 2 слова.

Если согласны, возьмитесь перевести (1) манифест ЦК (№ 33 "Социал-Демократа") и (2) бернские резолюции (№ 40 "Социал-Демократа") на шведский и норвежский и снестись с Хеглундом, — согласны ли они на такой базе (из-за частностей, понятно, мы не разойдемся) готовить общую декларацию (или резолюцию). Спешить с этим надо сугубо.

Итак, жду ответа.

Всяческие приветы.

Ваш Ленин*.

Получив это письмо, Коллонтай записала в дневнике: "Мне больно вообще за всех, до отвращения, до гадости, до злобы больно — хочется возненавидеть человечество, чтобы не было так больно. Ведь подлое, а главное, глупое оно. Какое глупое!*

В начале августа поступило очередное ленинское письмо: "Дорогая А.М.! Очень рады мы были заявлению норвежцев и

Вашим заботам о шведах. Дьявольски важно было бы совместное интернациональное выступление левых марксистов! (Принципиальное заявление — главное и пока единственно возможное.) Роланд-Гольст, как и Раковский (видали его французскую брошюру?), как и Троцкий, по-моему, все вреднейшие "каутскианцы" в том смысле, что все в разных формах за единство с оппортунистами, все в разных формах прикрашивают оппортунизм, все проводят (по-разному) эклектицизм вместо революционного марксизма.

Ваша критика проекта декларации, по-моему, не показывает (если я не ошибаюсь) серьезных расхождений между нами. Я считаю ошибочным теоретически и вредным практически не различать типов войн. Мы не можем быть против национально-освободительных войн. Вы берете пример Сербии. Но, будь сербы одни против Австрии, разве мы не были бы за сербов?

Гвоздь дела теперь — борьба между великими державами за передел колоний и подчинение мелких держав.

Война Индии, Персии, Китая и т. п. с Англией или Россией? Разве мы не были бы за Индию против Англии etc.? Называть это "гражданской войной" неточно; явная натяжка. Крайне вредно растягивать понятие гражданской войны до чрезмерности, ибо это затушевывает гвоздь дела: войну наемных рабочих против капиталистов данного государства.

Именно скандинавы, видимо, впадают в мещанский (и захолустный, kleinstaatisch (мелкогосударственный. — нем.)) пацифизм, отрицая "войну" вообще. Это не по-марксистски. С этим надо бороться, как и с их отрицанием милиции.

Еще раз привет и поздравление за норвежскую декларацию!

Ваш Ленин".

Но Коллонтай в тот момент была ближе позиция Бухарина. Она писала в дневнике: "Бухарин мне пишет: "Ленин уперся в стенку самоопределения наций. Он в плену этой идеи". Бухарин прав. Если стоять за самоопределение наций, тогда логически надо стоять и за "защиту отечества". И тогда начинается "сказка о белом бычке". Неужели Ленин будет стоять за этот лозунг? <…> Наш лозунг сейчас должен быть: долой самоопределение наций!.. <…> Ненавижу шовинизм, национализм и не верю, что пролетариату надо бороться за национальное самоопределение. На что это ему?"

Но как личность Ленин все больше привлекал ее. Тут же она писала: "Меня тянет "влево", и потому сейчас голос Ленина мне понятнее и ближе. <…> Хочу узнать поближе <…> Лениных. Меня лично к ним обоим тянет… Взволновало раздраженное письмо Ленина и его листовка, посвященная "национальному

самоопределению". Он за самоопределение наций. И как-то упорно, именно упорно <…> проводит свой взгляд. Но быть последовательным приверженцем теории самоопределения наций не значит ли дойти до защиты отечества, до милиции? <…> В лозунгах Ленина много ошибок. А. полностью со мной согласен".

Любовь же в тот момент как-то отошла на второй план. Александра подумала, что любовь только отвлекает ее от революции. "Все думаю о том, — записывала Коллонтай в шведском дневнике, — сколько сил, энергии, нервов ушло на "любовь". Нужно ли это было? Помогло ли в самом деле выявить себя, найти свой путь? Чувствую себя эти дни ужасно "древней", <…> точно и в самом деле жизнь позади. Или <…> именно в этом году перевалила гору жизни и начинаю медленно, медленно спускаться по тому незнакомому уклону горы, где ждут незнакомые горести, печали, препятствия и житейские трудности. Быть может, и радости, но другие, не те, что были.

Любовь! Сколько ее было! Заняла полжизни, заполнила душу, полонила сердце, ум, мысли, требовала затраты сил. <…> Зачем? Что дала? Что искала в ней? Конечно, были и трудные минуты. На нее все же ушло слишком много творческих сил.

В области любовных переживаний все испытала. Какие разные были положения и на каком различном фоне! Крым, Кавказ, Париж, Лондон, швейцарские вершины. <…> Конгрессы… Пестрая жизнь. Красочный дом! А итог?"

Ее денежные дела шли все хуже и хуже. Платных лекций не было, а за статьи теперь платили гроши. И вдруг германская левая секция американской социалистической партии пригласила ее в многомесячное лекционное турне по Соединенным Штатам. Александра надеялась на весьма приличные гонорары. Но просчиталась.

Да еще Ленин поручил ей перевести его книгу и попытаться издать в Штатах, чтобы "найти доступ к широким американским массам". Он написал 23 августа 1915 года Шляпникову в Стокгольм в постскриптуме: согласится ли А, Коллонтай помочь нам устроить в Америке английское издание нашей брошюры? Речь шла о ленинской брошюре "Социализм и война". Коллонтай согласилась.

В середине сентября Ленин писал ей: "Дорогая Александра Михайловна! Очень будет жаль, если Ваша поездка в Америку окончательно расстроится. Мы строили на этой поездке немало надежд и на издание в Америке нашей брошюры ("Социализм и война"; получите на днях), и на связи с издателем Charles Kerr в Чикаго вообще, и на сплочение интернационалистов, и, наконец, на финансовую помощь, которая так чрезвычайно нужна нам для

всех тех насущных дел в России, о которых Вы пишете (и справедливо подчеркиваете их насущность в связи с желательностью большей близости нашей к России: препятствия тому в первую голову финансовые, во-вторых, полицейские: можно ли доехать безопасно…).

Пишите детальнее, конкретнее и чаще (если не едете в Америку) о том, каковы именно конкретные вопросы выплывают в России, кто их ставит, как, в каких случаях, при какой обстановке. Все это было бы крайне важно для издания листовок — дела насущного, Вы правы. О конференции левых 167 (где мы сплотились хорошо в оппозицию, хотя и подписали манифест) Вам частью расскажет посланный Вами делегат 168, частью мы еще напишем. (Денег нет, денег нет!! Главная беда в этом!)

Лучшие приветы! Ваш Ленин.

Если вопрос о поездке решился у Вас окончательно в отрицательном смысле, то постарайтесь обдумать, нельзя ли Вам (через сношения с Charles Kerr и т. п.) помочь нам издать по-английски нашу брошюру? Возможно это только в Америке. Немецкое издание нашей брошюры Вам посылаем. Сделайте все возможное для продажи в скандинавских странах (нам чертовски важно вернуть хоть часть расходов на нее, ибо иначе мы не можем издать ее по-французски!)".

К счастью для Александры Михайловны, поездка в США все-таки состоялась. За две недели морского путешествия в четырехместной каюте второго класса она сделала перевод ленинской брошюры. В дневнике записала: "Ненавижу этих сытых, праздных, самовлюбленных пассажиров первого класса! Таких чужих по духу! Ненавижу эту бестолковую, праздную жизнь, убивание времени на еду, пустую болтовню, какие-то маскарады, концерты". После революции ненависть к "сытым" довольно быстро прошла, и, когда появились такие возможности во время дипломатической работы, Александра ни в чем себе не отказывала.

В Америке ее удалось издать. В январе 1916 года Шура писала Щепкиной-Куперник из Нью-Йорка: "Знаешь, мне кажется, мы живем в эпоху, напоминающую… переход от Средних к новым векам. Это перелом человеческой истории, сдвиг. Что-то новое созидается, растет и крепнет в мире. История скажет: люди в эпоху Великой войны жили и не понимали, что они накануне всемирного исторического сдвига, что они вступают в новую историческую эру…"

Все сборы шли в пользу немецких социалистов-эмигрантов, гонорары за лекцию не полагались, лишь суточные и гостиные. Лекции имели бешеный успех. Она объехала 123 города, и в

каждом прочитала по лекции, а то и по две. "Коллонтай покорила Америку", — писала социалистическая газета "Новый мир". В Америке Коллонтай пробыла четыре с половиной месяца. В феврале 1916 года с борта парохода "Бергенсфиорд" она писала сыну: "Мой милый, родной Хохленыш!.. Мне устроили грандиозный прощальный ужин, с речами, музыкой. В газетах было много теплых строк по поводу моего отъезда. Чувствуется, что мною и моей работой остались довольны. Но и работала же я здорово. Я подсчитала: прочла сто двадцать три лекции за четыре с половиной месяца! Это рекорд! На некоторых лекциях бывало по две с половиной тысячи человек…"

"Известная социал-демократка Александра Коллонтай, — сообщал из Парижа в Петербург статский советник Кравильников, цитируя информацию своей американской агентуры, — утверждала в своих речах, что пролетариат во всех странах обманут и одурачен господствующими классами, затеявшими войну в своих хищных интересах. <…> Интересы международной солидарности в борьбе с международным врагом — капиталом, утверждала она, должны стоять выше интересов отечества, которого у рабочих нет и не будет. <…> Лекции Коллонтай вызвали самый живой интерес у американской публики, среди которой преобладали русские и евреи".

Лекции были на следующие темы: ""Мировая война и будущее Социалистического интернационала", "Война и будущее рабочего движения", "О положении в Европе", "Кому нужна война?".

Коллонтай устроила Мишу через своих знакомых на военные заводы США, что освободило его от призыва в действующую армию. Мать решила поехать вместе с сыном. Шляпников хотел присоединиться — она не позволила ему. Это был фактический разрыв.

Тем временем Шляпников на лыжах пересек фактически неохраняемую границу, отделявшую Великое княжество Финляндия от России, добрался до Петрограда и оттуда посетил еще ряд городов.

По возвращении они с Коллонтай встретились в Хольменколлене. В дневнике Александра так передала рассказ Шляпникова о поездке: "Боюсь, что он не сумел извлечь максимума пользы из своей поездки в Россию. <…> Охотно рассказывает, как за ним гонялись сыщики, а о деле?! Он видел и <…> Горького, но не сумел использовать свидания с ним, чтобы почерпнуть от него ясного ответа на злободневные вопросы и связать его на будущее время. <…> Обрадовало только, что Горький не патриот…

Мне кажется, Александр превратил в самоцель свою поездку,

укрывательство от шпиков и т. д. <…> Моя вина, что он слишком скоро взобрался туда, куда он не должен был лезть. Партийное положение — представитель ЦК, — все это далось слишком просто, легко, без усилий. И он уже готов почить на лаврах.

Боюсь, что и Ленин поймет, что была ошибка послать Александра. Будь я в ЦК, меня бы не удовлетворили доклады Ал. Такая затрата денег!..

"С чего это ЧУХОТА расходилась? Чем я ей неугоден? Где мне было писать отчеты, когда я все время ехал и бегал?" Кончилось тем, что, движимый сознанием взяться за дело, он стал диктовать мне письма к разным лицам (на английском и немецком языках). И вместо того, чтобы его "заставить работать", я попала в роль секретаря. Всегда так!"

Маслов давно уже не отвечал на письма Шуры. Это вдохновляло Шляпникова. "И не напишет! — заносила Коллонтай в дневник его слова. — Твой Маслов дрянью стал. Патриот". Зачем А. так говорит? Мне больно. <…> Маслик, Маслик, мой милый П.П. Где он? Получил ли мое письмо?"

Шура признавалась: "Саня для меня не просто Саня, а нечто собирательное. Кусочек пролетариата, олицетворение его.

Ну как, как его обидишь? Это главное. Но будто есть и другое. Мне жутко потерять в Сане последнюю связь с той страницей жизни, которая говорит о том, что я все еще женщина. Не самка, а именно женщина. <…> Женщина, которую любит, все еще любит мужчина. Мне не надо физиологии сейчас…"

И тут же отметила: "Была у доктора. Успокоил совершенно. Ни о какой беременности и речи быть не может. Вошла в "критический период"? Уже? Значит, перевал? Нет, не чувствую старости и как-то еще не верю в нее". Позднее выяснилось, что "критический период" еще не наступил.

Следующая запись в дневнике касалась Шляпникова: "То, что я сейчас переживаю, не поддается пока передаче. <…> Слишком это было бы чудовищно, но и жутко. Минутами мне кажется, что я все это сама выдумала, преувеличиваю, что это моя "боязнь", моя "мнительность". Но потом, точно смеясь надо мною, жизнь даст почувствовать этот или другие "симптомы". Мука, женская мука, которой нет слов, нет названия. Ужас, ужас, ужас!.."

Тем временем к матери приехал Миша. Он окончил несколько курсов технологического института и опасался призыва в армию. Получив его паническое письмо, Александра связалась по почте со своим старым другом, военным инженером Сапожниковым, и тот устроил Мише поездку на военные заводы США в качестве приемщика русских заказов. Он отправился в

США через Норвегию в августе 1916 года. Коллонтай решила ехать вместе с сыном. Шляпников, вернувшийся из очередной поездки в Швецию, предложил поехать всем вместе. Она пыталась объяснить любовнику, что хочет побыть с сыном вдвоем. Тот не отставал. Втайне от Коллонтай Шляпников написал Ленину, что собирается вместе с ней в Америку, и тот дал ему ряд поручений. Александр Гаврилович заявил, что едет в Америку самостоятельно, независимо от них с Мишей, но на том же самом пароходе.

Но Александра воспользовалась тем, что, поскольку до отъезда оставалось еще две недели, Шляпников уехал в Швецию заверишь свои дела по отправке в Россию нелегальной литературы, и взяла билеты на более ранний рейс. Вернувшись, Шляпников нашел письмо, которое она оставила в отеле: "Так надо. <…> Когда-нибудь ты поймешь мои материнские чувства. <…> Если хочешь, приезжай. Но потом…" На самом деле это был разрыв.

Шляпников не приехал. На его горькое письмо, где он невпопад упрекал ее в ревности, она ответила не менее горьким: "Незнакомо мне чувство ревности, как незнакомо и то, что люди зовут любовью к родине. Эти ощущения атрофированы. <…> А нам… Нам просто пришла пора расстаться". Их переписка прекратилась. Шляпников уехал в Россию, возглавив по поручению Ленина Русское бюро ЦК.

В 1916 году Александра смогла издать в Петрограде самую значительную из своих научных книг — "Общество и материнство. Государственное страхование материнства". Коллонтай доказывала, что женщина не может одновременно и работать, и растить детей. Следствием являются высокая детская смертность и большое количество брошенных детей. Выходов из этого положения два. Можно вернуть женщину к домашнему хозяйству, воспретив ей работать. Но также можно, как верила Коллонтай, создать новую социальную систему, когда женщина сможет становиться матерью и продолжать работать. Александра безоговорочно выбирала второй путь и считала, что заботу о здоровье женщины и обеспечении ее детей должно взять на себя государство.

В Америке газета русских эмигрантов "Новый мир" опубликовала обращение Коллонтай "Жены рабочих, объединяйтесь!". Там говорилось о тяжкой женской доле, которой Александре так и не удалось испытать. При этом она старалась стилизовать свою речь под говор рабочих окраин: "Холодно, тоскливо в квартире рабочего. Пригорюнилась жена его. Колотится, стучит в окна ветер, поет свою назойливую песню о

том, что зима близка, что вот-вот наступят холода, а топить нечем. Разве напасешься угля при теперешней дороговизне? Скулят, плачут ребятишки: мама! Есть охота! Мама, обед сготовь!

Мужниной получки к концу недели не хватает. Все вздорожало: яйца, молоко, овощи, мясо. Как же быть? Как обернуться?

Говорят: у женщин волос долог да ум короток, а вот попробовали бы мужья с недельку похозяйничать, на получку обернуться, поняли бы, что немало надо ума женщине, чтобы на скудный заработок хозяйство вести…

Закинула судьба, мачеха злая, в чужую сторону, к людям чужим, где и обычаи непривычные, и язык непонятный, ни тебе подруг, ни родных… Муж? Что толку от мужа?! День-деньской на работе мается, вернется — усталый, голодный.

О своем думает, с женой не поделится… Нахлобучил шапку вечером, да и ушел опять. Куда? Жена не спрашивает. Только рукой махнет… Земля и все, что на ней родится, все, что из земли получают — уголь, руда, драгоценные металлы, — все это принадлежит кучке богачей, капиталистам. У них в руках и заводы, фабрики, машины. Две шкуры дерут богачи с народа — недоплачивают рабочему настоящую цену за труд его, а когда товар, сработанный рабочим, окончен, пускают на рынок по такой цене, чтобы побольше да поскорее нажиться. Прежде цену сбавляла конкуренция между капиталистами-торговцами. А теперь, и особенно в Америке, капиталисты стали объединяться, тресты устраивать, чтобы вместе да ловчее народ, покупателей обирать…

Как с богачами тяжбу вести? Как с ними воевать? Способ один: объединимся! Рабочих — много, мы — сила. Объединимся, образуем свою рабочую армию и пойдем походом на врагов — на хозяев, капиталистов, отнимем у них земли, фабрики, заводы и все это сделаем собственностью народа

Тогда не будет больше дороговизны, потому что не будет больше купцов-грабителей; не будет и войны, так как исчезнут главные виновники войн — капиталисты, генералы, корали и цари…

Мы требуем, чтобы отобраны были припасы у торговцев и скупщиков. Мы требуем, чтобы сами рабочие организации распределяли продукты для продажи, чтобы цены на продукты установлены были без барышей…

Мы, жены рабочих, будем помогать нашим мужьям добиваться большего заработка".

В Нью-Йорке Коллонтай встретилась с Троцким, но они не подружились. 11 февраля 1917 года, покинув США, Коллонтай

написала Ленину и Крупской: "За неделю до моего отъезда приехал Троцкий… Приезд Троцкого укрепил правое крыло… Открытое присоединение к "левому Циммервальду" встретило резкую оппозицию в лице Троцкого и дало моральную поддержку колеблющимся американцам".

На самом деле ничего подобного Троцкий тогда не говорил и не писал в той же газете "Новый мир", где публиковалась Коллонтай. Лев Давыдович в тот момент по отношению к войне, которую следовало превратить в революцию, стоял на той же позиции, что и Ленин. Александра Михайловна безуспешно пыталась поссорить его с Лениным. Троцкий же в мемуарах о Коллонтай отозвался достаточно снисходительно: "В Америке же находилась в то время и Коллонтай. Она много разъезжала, и я сравнительно мало с ней встречался. Во время войны она проделала резкую эволюцию влево и из рядов меньшевизма перешла на левый фланг большевиков. Знание языков и темперамент делали ее ценным агитатором. Ее теоретические воззрения всегда оставались смутны. В нью-йоркский период ничто на свете не было для нее достаточно революционно. Она переписывалась с Лениным. Преломляя факты и идеи через призму своей тогдашней ультралевизны, Коллонтай снабжала Ленина американской информацией, в частности и о моей деятельности. В ответных письмах Ленина можно найти отголоски этого заведомо негодного осведомления. В борьбе против меня эпигоны не преминули позже воспользоваться заведомо ошибочными отзывами, от которых он сам отказался и словом, и делом. В России Коллонтай почти с первых же дней встала в ультра-левую оппозицию не только ко мне, но и к Ленину. Она очень много воевала против "режима Ленина — Троцкого", чтобы затем трогательно склониться перед режимом Сталина". В принципе сказано жестко, но верно.

Америка Александре на самом деле понравилась, сколько бы она ни клеймила американских капиталистов. В середине января 1917 года с борта парохода Коллонтай писала Щепкиной-Куперник: "По целому ряду соображений — среди них финансовые — уехать надо было. Но уезжать было трудно. Начала вживаться в американскую жизнь, улавливать в ней то, что скрыто от глаз поверхностного путешественника. Полюбила ее литературу, ее несравнимые библиотеки и ее женщин. У нас еще таких нет. Это женщины-созидательницы, деятельницы… Последние два месяца все больше и больше ощущала своеобразие жизни американской интеллигенции, и этот слой мне удивительно по душе…"

В огне революции

Из США Коллонтай вернулась в Хольменколлен незадолго до Февральской революции. И, можно сказать, она ее предсказала. Александра Михайловна начала работать над пропагандистской брошюрой "Кому нужен царь и можно ли без него обойтись?". Предвидя неизбежное падение царизма, она утверждала: "Мало убрать царя. Надо вырвать власть у тех, кто прикрывался царем, — бюрократов, чиновников, помещиков, капиталистов — и передать власть народу".

Коллонтай еще дописывала последние страницы брошюры, когда действительно произошла революция, свергнувшая русское самодержавие.

17 марта она писала Ленину и Крупской из Христиании: "Дорогие друзья, так ли Вы осведомлены о том, что творится? Впрочем, телеграммы-то, верно, всюду те же самые. Каждый час приносит новое и новое. Сейчас тревожнее и мрачнее, чем было утром: на горизонте возможность диктатуры Николая Николаевича…

Назавтра ожидаем приезд Ганецкого и Людмилы Сталь; с ними обсудим вопрос: кому из нас немедленно (дня через три, четыре) двигаться в Россию. Кому пока оставаться здесь, чтобы служить связью… Необходима теперь литература в Россию.

Шлю Вам на просмотр набросок популярно-агитационной брошюрки-воззвания: "Нужен ли нам царь?" или "Кому нужен царь?"".

Однако такая брошюра сразу же утратила актуальность. Вслед за Николаем II от престола отрекся и его брат Михаил. А великий князь Николай Николаевич-младший, бывший Верховный главнокомандующий, не выказывал никакой склонности быть диктатором и вообще участвовать в политической жизни после того, как его повторное назначение Верховным главнокомандующим было отменено Временным правительством.

В Россию Александра Михайловна вернулась из Норвегии после Февральской революции 1917 года, вскоре став членом исполкома Петроградского совета. Ленин написал, чтобы она спешно возвращалась на родину, а потом дал ей через своих людей деликатное поручение. На Финляндском вокзале в Петербурге ее встретили Татьяна Щепкина-Куперник и ее муж Николай Полынов, а также Шляпников, который сразу взял один из чемоданов. Предполагалось, что в нем были деньги, которые Ленину выделило германское правительство на революцию в

России. Когда таможенный чиновник пожелал досмотреть багаж, Шляпников, видимо, хорошо знавший о его содержимом, предъявил свой мандат: "Именем Петросовета вскрывать вещи не дозволяю".

На вокзале, в комнате для почетных гостей, они обнялись — как товарищи. И сразу же перешли на "вы". Уже на следующий день после приезда Александра Михайловна отправилась в "Правду" — на набережную Мойки, где передала Сталину ленинские "Письма из далека". Много лет спустя Коллонтай так написала о первом впечатлении, которое произвел на нее "Коба": "Замкнутость Сталина не позволяла сразу разглядеть его, понять его значимость. Он отличался от большинства партийцев скупостью речи. <…> Сталин выступал редко, кратко, четко и с силой логики, которая вызвала одобрение Ленина. Мы, большевики, поняли, кто такой Сталин и что он значит для партии, лишь после…"

Одна из первых статей Александры Михайловны в "Правде", членом редакции которой она стала, была посвящена похоронам жертв Февральской революции. Она писала: "Сегодня — день похорон геройских жертв русской революции, сегодня — день радостно-скорбного торжества… Мы не только с песнями братской печали хороним этих героев, но и с гимном победы предаем земле и царское самодержавие со всем, что в нем было кроваво-преступного, темного, с его издевательством над рабочим людом, с его закрепощением крестьян, с солдатским бесправием, с продажностью слуг царских, с тюрьмами, Сибирью, нагайками, виселицами, с его произволом, гнетом, насилием.

И потому рядом с песнями скорби по павшим борцам за свободу к весеннему небу подымутся голоса многомиллионного ликующего хора, воспевающего торжество революции, завоевание народом той свободы, при которой только и возможна борьба за хлеб, ЗА МИР, ЗА УКРЕПЛЕНИЕ ВЛАСТИ РАБОЧЕЙ ДЕМОКРАТИИ В НАСТОЯЩЕМ, за социализм в будущем".

Коллонтай по-прежнему полностью поддерживала политический курс Ленина и выступала против "революционного оборончества", которое пропагандировало Временное правительство.

Тем временем Владимир Коллонтай, вышедший в отставку по болезни, доживал свои последние дни в военной гостинице, превращенной в лазарет. Больничных коек для раненых уже не хватало. Александра Михайловна бывшего супруга все никак не могла навестить. Ее избрали в Петроградский совет от военной организации большевиков, а вскоре и в исполком Совета, работавший непрерывно. И чуть ли не каждый день митинги, на

которых Коллонтай как признанный оратор была нарасхват. Ее называли Валькирией революции. Валькирия — это персонаж древнескандинавской мифологии. Это дочь славного воина или конунга, которая реет на крылатом коне над полем битвы и подбирает павших воинов, чтобы доставить их в небесный чертог — Валгаллу. Коллонтай же призывала на бой не мертвых, а живых. И Ленин не был для нее Одином.

Несколько раз запланированное посещение Владимира в последний момент откладывалось. Но наконец визит состоялся. Вот как описал его в своем дневнике Владимир Людвигович Коллонтай: "…Приехала неожиданно к часу дня А.М. и разные знакомые. <…> Временами поднимался такой галдеж, что не было возможности разобраться, кто что говорит…" Их последняя встреча продолжалась час и была посвящена главным образом дискуссиям на политические темы. "Выздоравливай. До встречи", — сказала Александра, прощаясь. Через несколько дней Владимир умер. На похороны его бывшая жена не пришла. Зато на них был А.А. Саткевич. Он и возложил на гроб друга и соперника два венка — от себя и от Александры Михайловны. Другой венок от нее же возложила вдова Владимира Мария.

На следующий день после визита к Владимиру Александра вместе со Сталиным, Каменевым, Шляпниковым и с одним из руководителей Центробалта Федором Раскольниковым поехала в пограничный с Финляндией Белоостров встречать Ленина и его соратников, возвращающихся в знаменитом "пломбированном вагоне" из Швейцарии. Вождь сразу же раскритиковал Каменева и Раскольникова за их статьи в "Правде" в поддержку Временного правительства. Затем Ленин попросил сопровождавшего его финского социал-демократа Густава Ровио пересесть в другое купе, а на освободившееся место пригласил Коллонтай. Так она вместе с Ильичем, Арманд и Крупской доехала до Петрограда. Во время встречи на Финляндском вокзале Коллонтай выступила с приветствием вернувшимся от Петроградского партийного комитета, а Шляпников — от ЦК.

Коллонтай участвовала в работе 7-й (Апрельской) конференции РСДРП(б) 1917 года от большевистской военной организации, была в числе немногих делегатов, полностью поддержавших позиции Ленина, изложенные в "Апрельских тезисах", т. е. курс на новую революцию под руководством большевиков.

Щепкина-Куперник и Полынов предоставили Коллонтай большую комнату в своей квартире на Кирочной улице. Туда приезжали Ленин, Яков Свердлов и другие видные большевики. Но после смерти Владимира Коллонтая Александра перебралась в

его квартиру. С Марией они стали подругами. Вскоре из Америки вернулся Миша, и они вполне комфортно зажили втроем. Впрочем, дома Александра бывала редко: не отпускали дела. Она, в частности, организовала демонстрации петроградских прачек, бастовавших из-за низкой оплаты труда, и солдаток, требовавших скорейшего возвращения мужей с фронта.

Социолог Питирим Сорокин, не жаловавший большевиков, писал летом 1917-го: "Жизнь в Петрограде становится все труднее. Беспорядки, убийства, голод и смерть стали обычными. Мы ждем новых потрясений, зная, что они непременно будут. Вчера я спорил на митинге с Троцким и госпожой Коллонтай. Что касается этой женщины, то, очевидно, ее революционный энтузиазм — не что иное, как опосредованное удовлетворение ее нимфомании".

Насчет нимфомании, полагаю, Питирим Атександрович придумал. Во всяком случае, ее дневник никаких признаков нимфомании не содержит. Да и число ее любовников отнюдь не так велико, как бывает у настоящих нимфоманок.

Сестра Зои, артистка Вера Леонидовна Юренева, вспоминала об одном из выступлений Коллонтай на митинге между Февралем и Октябрем 1917 года: "…На стол, изображающий трибуну, взбирается женщина и обращается с речью к солдатам. <…> Звук и дикция для классической трагедии, темперамент, достойный героического пафоса. И в то же время в словах что-то совсем простое и понятное этой слушающей громаде. Мысль, интонация ясны и просты, как дневной свет, как свежая вода или камень при дороге. Это Коллонтай! Это ее тонкая, складная фигура, упрямая голова и голубой взгляд из-под крутых черных бровей. <…> Солдаты переминаются с ноги на ногу, качаются, как волны суконного моря старинных феерий. Сначала солдаты недоверчивы, иронически бурчат при появлении на трибуне женщины.

— Товарищи! — несется звенящий голос над головами затихающей постепенно толпы. — Я привезла вам привет от рабочих Норвегии, Швеции и Финляндии. Ура!"

А вот как запомнилась Александра Михайловна иностранному журналисту, специальному корреспонденту парижской газеты "Журналь" Полю Эрио: "На узком возвышении витийствовала женщина с острым, выразительным профилем и пронзительным голосом. Она металась из стороны в сторону по этой импровизированной сцене, безостановочно жестикулируя, то неистово прижимая руки к груди, то угрожающе разрубая воздух ладонью и завораживая внимавшую ей толпу. Она яростно клеймила врагов революции, обещая им неминуемую расплату.

Этим оратором в юбке была свирепая Коллонтай, подруга Ленина. Ее слова находились в полной гармонии с той истерической атмосферой, которая сразу же возникала, где бы она ни появилась".

Во второй половине июня на I Всероссийском съезде Советов Коллонтай была избрана членом ЦИК от большевиков. Там она изложила большевистскую позицию по национальному вопросу.

Меньшевик Лев Хинчук утверждал, что на состоявшейся накануне демонстрации "под большевистскими плакатами шла масса черносотенцев". Коллонтай ловко парировала: "Зачем вообще педалировать национальную принадлежность? Буржуазия стремится играть на национальных чувствах, чтобы таким образом объединиться с рабочими "своей" национальности? У рабочих нет национальности, у них есть только принадлежность к своему классу. Его цель — победа этого класса на всей планете". Пафосно, ничего не скажешь.

Большевики делегировали Коллонтай на конференцию II Интернационала в Стокгольм. Шведские власти в виде исключения разрешили ей на 10 дней въехать в страну. Дыбенко встретил ее в Гельсингфорсе и проводил до шведской границы. Однако конференция в Стокгольме не состоялась. Зато в шведской столице Коллонтай встретила свою ближайшую подругу Зою Шадурскую, возвращавшуюся на родину. Это было как раз накануне июльских событий в Петрограде, когда после провала июньского наступления русской армии большевики попытались захватить власть 3–5 июля. Однако их выступление было подавлено войсками, верными Временному правительству. Александра с Зоей отправились в Петроград, когда события уже закончились. На границе они были арестованы, поскольку действовал приказ об аресте лидеров большевиков. Впрочем, Зою как не принадлежащую к большевикам и в течение многих лет находившуюся за границей почти сразу же отпустили. А вот Шуру, хорошо известную в революционном Петрограде, отправили в Кресты. Вскоре там собралась теплая компания из Троцкого, Луначарского, Раскольникова, Ганецкого, Каменева, Дыбенко, Владимира Антонова-Овсеенко и других большевиков. Большинство из них сдались властям добровольно. Впрочем, наслаждаться столь приятным обществом Александре пришлось недолго. Через несколько дней ее перевели в Выборгскую женскую тюрьму, где режим тоже был сравнительно либеральным. Миша и Зоя неоднократно навещали узницу и исправно снабжали ее домашними пирогами, пирожными и трюфелями — Шура обожала сладкое. Навещала ее и Щепкина-Куперник.

На VI съезде партии Коллонтай вместе с другими узниками избрали в почетный президиум съезда и в члены ЦК.

11 августа 1917 года она писала из тюрьмы Зое: "Моя бесконечно любимая, дорогая, близкая моя! Ты только что ушла, только что кончился мой праздник — свидание с тобой… Не скрою, бывают и у меня серые часы, неизбежные в одиночке, но в общем — я ясна. Первые дни мне все казалось, что я участвую в американском фильме, там в кинематографе так часто изображаются тюрьма, решетка и все атрибуты правосудия! Странно, что первые дни я много спала. Кажется, выспалась за все эти месяцы напряженной работы. Но потом настали и темные дни. Трудно передать свое душевное состояние. Кажется, преобладающей нотой было в те тяжелые дни ощущение, будто я не только отрезана, изолирована от мира, но и забыта. Казалось, что кроме тебя обо мне уже никто не помнит".

Следующим после Шляпникова любовником Коллонтай стал Павел Ефимович Дыбенко — глава Центробалта. Они встретились в апреле 1917 года. Ленин дал задание Коллонтай, обладавшей, как мы уже говорили, выдающимся ораторским даром, выступить перед моряками Балтийского флота. По договоренности с Центробалтом были запланированы ее выступления на линкорах "Гангут", "Республика", "Андрей Первозванный" и некоторых других кораблях, стоявших на рейде у Кронштадта и Гельсингфорса. Сопровождал Коллонтай из Петрограда богатырского сложения мичман флота Федор Федорович Раскольников (Ильин) один из вождей большевиков на Балтийском флоте. Сначала направились в Гельсингфорс, где Коллонтай, как член Петроградского комитета партии, должна была выступить на заседании враждебного большевикам Гельсингфорсского совета, а затем на кораблях. В столицу Финляндии Коллонтай прибыла

28 апреля 1917 года. Ее встретил здесь только что ставший председателем Центробалта матрос Павел Ефимович Дыбенко.

П.Е. Дыбенко

Как вспоминала Александра, он стоял, "рассеянно оглядываясь вокруг и поигрывая неразлучным огромным револьвером синей стали".

Дыбенко, сопровождавший Коллонтай с одного корабля на другой, страстно влюбился, несмотря на 17-летнюю разницу в возрасте. Кстати сказать, Федор Раскольников (Ильин) тоже женился на пламенной красавице комиссаре Ларисе Михайловне Рейснер. Правда, та вступила в партию большевиков только в 1918 году, а в 1923 году ушла от Раскольникова к одному из главных большевистских публицистов Карлу Радеку (Собельсону). Впрочем, к Коллонтай Раскольников был неравнодушен.

Дыбенко после первой встречи на руках перенес Шуру с трапа на катер и с катера на причал. Успех ее выступлений был ошеломляющим. А ведь публика на лекциях была еще та. В самом начале Февральской революции гельсингфорсские и кронштадтские матросы беспощадно расправились со своими офицерами. Всего в дни Февральской революции Балтийский флот потерял убитыми 140 офицеров и адмиралов. Вот как запечатлел один из очевидцев страшную смерть Роберта Николаевича Вирена, командира Кронштадтского порта и военного губернатора Кронштадта: "Утром толпа восставших матросов подошла к дому Вирена. Адмирал вышел, сурово оглядел матросов и солдат и скомандовал: "Смирно!" Толпа захохотала, засвистела. Он попытался как-то переломить настрой пришедших, предложил пойти на Якорную площадь, чтобы там

поговорить о том, что происходит в Петрограде. Но адмирала схватили, с шинели сорвали погоны и потащили на Якорную площадь. Говорить уже не дали. Страшную смерть на солдатских штыках принял Роберт Николаевич. Тело Вирена сбросили в овраг за памятником адмиралу Макарову, где оно пролежало несколько дней".

Кроме Вирена были убиты начальник штаба Кронштадтского порта адмирал Александр Бутаков, командующий Балтийским флотом адмирал Адриан Непенин, начальник 2-й бригады линкоров адмирал Аркадий Небольсин, комендант Свеаборгской крепости генерал-лейтенант по флоту Вениамин Протопопов, командиры 1 и 2-го Кронштадтских флотских экипажей Стронский и Гире, командир линейного корабля "Император Александр И" капитан 1-го ранга Повалишин, командир крейсера "Аврора" капитан 1-го ранга М.И. Никольский и многие другие морские и сухопутные офицеры

А ведь Вирен был одним из героев обороны Порт-Артура. В 1916 году за личную отвагу при предотвращении пожара и взрыва пороховых погребов Петровского форта в Кронштадте он был представлен к ордену Святого Георгия 3-й степени. Но вот с матросами Роберт Николаевич был суров. За любую самую незначительную провинность вроде ношения неформенной обуви или несвоевременное отдание чести подвергал аресту. Он мог остановить матроса прямо на улице, заставить расстегнуть клапан флотских брюк, чтобы удостовериться, есть ли на нем казенное клеймо! За суровость и поплатился. Справедливости ради надо сказать, что матросы Балтики разложились еще задолго до революции. Свою роль сыграли близость столицы и введенный в империи сухой закон. На стоящих в базах кораблях матросы изнывали от безделья и в немереных количествах потребляли самогон и спиртосодержащие жидкости. По донесениям полиции, в 1916 году на моряков-балтийцев приходилось до 40 % всех преступлений в столице империи. Генерал-губернатор

Кронштадта Вирен писал в Главный морской штаб в сентябре 1916 года: "Крепость — форменный пороховой погреб. Мы судим матросов, уличенных в преступлениях, ссылаем, расстреливаем их, но ото не достигает цели. Восемьдесят тысяч под суд не отдашь!" Зато для того, чтобы расправиться со строгим адмиралом, хватило несколько десятков его подчиненных. И вот такую публику, с которой впоследствии лишь с большим трудом смог справиться Троцкий, Коллонтай сумела подчинить обаянию своей личности.

Темпераментный и необразованный молодой моряк Дыбенко

покорил Александру природной непосредственностью. Когда Коллонтай спросили: "Как вы решились на отношения с Павлом Дыбенко, ведь он был на 17 лет моложе вас?", Александра Михайловна, не задумываясь, ответила: "Мы молоды, пока нас любят!" Все говорили, что в двадцать пять она выглядела на десять лет старше, а когда ей стало за сорок, она казалась двадцати пятилетней. Можно с уверенностью сказать, что роман с Павлом Дыбенко был самым страстным из всех пережитых Александрой романов. Под любым предлогом Дыбенко сопровождал Коллонтай во всех ее поездках в Финляндии.

После краха похода на Петроград генерала Лавра Корнилова позиции Временного правительства ослабли до крайности, а армия практически развалилась. В поисках компромисса с большевиками, которые стали преобладать в столичных Советах, Керенский решил отпустить арестованных большевиков под залог. Ведший дело Коллонтай следователь Павел Александров вызвал Мишу и предложил внести за мать вместо денег кредитные облигации по их номинальной стоимости. Эти ценные бумаги, полученные Мишей несколько лет назад от управляющего имением латышом Свикиса за продажу имения, в 1917 году вряд ли стоили много дороже бумаги, на которой были напечатаны. А уж после прихода большевиков к власти они вовсе превратились в объект для коллекционеров. Тем не менее следователь их охотно принял в обеспечение залога. А Горький вместе со своей гражданской женой, артисткой Марией Андреевой, дал письменное поручительство за то, что Коллонтай не сбежит от властей.

В первый же день после освобождения Троцкий успел выступить в переполненном зале цирка "Модерн". А вот Коллонтай, освобожденной 21 августа, не повезло. Когда она выходила из дверей квартиры, ее остановил милицейский наряд. Керенский, опасаясь, что освобожденные очень быстро разагитируют еще оставшиеся немногие надежные воинские части, распорядился заменить тюремное заключение не освобождением под залог, как предлагал министр юстиции Александр Зарудный, а домашним арестом, под которым она пробыла до 9 сентября.

Печатаясь в партийной "Работнице", Коллонтай подделывалась под язык и психологию работниц и жен солдат и рабочих, создавая у доверчивых читательниц иллюзию, что она сама — пролетарка, а не дочь и жена генерала: "Говорят: грех роптать нам теперь, когда в России народ завоевал свободу! Но одной свободой сыт не будешь. Особенно чувствуют это женщины, работницы, жены рабочих, солдатки. Сколько теперь

женщин, что не только самого себя прокормить должны, но и семью содержать. Изволь-ка солдатке на пакет семирублевый прожить!.. Но если плохо той жене, муж которой на фронте, так еще хуже, еще труднее работнице, солдатке, чей муж с фронта вернулся, да не "кормильцем", как бывало, а калекой, изувеченным… А дороговизна такая, что рассказали бы нам про такие цены до войны, не поверили бы! Раньше пяток яиц за пятиалтынный покупали, теперь одно яйцо пятнадцать копеек стоит. Прежде ситный хлеб стоил шесть или семь копеек, теперь — пятнадцать. Да еще и не все достанешь. Сколько часов зря "в хвосте" приходится нам, женщинам рабочего класса, простаивать! Небось имущие, бары "хвостов"-то избегают, прислугу за себя дежурить шлют…

Надо нам, работницам, провести своих депутаток в городские и районные думы. Не желаем, чтобы нас благодетельствовали, о нас пеклись госпожи и барыни буржуазного класса! Сами сумеем позаботиться о распределении продуктов, муки, молока, сами сумеем назначить цены на товары. Сами сумеем, когда надо, через районные думы конфисковать у спекулянтов припрятанную провизию. Есть у нас верный союзник — наш же брат-пролетарий, вооруженный рабочий!"

Теперь Александра имела больше возможности побыть с сыном, особенно когда удалось добиться отмены домашнего ареста. Загримировавшись и проверяя, нет ли за ними хвоста, Коллонтай вместе с Дыбенко направились навестить Ленина на конспиративной квартире в Выборге. Заметим, что, несмотря на их интимные отношения, Дыбенко тогда еще обращался к много старшей его по возрасту Александре Михайловне на "вы". Об этом свидетельствуют его записки, адресованные Коллонтай в первые месяцы их знакомства: "Александра Михайловна! Не откажите приехать на обед. П. Дыбенко"; "Товарищ Колантай. Я буду сегодня в 7 часов вечера. С сердечным приветом П. Дыбенко"…

В конце сентября прошли перевыборы исполкома Петроградского совета. Его председателем по предложению большевиков избрали Троцкого. В президиум Петросовета от большевиков кроме Троцкого вошло еще двенадцать членов: Коллонтай, Шляпников, Каменев, Иоффе, Бубнов, Сокольников, Евдокимов, Федоров, Залуцкий, Юренев, Красиков, Карахан.

10 октября на квартире уехавшего из города меньшевика Николая Суханова собрался Центральный Комитет большевиков, чтобы обсудить предложение Ленина о вооруженном восстании. Жена Суханова большевичка Галина Флаксерман, впустив гостей, деликатно покинула их. Из 22 членов ЦК присутствовало только 12: Ленин, Зиновьев, Каменев. Троцкий, Сталин, Коллонтай,

Свердлов, Дзержинский, Урицкий, Бубнов, Сокольников, Ломов. Опасаясь преследований, все они явились загримированными. Ленин, в частности, косил под старичка-крестьянина. Зиновьев и Каменев предлагали отложить захват власти и вооруженное восстание до созыва Учредительного собрания. Коллонтай энергично поддержала ленинскую позицию. За отсрочку восстания проголосовали только Зиновьев и Каменев, тогда как остальные 10 участников — за немедленное начало подготовки вооруженного выступления.

14 октября Коллонтай, выступая в цирке "Модерн" и отвечая на вопрос, что будет 20 октября, уверенно заявила: "Будет выступление. Будет свергнуто Временное правительство. Будет вся власть передана Советам". Она ошиблась только на пять дней.

20 октября на заседании ЦК, согласно протоколу, "тов. Коллонтай сообщает о положении дел в Финляндии; возможно, что социал-демократы покинут сейм; этим обострится сильно положение; финляндские с.-д. думают, что сейчас не время отделяться от России, ибо у нас идет борьба за власть".

Американская журналистка Бесси Битти оставила нам такой портрет Коллонтай: "Коллонтай рисовалась мне высокой женщиной с короткими черными волосами и вызывающими манерами — под влиянием распространявшихся о ней диких слухах. На самом деле это была добродушная маленькая женщина с мягким выражением больших синих глаз и волнистыми, тронутыми сединой каштановыми волосами, уложенными на затылке простым узлом".

В дни Октябрьской революции заседал Второй Всероссийский съезд Советов. Коллонтай вместе с Лениным, Троцким, Зиновьевым и Каменевым была избрана членом его президиума от фракции большевиков. В ночь с 25 на 26 октября был сформирован Совет народных комиссаров — первое советское правительство. Наркомом труда стал Александр Шляпников. На правах наркома — в качестве члена коллегии по военным и морским делам — в Совнарком вошел также Павел Дыбенко. А когда 31 октября по указанию Ленина состав Совнаркома был расширен, в него в качестве наркома государственного призрения (но современной терминологии — социального страхования) вошла Александра Коллонтай, став первой в истории женщиной — министром.

Наркомат госпризрения был создан вместо учрежденного Временным правительством Министерства государственного призрения. Коллонтай с отрядом матросов и солдат заняла здание министерства по адресу: Казанская улица, дом 7, и арестовала всех чиновников, отказавшихся с ней работать.

Капитан Жак Садуль, сотрудник французской военной миссии в Петрограде, вскоре ставший французским коммунистом, так запомнил свою встречу с Коллонтай: "Народный комиссар государственного призрения в элегантном узком платье темного бархата, отделанном по-старомодному, облегающем гармонично сложенное, длинное и гибкое, свободное в движениях тело. Правильное лицо, тонкие черты, волосы воздушные и мягкие, голубые глубокие и спокойные глаза. Очень красивая женщина чуть больше сорока лет. Думать о красоте министра удивительно, и мне запомнилось это ощущение, которого я еще ни разу не испытывал ни на одной министерской аудиенции…

Умная, образованная, красноречивая, привыкшая к бурному успеху на трибунах народных митингов, Красная дева, которая, кстати, мать семейства, остается очень простой и очень мирской, что ли, женщиной…"

И в 45 лет Александра оставалась писаной красавицей и выглядела моложе своих лет. И на монашку, разумеется, совсем не походила.

На Наркомат государственного призрения, в чье распоряжение перешли все дела, имущество и денежные средства прежних благотворительных ведомств и органов государственного и общественного призрения, были возложены социальное обеспечение трудящихся во всех случаях нетрудоспособности, охрана материнства и младенчества, попечение об инвалидах и престарелых и несовершеннолетних.

По инициативе Коллонтай все частные благотворительные общества и учреждения были ликвидированы. Так, постановлением наркомата от 19 ноября 1917 года упразднялись прежние попечения о раненых и увечных воинах (Александровский комитет). Постановлением от 12 декабря того же года был ликвидирован Санкт-Петербургский совет детских приютов и все ему подчиненные структуры. А постановлением от 12 января 1918 года упразднялось Всероссийское попечительство по охране материнства и младенчества. Государственная благотворительность пришла на место общественной или частной.

Чиновники, отказавшиеся работать с новым наркомом, вынуждены были отдать Коллонтай ключи от кабинетов и сейфов. Но сейфы они успели основательно опустошить. Там не было ни денег, ни документов. Впрочем, документацию удалось восстановить с помощью немногих чиновников, согласившихся сотрудничать с новой властью.

По предложению Ленина Коллонтай и Дыбенко зарегистрировали свой брак. Записью их брака была начата

первая советская книга актов гражданского состояния, и в свидетельстве о браке, выданном им, стояла цифра 1. Это считалось важной пропагандистской акцией в борьбе с церковным браком.

Ленин даже шутил, что самым страшным наказанием для супругов будет обязать их в течение года хранить супружескую верность. Оба чрезвычайно любили ходить "на сторону". Впрочем, "на сторону" — неправильно сказано. Хотя между Коллонтай и Дыбенко и существовали узы советского брака, но оба супруга ими нисколько не были связаны, и особенно Павел.

"Это человек, в котором преобладают не интеллект, а душа, сердце, воля, энергия, — писала Коллонтай про Дыбенко. — В нем, в его страстно нежной ласке нет ни одного ранящего, оскорбляющего женщину штриха". Однако она писала о нем и другое: "Дыбенко несомненный самородок, но нельзя этих буйных людей сразу делать наркомами, давать им такую власть… У них кружится голова".

Влюбленные имели мало возможностей видеться, оба были в постоянных разъездах. Когда Коллонтай узнала об измене, то сначала решила "закрыть глаза" на невинные похождения молодого супруга.

Вот что написал Коллонтай во второй половине ноября па старом бланке первого помощника морского министра Федор Раскольников, который, оказывается, был совсем неравнодушен к свежеиспеченному наркому:

"Дорогая моя, славная моя Александра Михайловна!

То, что вчера сказал мне Павлуша, было для меня полной неожиданностью. Нельзя сказать, чтобы я ни о чем не догадывался. Нет, замечал известную интимную близость, определенную нежность отношений между Вами и им. Но я не думал, что это зашло так далеко, я совершенно не подозревал, что фактически Вы являетесь его женой. А раз это так — это значит, что Вы его сильно любите. Такая женщина, как Вы, не может отдаваться без любви. И, поскольку я могу видеть, Ваше чувство не одиноко, не односторонне, а спаяно узами взаимной любви. Павлуша сказал, что откровенно объяснить мне истинные отношения его с Вами просили Вы. Милая, милая Александра Михайловна, как я Вам благодарен! <…>

Это Ваше желание поставить меня в известность о таких тайниках Вашей жизни, которых не знает почти никто, растрогало меня до глубины души, едва не до слез. Я нахожу, что Вы поступили очень честно, дорогая Александра Михайловна. Когда Вы заметили, что я жадно, как подсолнечник к солнцу, тянусь к Вам, вы правильно поняли, что здесь с Вашей стороны требуется

абсолютная откровенность, полная ясность всего существующего.

<…> Вы инстинктивно почуяли, что я начинаю увлекаться Вами. И в самом деле, я сам заметил, как в моей груди стало копошиться нечто более жгучее, чем простое товарищеское чувство. Вы маните, влечете меня к себе с такой же неотвратимой силой, как магнит притягивает железные опилки. К ужасу своему, я стал замечать, что во мне пробуждается самая настоящая, самая доподлинная любовь. Не проходило буквально ни одного часа, чтобы мои помыслы не возвращались к Вам. Я ложился спать и засыпал с Вашим именем на устах; когда я просыпался, то прежде всего вспоминал именно Вас. <…> Когда на днях я ночевал у мамы, то, по ее словам, я и во сне бредил Вами и <…> громко шептал: "Александра Михайловна! В какое отделение ушла Александра Михайловна?" <…>

Я боготворю Вас <…>. Но <…> раз Вы и Дыбенко любите друг друга, то я, как третий, как лишний и ненужный, должен уйти. <…> В отношении к такому товарищу, каким для меня был и остается Павел Дыбенко, соперничество, борьба из-за женщины, является низким, неблагородным <…>".

А ведь Раскольников был младше Дыбенко на три года и, следовательно, моложе предмета своей любви на целых двадцать лет. Но, получив отказ, бравый мичман смирился с неудачей и более Александры Михайловны не домогался и к Дыбенко ее не ревновал, до поры до времени удовлетворившись Ларисой Рейснер.

Коллонтай дали трехкомнатную квартиру на Серпуховской улице, 13 — одну из многих, стоявших пустой после бегства прежних хозяев. Они поселились втроем, вместе с Мишей и Зоей. Здесь Александру навещал Дыбенко, но не слишком часто, поскольку у обоих дел было невпроворот.

25 ноября 1917 года Сталин, как нарком национальностей, и Коллонтай, как признанный специалист по Финляндии, побывали на съезде социал-демократов Финляндии. Они друг другу понравились, что сыграло немалую роль в дальнейшей судьбе Коллонтай. Сталин призвал финских коллег к решительным действиям во благо мировой революции: "В атмосфере войны и разрухи, в атмосфере разгорающегося революционного движения на Западе и нарастающих побед рабочей революции в России может удержаться и победить только одна власть, власть социалистическая. В такой атмосфере пригодна только одна тактика, тактика Дантона: смелость, смелость и еще раз смелость! И если вам понадобится наша помощь, мы дадим ее вам, братски протягивая вам руку. В этом вы можете быть уверены!!"

6 декабря 1917 года сейм провозгласил независимость

Финляндии. 31 декабря ее признала Советская Россия. Но Ленин рассчитывал, что очень скоро в Финляндии победят сторонники большевиков при поддержке остававшихся там русских войск. К концу января финские красногвардейцы заняли Хельсинки и южные провинции страны, тогда как правительство Пера Эвина Свинхувуда удержало за собой северные и центральные провинции.

29 января 1918 года Совет уполномоченных сообщил в Петроград: "Буржуазное правительство свергнуто революционным движением рабочего класса".

Между тем 3 января 1918 года Коллонтай обратилась в правительство: "Народный комиссариат государственного призрения, сильно нуждаясь в подходящих помещениях как для престарелых, так равно и для прочих призреваемых, находит необходимым реквизицию Александро-Невской лавры: как помещений, так инвентаря и капиталов". На следующий день это предложение было одобрено.

Ф.Ф. Раскольников

Наркомату госпризрения потребовалось найти помещение

для Дома инвалидов войны. 13–21 января 1918 года Коллонтай, недолго думая, с помощью отряда матросов предприняла попытку реквизировать Александре-Невскую лавру в Петрограде, что спровоцировало массовое сопротивление верующих. Ее встретил колокольный звон, созвавший сотни прихожан, попытавшихся отстоять Лавру. По набату собралась толпа верующих, и реквизицию лавры пришлось отложить. После неудачного захвата лавры в Петрограде состоялся большой крестный ход. Реквизицию лавры пришлось отложить. Наркомату государственного призрения поручили объяснить населению, что Александре- Невская лавра передается Союзу увечных воинов. Убийство протоиерея Петра Скипетрова и другие насилия, совершенные красногвардейцами, стали непосредственной причиной издания патриархом Тихоном 19 января "Воззвания", анафематствовавшего "безумцев". 22 января работавший тогда в Москве Священный собор Православной Российской Церкви одобрил патриаршее воззвание. А в Пскове за эту акцию Александра Михайловна была предана местной анафеме (проклятию). Впрочем, убежденную атеистку Коллонтай это нисколько не взволновало.

Большевики были напуганы массовым протестом верующих. Вопрос о необходимости законодательного урегулирования церковно-государственных отношений стал первоочередным. Александра Коллонтай вспоминала, как Ленин, ругая ее за самоуправство, приговаривал, что пора принимать закон об отделении церкви от государства. Ленинский декрет об отделении церкви от государства был опубликован 21 января (3 февраля) 1918 года и назывался довольно либерально: "Декрет о свободе совести, церковных и религиозных обществах".

Реакция на декрет была острой и бурной, тем более что наступление на церковь велось на фоне продолжавшего работать Поместного собора. Одни справедливо увидели в нем юридическое обоснование гонений на церковь, которая лишалась права юридического лица. Другие наивно надеялись, что принятие закона, пусть и несовершенного, позволит вести цивилизованную полемику с большевиками, не понимая, что последние никакой полемики вести не собирались. Наконец, многие представители либеральной части религиозной общины радовались самому факту отделения церкви от государства, полагая, что она получит возможности для свободного развития, а священники превратятся из чиновников в проповедников, что увеличит доверие народа к церкви.

В листовке, которая появилась на московских улицах вскоре после публикации декрета об отделении церкви от государства,

говорилось:

"Народ русский!

Большевики проливают братскую кровь, отдают немцам русскую землю, разоряют города и деревни, уничтожают промышленность и торговлю; разогнали Учредительное собрание, уничтожили суд.

Но всего этого им мало. В октябре и ноябре они разрушили святыни Кремля, а теперь окончательно решили разрушить в России церковь.

Воздайте кесарево — кесарю, а Божье — Богу; сказал Спаситель. А большевики отобрали себе все кесарево и отбирают все Божье. Они решили отобрать церкви, церковное имущество, даже священные предметы.

По их новому декрету церкви не принадлежат более ни крест, ни чаша со Святыми Дарами, ни иконы, ни мощи Святых угодников. Все это принадлежит комиссарам-большевикам, которые сами никакой религии не исповедуют, никаких таинств не признают.

Кесарево — кесарю, поэтому большевистский комиссар г-жа Коллонтай может сколько ей угодно венчаться без церкви, гражданским браком, с матросами, но Божье — Богу, и потому г-жа Коллонтай не имеет никакого права чинить надругательства и захватывать Александро-Невскую лавру, как она это сделала.

Кесарево — кесарю, поэтому Ленин-Ульянов и Троцкий-Бронштейн, возомнив себя кесарями, могут грабить банки, но Божье — Богу, и поэтому они не смеют грабить твоей святыни, русский народ! Не смеют превращать храм в места митингов и кинематографов, не смеют запрещать тебе учить детей в школах Закону Божию. Не Ленину и не Троцкому-Бронштейну хозяйничать в алтаре храма.

Поруганы церкви. Реквизирована лавра. Убит протоиерей. Совершались обыски у самого патриарха, и верующие люди уже просили его назначить себе преемника на случай возможной мученической кончины своей.

Ругаются надо всем святым. Неужели и это позволишь ты сделать? Неужели и тут не заступишься ты, русский народ?!"

Коллонтай также внесла на рассмотрение Совнаркома проекты двух декретов, которые были приняты почти без обсуждения. 16 декабря 1917 года появился на свет декрет ВЦИКа и Совета народных комиссаров "О расторжении брака", а 18 декабря — декрет "О гражданском браке, о детях и о введении книг актов состояния". Декрет о гражданском браке, заменявшем собою брак церковный, устанавливал равенство супругов и равенство внебрачных детей с детьми, родившимися в браке.

Декрет о разводе признавал брак расторгнутым по первому же, не нуждавшемуся ни в каких мотивировках, заявлению одного из супругов. Суд должен был лишь определить, с кем из супругов остаются несовершеннолетние дети и кто их содержит. Александра Михайловна верила, что тем самым она освобождает женщин от домашнего рабства и делает их по-настоящему равноправными с мужчинами. Отцовство же в суде устанавливалось по заявлению матери, исходя из презумпции материнской правоты. Но

Александра не учитывала, что женщина неравна мужчине хотя бы в той особой связи, которая устанавливается между ней и рожденным ею ребенком, которою она выхаживает в первые, самые опасные для малыша месяцы жизни. В атом женщину никакая машина не заменит.

Коллонтай была избрана членом Учредительного собрания дважды: по списку большевиков в Петрограде и по списку большевиков в Ярославле. Но, поскольку работа Учредительного собрания продлилась всего день, ей даже не пришлось выбирать, от какого мандата отказываться. Она стала одной из десяти женщин, получивших мандаты первого в истории России свободно избранного парламента. На его открытии Коллонтай появилась в правительственной ложе, а не на депутатских местах и покинула заседание вместе со всей фракцией большевиков и левых эсеров. Кстати сказать, непосредственно разгоном Учредительного собрания руководил Дыбенко. Исторические слова матроса Железняка звучали так: "Матрос Железняков сказал: "Комиссар Дыбенко требует, чтобы присутствующие покинули зал заседаний, потому что караул устал"".

Председательствующий Виктор Чернов возразил: "Все члены Учредительного собрания также очень устали, но никакая усталость не может прервать оглашения земельного закона, которого ждет Россия. Учредительное собрание может разойтись лишь в том случае, если будет употреблена сила!"

Железняк повторил требование очистить помещение. Через 20 минут Чернов закрыл заседание, приняв все-таки закон о земле, который, впрочем, никто не собирался исполнять. Учредительное собрание закрылось 6 (19) января 1918 года в 4 часа 20 минут утра. Больше созыва парламента большевики не допускали.

22 декабря 1917 года ЦИК принял решение послать делегацию в Стокгольм "для установления тесной связи между всеми трудящимися элементами Западной Европы <…> и для подробного осведомления ЦИК о событиях, происходящих за границей". В состав делегации в качестве ее руководителя

включили Коллонтай, хотя ей и был запрещен въезд в Швецию. Надеялись, что члену правительства не посмеют отказать во въезде. При этом Коллонтай получила право самостоятельно решать, "в какие страны и в каком порядке она найдет необходимым ехать непосредственно или посылать своих комиссаров <…> вступить в тесные сношения со всеми элементами рабочего движения, которые стоят на точке зрения немедленной социалистической революции и ведут активную революционную борьбу против своей буржуазии…" На расходы члены делегации получили 100 000 рублей.

29 января 1918 года президиум ЦИКа уточнил задачи: делегации выпускать "Вестник социалистической революции", установить контакты "со всеми элементами рабочего движения, которые стоят на точке зрения немедленной социалистической революции и ведут активную революционную борьбу против своей буржуазии за немедленный мир".

В середине февраля 1918 года делегация для поездки в Европу была сформирована. Кроме Коллонтай как главы делегации в нее вошли большевик Ян Берзин (Зимелис) и левые эсеры Марк Натансон и Алексей Устинов. Александра Михайловна прихватила также члена коллегии Наркомата государственного призрения Алексея Петровича Цветкова, рабочего, участника штурма Зимнего. Секретарем делегации стала Евгения Григорович, по словам Коллонтай: "Самоотверженное существо. Если надо для революции, не задумаясь, пойдет хоть по битому стеклу. Еще очень юная, по-юному "нетерпимая" и "принципиальная". Смелая и решительная".

Должны были посетить Швецию, Норвегию, Англию, Францию и США и обзавелись соответствующими визами. Коллонтай получила "дипломатический паспорт", хотя ленинское правительство еще не признал никто в мире. Вот что было написано в этом паспорте-мандате: "Российская Советская Республика. Народный Комиссариат по иностранным делам ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ Настоящим доводится до сведения тех, кого это касается, что предъявитель сего паспорта Народный Комиссар Социального Обеспечения Александра КОЛЛОНТАЙ направляется в Швецию, Норвегию, Англию, Францию и Соединенные Штаты Америки в качестве представителя Центрального Исполнительного Комитета Солдатских, Рабочих и Крестьянских Депутатов.

В этой связи Совет Народных Комиссаров просит дружественные власти, равно как и каждого, кого это касается, и приказывает всем российским военным и гражданским властям свободно пропускать всюду Александру КОЛЛОНТАЙ и

обеспечить ей всю необходимую помощь". Ход путешествия отражен в дневнике Александры Михайловны:

"10 февраля. Нервирует, что вопрос о поездке делегации все еще висит в воздухе. Я сегодня настаивала на окончательном решении. Нельзя работать, если ждешь, что тебя завтра сорвут с места. Говорят: не установлен маршрут, неясно, можно ли пробраться еще через Финляндию? Белые теснят красных с северо-запада. Сегодня есть вести, что побережье на север от Або — уже в руках белых. Немцы держат курс на Финляндию. Ленин вызывал Павла Ефимовича (Дыбенко. — Б.С.), чтобы посоветоваться о судьбе Аландских островов и подкреплении нашего там гарнизона…

13 февраля. Владимир Ильич был недоволен, что мы еще не выехали, и отдал распоряжение, чтобы немедленно достали визы и прочее… Он допускает мысль, что мы окажемся отрезанными от России немецким фронтом и что с нами тогда не станут церемониться. Пошутил, что попасть в шведскую тюрьму для меня не будет "сюрпризом". Он не думает, что нам удастся пробраться в Англию, но в Скандинавии мы будем полезны, главное по части разоблачений клеветы и связи с рабочими…"

Делегация отбыла в Европу вечером 18 февраля 1918 года, несмотря на то что 10 февраля были прерваны мирные переговоры в Брест-Литовске, которые вел Троцкий. В день отъезда делегации ЦК принял ультиматум Ленина о немедленном заключении мира на любых условиях. Коллонтай проголосовала против и сразу после заседания отправилась на вокзал.

В Финляндии, через которую они ехали, к власти при поддержке расквартированных в стране русских войск пришли левые социал-демократы, симпатизировавшие большевикам. Александра записала в дневнике: "Опять Гельсингфорс, милый Гельсингфорс, где всегда пребывают силы и сразу набираешься бодрости. Нас, делегацию ЦИК, отправляемую в Скандинавию, Англию и Францию с факелом революции, завезли на нашем экстренном поезде сюда вместо того, чтобы прямо <…> в Стокгольм. <…> Гельсингфорс в наших руках. Живем в гостиницах, ревизованных нашими… По коридорам [разгуливают] красавцы — молодые красногвардейцы. "Частная" публика исчезла. В Сеймовом Доме [тоже] другой облик: исчезли депутаты других партий, на лестницах, в вестибюлях красногвардейцы вооруженные, в кулуарах все наша, партийная публика. <…> Вечером город вымирает. Ни одного пешехода. Всюду красногвардейцы арестовывают всех, кто не имеет специального удостоверения от Красной гвардии <…>. Наши, русские, организовали митинг. <…> Аудитория исключительно

матросская. Встретили с холодком. Долго держался лед — ни хлопка. Только к концу разогрели аудиторию, поднялось настроение, и провожали уже тепло, но далеко не так, как до октябрьских дней…

Где мой Павел? <…> Как я люблю в нем сочетание крепкой воли и беспощадности, заставляющее видеть в нем "жестокого, страшного Дыбенко", и страстно трепещущей нежности — это то, что я так в нем полюбила. Это то, что заставило меня без единой минуты колебания сказать себе: да, я хочу быть женой Павлуши… Много вероятия, что именно с Павлушей осуществима та высшая гармония сочетание свободы и страстно"! любовной близости, которая дает двойную устойчивость и силу для борьбы. Павлуша вернул мне утраченную веру в то, что есть разница между мужской похотью и любовью. В нем, в его отношении, в его страстно нежной ласке нет ни одного ранящего, оскорбляющего женщину штриха. Похоть — зверь, <…> благоговейная страсть — нежность. Есть часы долгих ласк, поцелуев без обязательного финала.

<…> Это человек, у которого преобладают не интеллект, а душа, сердце, воля, энергия. <…> Я верю в Павлушу и его звезду. Он — Орел".

Коллонтай предстояло выполнить еще одну задачу: в Гельсингфорсе надо было побывать на кораблях и убедить моряков в необходимости роспуска Центробалта. "Настроение у матросов возбужденное, — отметила в дневнике Александра. ~ С Измайловым (комиссаром флота. — Б.С.) — конфликты. Историческая, геройская роль Центробалта кончена. Он становится помехой. Говорят — "анархическое настроение умов" надо пресечь в корне и т. д. Центробалт станет лишь страничкой прошлого… Грустно-Живописное заседание в огромной кают-компании "Штандарта". Публика задета, заинтересована, возбуждена. Лица серьезные, внимательные. Один председатель притворяется бесстрастным и невозмутимым, а то — не сдержишь их. Горячая матросня. Речи, речи и речи… Поток, водопад… Отвечают — центробалтщики. Горячатся. Не хотят "полного роспуска"… Из-за резолюции — война, конечно, словесная. Но может дойти и до большего… Настроения у ребят, что называется, "подъемные"… С немцем там можете мириться, а вот насчет комиссаров флота — тут "мы себя отстоим"".

Большевикам, пришедшим к власти и начавшим строить новое государство взамен разрушенного, матросская вольница была больше не нужна. Поэтому Центробалт, созданный этой вольницей, приказал долго жить. Умом Александра понимала необходимость этого. Но сердце ее влекла революционная стихия,

которую олицетворяли матросы и ее любимый Павел…

"Совнарком вынес постановление о нашем согласии заключить мир с Германией. Это изменяет всю картину. После этого нам незачем ехать в Европу", — записала в дневнике Коллонтай.

Вечером по телеграфу она связалась с Петроградом. На том конце провода оказался Дыбенко. "Заседание Совнаркома, — зафиксировала в дневнике Коллонтай, — было (но словам Дыбенко) очень бурное. Прекращение войны сейчас кажется невозможным, раз мир должен быть заключен с капиталистами. Что скажут немецкие рабочие? Многие считают, что это шаг, ведущий к гибели всей революции. Мысль о мире с кайзером не укладывается в голове…

Полная неопределенность, что будет с нашей делегацией. Я считаю, что ехать следует независимо от вопроса о немцах. Именно сейчас надо информировать заграницу, разъяснять. Натансон склоняется к тому, чтобы ехать обратно. Левоэсеровское Цека резко против мира с немцами. В Совнаркоме обострение отношений… Мне кажется, что левые эсеры очень крепки сейчас в ЦИКе. В Совнаркоме тон задают наши, и эсеры там вроде "гостей", но когда придешь в Президиум ЦИКа, атмосфера другая. Спиридонова господствует, распоряжается, возле нее — целый штат…

Павел, конечно, горячится и считает, что нельзя мириться с немецкими буржуями, надо их "добить". Обещал приехать сегодня. Просила привезти теплое платье. Очень холодно… Улицы слабо освещены, пустынны. Впечатление города в осаде… Вспоминаю Гельсингфорс весною прошлого года. Тогда он кипел и бурлил. Городом владели моряки: куда ни поглядишь — белые матросские блузы, открытые, оживленные лица, радостно-напористые, волевые и бесстрашные… Тогда население, пролетарское население, шло с нами. А сейчас наших моряков возле Ловизы чуть не растерзали. Классовая вражда в Финляндии острее и беспощаднее. Лютая будет здесь гражданская война!"

И Дыбенко вскоре прибыл в Гельсингфорс. Он сообщил, что на Совнаркоме тоже обсуждался вопрос, подписывать ли с немцами унизительный мир. Почти все были "за", лишь Дыбенко и Сталин "против". Коллонтай решила позвонить в Кремль и выразить свою солидарность со Сталиным. Тот подтвердил, что делегации надо ехать в Европу. Большевистские лидеры надеялись, что вот-вот удастся разжечь пожар мировой революции.

В европейское путешествие делегация отправлялась из порта Або. Туда поехали на специальном поезде. Дыбенко вызвался ее

проводить. Александра Михайловна отметила в дневнике, что Або сильно проигрывает, "Отопление, — с восторгом констатировала Коллонтай в дневнике, — накрахмаленное постельное белье, полный комфорт, никаких белогвардейцев. <…> Утром прибыли в Або. В гостинице не кормят и не ухаживают. Нескрываемое неодобрение. Улицы слабо освещены, пустынны, впечатление города в осаде. Павел уехал…"

Никакого парохода для них не оказалось. С трудом удалось подрядить небольшое каботажное судно "Мариограф", причем путь ему по скованному льдами заливу должен был пробивать ледокол "Гриф". О том, как проходило дальнейшее путешествие, можно судить по дневнику Александры: "24 февраля. Утро. Ясное, морозное, солнечное. Минус двадцать. Медленно пробираемся сквозь льды среди внутренних шхер. <…> Все призрачно, нереально. Реальны только солнце и мороз, небо и льды. Покормили вкусным завтраком. Почему-то вспоминается еда — одна ночь в Совнаркоме. Проголодавшись, пошли есть в три часа ночи, еды, конечно, нет, заспанные официанты принесли свежий хлеб и целую кастрюлю паюсной икры. <…> Во всем теле приятная лень сытости и отдохновения.

25 февраля. Остановились возле деревянной пристани рыбацкого селеньица на острове Дагербю, чтобы взять уголь. Погрузка странно затянулась: население, узнав, что на пароходе русские большевики и красные финны, решило нас арестовать. <…> Грузчики относятся к нам недоброжелательно. С берега нас рассматривают с угрюмым любопытством. Все население острова против нас. Лица разглядывающих нас непроницаемы и неподвижны, как финские скалы…

28 февраля. "Мариограф" окончательно обледенел. Из Дагербю нам на помощь вылетели 2 летчика. Не справились с бурей. Оба гидроплана разбиты. Один летчик погиб, другой тяжело ранен. Сидим на своем багаже как погорельцы. Кругом снежная пелена, ничего не видно. <…> Мы от берега в 6–7 километрах. Неужели нельзя достать лошадей и по льду добраться до берега? <…> Так и есть: подали лошадей. Пригодился коньяк: подарили его команде. <…>".

Между тем, 22 февраля был создан Наркомат военно-морского флота, который возглавил Дыбенко, все еще оставаясь в Гельсингфорсе. Его заместителем стал Раскольников.

24—26 февраля Александра написала Павлу большое письмо: "Мой любимый, мой милый, милый, милый собственный муж! <…> К утру завтра будем в Швеции. Чудное зимнее утро, и, когда так красиво крутом, особенно чувствуется твое отсутствие. Не хватает мне твоих милых сладких губ, твоих любимых ласк,

всего моего Павлуши, все думы о тебе, о твоей большой работе. Милый, иногда мне кажется, что в эти знаменательные дни, пожалуй, лучше бы, если бы ты был ближе к центру. <…> Когда человек на глазах, ему дают ответственные дела, ставят на ответственный пост. <…> Я все еще как-то не верю, что мы далеко друг от друга, так живо ощущение твоей близости. Мы с тобой одно, одно неразрывное целое. <…> В тебя, в твои силы я верю, я знаю, что ты справишься с крупными задачами, которые стоят перед тобою во флоте, но знаю также, мой нежно любимый, что будут часы, когда тебе будет не хватать твоего маленького колонтая. А большой, пожалуй, даже чаще будет нужен тебе. Нужна очень интенсивная агитационная работа — думаю, как бы помочь тебе в этом <…>.

Мой милый, милый Павлуша, чувствуешь ли, как мои мысли летят к тебе? Ласки вьются волною вокруг тебя и хотят проникнуть в твое сердечко. <…> Как хотелось бы обхватить обеими руками тебя за шею, вся-вся прижаться к тебе, приласкать твою милую голову, найти губами губы твои и услышать твои милые ласковые слова, в ответ на которые так радостно вздрагивает и сладко замирает сердце. Милый! Любимый! Твой голубь так хочет скорее, скорее прилететь в твои милые объятия. <…>

"25 февраля. Вечер. Отвалили! С хрустом подламывается лед. <…> Ночуем во льдах. Я требую свежие простыни. Капитан Захаров, явно не наш, хоть и расшаркивается: "Завтра Стокгольм, там будут и простыни. А сейчас обойдетесь". Пришлось перейти на другой язык: "Я народный комиссар Коллонтай. Именем революции требую выполнять мои распоряжения". Простыни принесли. <…>

Утром слева от нас взорвалась мина. Звук слабый — только высокий фонтан воды.

26 февраля. Мечтали о Швеции, а оказались затертыми во льдах. От напора льда взрывается мина за миной. Бывают случаи, что затертые суда остаются во льдах до весны. Нас все больше сжимает. Распоряжаюсь достать бутылки, чтобы запаковать наши последние прощальные письма. Ищут бутылки. Есть коньячные, но в них еще нетронутая жидкость. Не выливать же ее, когда мина, которая нас подорвет, еще только в перспективе. Спешно пишу письма.

Ветер крепчает. Взрываются мины. <…> Зовут ужинать. Ем без аппетита".

Ночью при свете свечи она писала Павлу еще одно письмо, которое собиралась запаковать в бутылку и бросить в море. Точнее — на лед.

"Мой любимый! <…> Взрываются мины, но настроение бодрое и веселое. Мы у берегов Швеции, но ветер нас гонит обратно. Пока у нас тепло и воды много. Не хватает только тебя, мой нежно-нежно любимый. Нет часа, когда бы я не думала о тебе, — чем нежнее думаю о тебе, тем досаднее, что уехала. Ты в моем сердце неотлучно. <…> Остро до боли, до тоски охватывает желание увидеть тебя, услышать твой голос, твой милый всхлип, который я так люблю. <…> Милый, милый, как было бы хорошо, если бы ты был здесь, тогда не все ли равно, где быть. Пусть бы и попали тогда в эту ледяную западню. <…>"

Дыбенко из Нарвы прислал ей со специальным нарочным следующее письмо: "Милая, дорогая Шурочка! Как бы мне хотелось видеть тебя в эти минуты, увидеть твои милые очи, упаст на груд твою и хотя бы одну минуту жить только-только тобой. Но в эти минуты я лишен своего духовного счастья. В эти минуты я не могу сказал тебе ни единого слова. В эти минуты я не могу услышат звук твоего голоса. О! Как я одинок в эти минуты. Шура, милая, ты, может быть, получиш это письмо тогда, когда не будет меня, я прошу тебя одно напиши и не забуд мою маму и успокой ее. <…> Шура, я иду умират за свободу угнетенных. Вперед, к свободе! Прощай, милый мой Ангел! Вечно с тобой Павел". Грамотно писать Павел так никогда и не научился, хотя почерк у него был образцовый, писарский.

27 февраля "Мариограф" все-таки освободился из ледового плена и пристал к берегу. Дальше на санях добрались до Аландских островов, где находились шведские войска. Шведы не пустили делегацию в Стокгольм и вернули ее в Або. После этого Коллонтай 6 марта вернулась в Россию. Теперь она спешила обратно в Петроград. Но в спецвагоне уже не было прежнего комфорта. Коллонтай записала в дневнике: "Обслуга исчезла, — сообщает она в своем дневнике, — и это навело на мысль, что что-то меняется. <…> И в Петрограде на Финляндском вокзале никто не встречает…"

8 марта она опубликовала в "Правде" статью "Новая Финляндия", где утверждала: "Рождается новая социалистическая советская Финляндия… Финляндия сейчас советская республика, которой с севера угрожают белогвардейцы, с юга русско-германский империализм… Бои между белой и красной гвардиями идут непрерывно. Но позиции советской власти в Финляндии укрепляются с каждым днем".

На самом деле все в Финляндии происходило с точностью до наоборот. Советские войска пришлось вывести из Финляндии после Брестского мира. Правда, остались русские добровольцы. Но немцы прислали на помощь финским белогвардейцам во главе

с Карлом Маннергеймом дивизию генерала, графа Рюдигера фон дер Гольца. В мае красные финны были разбиты белыми, захватившими Хельсинки.

Между тем 28 февраля Дыбенко во главе 1-го Северного летучего отряда революционных моряков отправился защищать Нарву от наступавших немцев. Военный руководитель Комитета обороны Петрограда генерал Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич, чей брат был управляющим делами Совнаркома, не очень доверял "красе и гордости революции" и не сомневался, что под натиском даже незначительных сил немцев матросы Дыбенко быстро возьмут ноги в руки. Но Дыбенко был противоположного мнения. Однако его отряд, не приняв боя, уехал в Гатчину. Ленин говорил о "хаосе и панике, заставившей войска добежать до Гатчины". В результате Нарва была сдана без сопротивления. 16 марта Дыбенко сняли с поста наркома по морским делам. Он попытался представить это результатом политических разногласий и написал заявление: "Стоя наточке зрения революционной войны, я считаю, что утверждение мирного договора с австро-германскими империалистами не только не спасает Советскую власть в России, но и задерживает и ослабляет размах революционного движения мирового пролетариата. Эти соображения заставляют меня как противника утверждения мира выйти из Совета Народных Комиссаров, а потому слагаю свои полномочия народного комиссара по морским делам и прошу назначить мне заместителя".

Текст этого заявления конечно же написала Коллонтай. Прямо с поезда она попала на начавший заседать с утра Седьмой Чрезвычайный съезд партии. Обсуждался, естественно, только один вопрос — одобрить или не одобрить подписанный в Бресте "похабный мир".

В марте 1918 года Коллонтай поддержала "левых коммунистов". В борьбе против Брестского мира вместе с ней были Бухарин, Пятаков, Дзержинский, Радек, Крестинский и многие другие, и даже Инесса Арманд, самый близкий Ленину человек. Александра Михайловна утверждала: потеря половины России сделает положение рабочих совсем катастрофическим. 7 марта она выступила на съезде партии с яркой, эмоциональной речью: "Товарищи, этот мир, если он будет ратифицирован, едва ли будет представлять нечто большее, чем бумажку, которую подпишут обе стороны с тем, чтобы ее не соблюдать… Может быть, товарищи, которые стоят за подписание мира, рассчитывают именно на то, чтобы в этот короткий промежуток времени передышки собрать силы и напасть на врага… Но я думаю, что сама жизнь не дает возможности этой передышки…

Будет ли подписан мир или нет, но мы должны сказать, что сейчас уже началась другая война, определенная, ясная война белых и красных. Мы видим перед собой эту разрастающуюся войну, которая прежде всего выявилась в Финляндии и сейчас уже перекидывается в Швецию… Сейчас подписание мира явилось бы предательством перед Финляндией, перед той войной, какая там идет и которая перебрасывается, несомненно, в другие страны, потому что, как вы знаете, за белогвардейцами Финляндии сейчас стоит Швеция… Мне пришлось в эту краткую неудачную поездку быть там, и Швеция уже открыто наступала на Аландские острова. Там уже чувствуется ясно дыхание этой нарастающей и крепнущей с каждым днем борьбы, новой войны красных и белых… Там даже ставился вопрос об аресте всей нашей делегации — это, собственно, к делу не относится, но это характеризует настроение… Мы должны использовать этот момент, создавая интернациональную революционную армию. И если погибнет наша Советская республика, наше знамя поднимут другие. Это будет защита не отечества, а защита трудовой республики. Да здравствует революционная война!"

VII Чрезвычайный партсъезд поддержал Брестский мир, не услышав призыва Коллонтай. В новый состав ЦК она не попала. На самом деле у немцев не было сил наступать в глубь России. Они даже Петроград не стали занимать, потому что не имели планов создания в России прогерманского правительства. Германию устраивало правительство Ленина как наименьшее из существовавших в России зол.

11 марта вместе с Совнаркомом Коллонтай переехала в Москву и поселилась в гостинице "Националь", переименованной в 1-й Дом Советов. Дыбенко жил со своими матросами в бывшей Лоскутной гостинице, позже переименованной в гостиницу "Красный флот". Вскоре Коллонтай переселилась к нему, хотя там было куда менее комфортно, чем в Доме Советов. Десять лет спустя она вспоминала: "Мы с Павлом в Лоскутной гостинице. Моя любовь к нему полна тревог за него. Мятежный он, недисциплинированный. Я вечно боюсь, что он натворит что-либо неумное, ненужное… Ночь. Павел поздно вернулся от товарищей, балтийских моряков. Неспокойные они тоже. Еще не поняли, что власть наша, готовы бунтовать. Стук в дверь. Настойчиво-дробный звук. Вскакиваю в испуге. Что это? Может, снова за Павлом? И Павел вскочил, лицо нахмуренное. Вижу, что и у него те же мысли. Сердце мое стучит в висках, во всем теле… Не застегнуть платья.

— Кто там?

Спешу к двери сама. В дверях группа вооруженных матросов,

огромные наганы, шапки на затылке… Пришли "отдышаться* к нам…"

15 марта открылся IV съезд Советов — ему предстояло ратифицировать Брестский договор. 785 делегатов поддержали

Ленина, 261 голосовал против и 215 воздержались. Дыбенко и Коллонтай голосовали против. В знак протеста оба вышли из правительства.

Цитированное выше заявление Дыбенко было зачитано на съезде еще до обсуждения вопроса о сдаче Нарвы. На следующий день после ратификации Брестского мира обсуждалось "поведение члена РКП(6), наркома по морским делам товарища Дыбенко Павла Ефимовича, беспричинно сдавшего Нарву наступающим германским войскам". Павла Ефимовича обвинили в "пьянстве, приведшем к трагическим последствиям". Преемником Дыбенко, с сохранением поста наркома по военным делам, был назначен Троцкий.

На следующее утро, едва открылось заседание съезда, Дзержинский вызвал Коллонтай в комнату за сценой и предупредил, что Дыбенко только что арестован. Ей предлагалось удержать моряков "от возможных неразумных действий" во избежание "неизбежных шагов, которые в этом случае предпримет ВЧК". Неизбежные шаги, уточнил Дзержинский, — это "немедленный расстрел товарища Дыбенко, чего мы бы никак не хотели". Для воздействия на Коллонтай Дзержинский прислал к ней своего заместителя Вячеслава Александровича, которого еще с норвежских времен она знала как "Славушку". В ответ Александра Михайловна сразу же написала заявление об отставке с поста наркома государственного призрения.

Следствие по делу Дыбенко поручили вести его вчерашнему товарищу и соратнику Николаю Крыленко — они вместе входили в "коллегию по военным и морским делам" в составе первого Совнаркома. Теперь Крыленко был членом чрезвычайной следственной коллегии при ЦИКе. Вместе с ним следствие вела его жена Елена Розмирович — председатель чрезвычайной следственной коллегии. Они сочли, что вина Павла Ефимовича доказана.

Несколько сот моряков пришли к Троцкому, требуя немедленно освободить Дыбенко и угрожая повесить Льва Давыдовича на ближайшем фонарном столбе. Троцкий не испугался и произнес пламенную речь, в которой убедил матросов, что Дыбенко — трус и дезертир, так что ему даже устроили овацию.

Дыбенко находился под арестом не в тюрьме, а в Кремле. Коллонтай получила разрешение "в течение 19–22 марта

ежедневно по одному часу иметь свидание с арестованным товарищем Дыбенко в промежуток от 12 до 18 часов без права передачи писем и записок" и в присутствии охраны. Потом разрешили передачу писем, но "с предварительным прочтением членом следственной коллегии". И "в ночь с 16 на 17 марта" она написала такое исповедальное письмо:

"Счастье мое! Безумно, нежно люблю тебя! Я с тобой, с тобой, почувствуй это! Я горжусь тобою и верю в твое будущее. То, что произошло, до отвращения подло, самое возмутительное — несправедливость. Но ты будь покоен, уверен в себе, и ты победишь темные силы, что оторвали тебя от дела, от меня. Как я страдаю, этого не скажешь словами. Но страдает лишь твоя маленькая Шура, а товарищ Коллонтай гордится тобою, мой борец, мой стойкий и верный делу революции товарищ. Мы работаем, чтобы ты скорее, скорее снова был с нами.

<…> Вся душа моя, сердце, мысли мои, все с тобою и для тебя, мой ненаглядный, мой безгранично любимый. Знай: жить я могу и буду только с тобой — без тебя жизнь мертва, невыносима. Что, что сказать тебе, чтобы ты почувствовал всю силу моей любви? Моя радость, мое солнце, мой Павлуша: ты не знаешь, как я страдаю, но не мучайся за меня — ведь и оторванные друг от друга мы с тобою одно, одно душою и сердцем. <…> Будь горд и уверен в себе, ты можешь высоко держать голову, никогда клевета не запятнает твоего красивого, чистого, благородного облика. На больших людей, как ты, всегда льют и от клеветы, потому что их боятся. Помни одно: не будь несдержан и резок, твое спокойствие, твоя покойная уверенность в твоей правоте — твоя лучшая защита. <…> Помни также каждую минуту, что твой голубь ждет тебя, тебя — напряженно, с мукой, чтобы лететь к тебе навстречу с распростертыми крыльями. Мои руки тянутся к тебе, мое сердце тоскует, мои мысли вьются любовно возле твоей дорогой, безумно нежно любимой головы. <…> Верь, верь мне, мое счастье, мой любимый, что ты еще не раз вернешь свои силы на нашем большом деле, и гляди вперед гордо и уверенно, как гляжу и я, мой ненаглядный, мой Павел, мой муж дорогой. <…> Обнимаю твою дорогую, родную головку, твоя вся и навсегда твоя Шура.

Меня мучает, что у тебя нет твоей шубы с собою, чтобы ты [не озяб], родной, любимый, любимый мой".

Тут перед комиссией встал вопрос, кем Коллонтай приходится арестованному, почему за него хлопочет. И тогда Коллонтай официально предложила Дыбенко стать ее мужем. Павел Ефимович это предложение с радостью принял.

На следующее утро все газеты известили, что Павел Дыбенко

и Александра Коллонтай сочетались гражданским браком, о чем в книге записи актов гражданского состояния сделана первая запись. На самом деле никакой книги такого рода тогда еще не существовало.

Впоследствии Александра записала в своем дневнике, что связала себя браком с Дыбенко, чтобы "исключить возможность полного разъединения нас внешними силами и <…> чтобы вместе взойти на эшафот". После брака Крыленко согласился до суда отпустить Дыбенко "под поручительство законной жены". Так ей посоветовал Троцкий.

Освободившись, Дыбенко сразу же уехал вместе с матросами в Курск, а потом в Пензу. Коллонтай, потрясенная, поскольку дала гарантию, что муж будет исправно являться на допросы, тоже покинула Петроград. На следующее утро все газеты вышли с сообщением о бегстве первой советской четы в неизвестном направлении. Правда, очень быстро выяснилось, что они уехали в совершенно разных направлениях. А Дыбенко угрожал по телеграфу, что еще неизвестно, кто кого арестует. Узнать обо всем этом Александре было слишком тяжело.

Коллонтай вспоминала об этом несколько иначе, чем было на самом деле, стараясь представить бывшего мужа в лучшем свете: "Владимира Ильича тревожило: где Дыбенко? Что замышляет? При неустойчивом положении Советской власти — всякое неосторожное выступление представляло опасность, и большую. Я успокоила Владимира Ильича, что я настою на том, что Дыбенко приедет в Москву.

— Вы уверены?

Я была уверена, потому что я любила Павла и верила ему… Я была опьянена своим чувством к Павлу… Начало 1918 года было самое страшное время всей моей жизни. Конфликт между чувством и моими партийными обязанностями (этот конфликт она обычно решала в пользу партийных обязанностей. — Б.С.). Ни для кого в мире и ни для чего я не поступалась тем, чем поступилась, — партийной дисциплиной ради Павла… Раз Павел не вернулся всю ночь. Что это была за ночь! Чего-чего не передумала я. Страдала до отказу. Наутро Павел пришел сконфуженный, с виноватой улыбкой. Уверял, что был за городом у товарища, там не было телефона и никаких средств сообщения. В те дни я еще не знала, что Павел пьет. И, конечно, ту ночь кутил…

На другой день после отъезда Павла в здании соцобеза мне устроили проводы как наркому. Был оживленный митинг. Мне было жалко, что это дело ушло из моих рук. Сама виновата. Все из-за Павла. Москва томила меня. Хотелось быть с друзьями.

Поделиться пережитым. Разобраться: что же дальше?.."

Лишь в конце апреля, когда Ленин гарантировал, что ни о каком предварительном аресте не может быть речи, а Дыбенко должен только явиться на суд, беглецы возвратились в Москву

Дыбенко судил народный суд в Гатчине, где он когда-то взял в плен генерала Краснова. Коллонтай написала подробный конспект речи, которую предстояло произнести ее супругу: "Каков бы ни был приговор, я жду приговора справедливого от представителей той же трудовой массы. Я не боюсь приговора надо мной, я боюсь приговора над Октябрьской революцией, над теми завоеваниями, которые добыты дорогой ценой пролетарской крови. Помните: робеспьеровский террор не спас революцию во Франции и не защитил самого Робеспьера. Нельзя допустить сведения личных счетов и устранения должностного лица, не согласного с политикой большинства в правительстве.

Я в оппозиции. Решение уйти из комиссариата. Спешный секретный арест. 48 часов без пищи и воды. Следственный комитет. Доносы. Секретность вредна. Народ должен знать правду о деятельности наркомов. Нарком должен быть избавлен от сведения с ним счетов путем доносов и наветов. Поведение Крыленко: он пачкает мое имя до суда на митингах и в газетах.

Во время революции нет установленных норм. Все мы что-то нарушали. Показания свидетелей, что я не пил. Говорят, я спаивал отряд. А я как нарком отказывал в спирте судовым командирам. Честно сделал, что мог и как умел. Мы, матросы, шли умирать в защиту революции, когда в Смольном царили паника и растерянность".

Речь обвиняемого произвела должное впечатление на народный суд, состоявший из нескольких рабочих, солдат и матросов. 17 мая суд Дыбенко оправдал, сочтя, что перед ним поставили такие сложные задачи, как "прорыв к Ревелю и Нарве, к решению которых он, не будучи военным специалистом, совершенно не был подготовлен…". Но когда Александра вернулась в Москву, Павла уже след простыл.

Погуляв вместе с дружками-матросами и знаменитой цыганской певицей Марией Николаевной целую ночь в подмосковном ресторане "Стрельна", он вместе с ними, но уже без цыганки уехал в Орел, к брату, работавшему в местном Совете. Там пьянка продолжилась.

Ленин отчитал Коллонтай с нескрываемой иронией: "Ну-с, голубушка, что это там вытворяет ваш рыцарь? Если уж это вам так необходимо, так влияйте хотя бы как следует. Похоже, не вы влияете на него, а он на вас".

Александра решила вместе с агитационной бригадой ЦК

отправиться на пароходе "Самолет" по Верхней и Средней Волге. Дыбенко поручил неотлучно находиться при ней своему другу, матросу Львову. После выступлений восторженная толпа забрасывала Коллонтай букетами сирени.

В.И. Качалов

Между Ярославлем и Нижним на пароход поднялась выехавшая подработать и подкормиться из голодной Москвы труппа Художественного театра во главе с Василием Качаловым. Теперь было с кем поговорить об искусстве. Качалов рассказал о впечатлении Станиславского, который слышал речь Коллонтай в Москве. Мэтр был поражен, как точно она управляла своим голосом, умея зажечь аудиторию, не переходя на крик. Станиславский считал, что актерам есть чему поучиться у такого первоклассного оратора, как Коллонтай.

Вернувшись в Москву, Александра получила письмо от Павла вместе с вырезкой из орловской газеты, где был опубликован коллективный протест против расстрела Щастного.

К величайшему удивлению, она нашла среди подписавших протест и свое имя. Дыбенко в письме объяснял, что знает ее как принципиального противника смертной казни и как человека, который "с удовольствием ударит по Троцкому". Вот и поставил ее подпись.

Шура была возмущена до предела, что и отразилось в дневнике: "Как Павел посмел считать меня карманной женой?! Забыть, что у меня есть свое громкое имя, что я — Коллонтай?!!" Даже не отчитавшись в ЦК о своей агитационной поездке и не дождавшись возвращения Дыбенко, она уехала в Петроград.

Капитан 1-го ранга Алексей Михайлович Щастный командовал Балтийским флотом во время Ледового похода из

Гельсингфорса в Кронштадт. Он сам покинул Гельсингфорс одним из последних на штабном корабле "Кречет" 11 апреля, когда на подступах к городу уже шли бои с наступающими белофинскими и немецкими войсками, взявшими Гельсингфорс 14 апреля. А уже 27 мая Алексей Михайлович был арестован по личному распоряжению Троцкого "за преступления по должности и контрреволюционные действия". 20–21 июня Щастный был судим Революционным трибуналом при ВЦИКе Советов рабочих, крестьянских и казачьих депутатов, но свою вину не признал. В выступлении на суде Троцкий заявил, что "Щастный настойчиво и неуклонно углублял пропасть между флотом и Советской властью. Сея панику, он неизменно выдвигал свою кандидатуру на роль спасителя. Авангард заговора — офицерство минной дивизии — открыто выдвинуло лозунг "диктатура флота"".

21 июня Щастный был приговорен к расстрелу. Это был первый смертный приговор после восстановления декрета о смертной казни, принятого 13 июня 1918 года. Члены президиума ВЦИКа левые эсеры ходатайствовали об отмене приговора, но большинством членов президиума он был утвержден. В одной из предсмертных записок Щастный писал: "В революции люди должны умирать мужественно. Перед смертью я благословляю своих детей Льва и Галину, и, когда они вырастут, прошу сказать им, что иду умирать мужественно, как подобает христианину".

Каких-либо конкретных доказательств заговорщической деятельности Щастного на суде представлено не было. По всей вероятности, здесь сказался страх большевистских вождей перед грядущим бонапартом — популярным военным вождем, который свергнет революционное правительство военной силой и установит собственную диктатуру. Щастный, популярный среди матросов, стал безвинной жертвой этого страха. В приговоре отмечалось, что трибунал "признал доказанным, что он, Щастный, сознательно и явно подготовлял условия для контрреволюционного государственного переворота, стремясь своею деятельностью восстановить матросов флота и их организации против постановлений и распоряжений, утвержденных Советом Народных Комиссаров и Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом. С этой целью, воспользовавшись тяжким и тревожным состоянием флота, в связи с возможной необходимостью, в интересах революции, уничтожения его и кронштадтских крепостей вел контрреволюционную агитацию в Совете комиссаров флота и в Совете флагманов: то предъявлением в их среде провокационных документов, явно подложных, о якобы имеющемся у Советской власти секретном соглашении с немецким командованием об

уничтожении флота или о сдаче его немцам, каковые подложные документы отобраны у него при обыске; то лживо внушал, что Советская власть безучастно относится к спасению флота и жертвам контрреволюционного террора; то разглашая секретные документы относительно подготовки на случай необходимости взрыва Кронштадта и флота; то ссылаясь на якобы антидемократичность утвержденного СНК и ЦИКом Положения об управлении флотом, внося, вопреки этому Положению, в Совет комиссаров флота на разрешение вопросы военно-оперативного характера, стремясь этим путем снять с себя ответственность за разрешение таких вопросов; то попустительствовал своему подчиненному Зеленому в неисполнении распоряжений Советской власти, направленных к облегчению положения флота, и замедлил установление демаркационной линии в Финском заливе, не исполняя своей прямой обязанности отстранения таких подчиненных от должности; то под различными предлогами на случай намеченного им, Щастным, переворота задерживал минную дивизию в Петрограде; и всей этой деятельностью своей питал и поддерживал во флоте тревожное состояние и возможность противосоветских выступлений. Принимая во внимание, что вся эта деятельность Щастного проявлялась им в то время, когда он занимал высокий военный пост и располагал широкими правами во флоте Республики, Трибунал постановил: считая его виновным во всем изложенном, расстрелять. Приговор привести в исполнение в течение 24 часов". Реабилитировали Алексея Михайловича Щастного только в 1995 году.

Коллонтай поселилась в Царском Селе. Миша устроился работать в "детских общественных учреждениях", которые курировала первая жена Луначарского Анна Александровна Малиновская, сестра видного философа Александра Александровича Богданова-Малиновского. А ее помощницей была вдова Владимира Коллонтая Мария Скосаревская. "Только бы подольше не видеть Павла!" — записала Александра в дневнике. И там же она призналась, что Царское Село ей очень нравится: "Я не знала, что Царское Село так полно красоты и поэзии. Дворец Екатерины, ее личные комнаты и половина императора Александра I — это же чудо красоты, вкуса, изящества. А парк! Царское вполне может соперничать с Версалем и затмевает Потсдам. Мне все мерещится молодой Пушкин в тенистых аллеях парка. <…> Но то, что строили последние цари, скучно и безвкусно".

Она жила во дворце Екатерины Великой, гуляла по аллеям дворцового парка. Сын жил в одном из флигелей. Но Александра стала тосковать без Павла.

Между тем в Петроград из Москвы приехал на несколько дней Маслов, вернувшийся из эмиграции весной семнадцатого и с тех пор не имевший встреч с бывшей любовницей. От Зои он узнал, что Шура в Царском, и позвонил. Но разговора не получилось.

6 июля 1918 года левые эсеры убили германского посла Мирбаха и подняли восстание в Москве против Брестского договора, надеясь или свергнуть большевиков, или перетянуть их на свою сторону. Но они действовали нерешительно. Большевикам удалось арестовать фракцию левых эсеров на V съезде Советов в Большом театре, так что восставшие были лишены многих авторитетных вождей. Троцкий вызвал из-под Москвы два латышских полка, сохранивших верность Ленину, и 7 июля восстание было полностью подавлено.

После левоэсеровского восстания в Москве 6 июля был арестован один из его руководителей Вячеслав Александрович Александрович. Дзержинский требовал его немедленного расстрела. Александровичу было предъявлено обвинение в организации восстания против советской власти и аресте М. Лациса, а также в отдаче приказа об аресте члена Коллегии ВЧК Я. Петерса. В ответ он заявил: "Все, что я сделал, я сделал согласно постановлению Центрального комитета партии левых социалистов-революционеров. Отвечать на задаваемые мне вопросы считаю морально недопустимым и отказываюсь". Славушку расстреляли уже в ночь на 9 июля. Троцкий 10 июля так отозвался об Александровиче: "Я его знал и, когда встречался с ним, никогда не спрашивал, левый он эсер или большевик. Он был авторитетный член комиссии, и это было достаточно. Эта Комиссия была одним из важнейших наших органов, боевым органом, направленным против контрреволюции. И так как контрреволюция давно уже хотела учинить покушение на графа Мирбаха, то комиссия имела свои задачи расследовать это дело, ибо мы обязаны охранять личность представителей иностранных держав, точно так же мы охраняем американских и английских послов, ибо они находятся под протекторатом государства, взявшего на себя обязанность их охранять. Покушение против представителей иностранных держав есть угроза миру и подрыв авторитета Советской власти. Александрович занимался расследованием монархических нитей заговоров против Мирбаха. Он работал рука об руку с Дзержинским, ему доверяли, и он делает эту Комиссию органом убийства графа Мирбаха, он похищает 500 000 рублей и передает левоэсеровскому ЦК на организацию восстания. Он был революционер, и мне рассказывали, что он умер мужественно, но здесь дело идет не о

личной оценке, а о долге власти, которая хочет существовать. Он должен понять, что товарищ Председателя Комиссии по борьбе с контрреволюцией не может допускать превращения аппарата Советской власти в орудие восстания против нее, не может взять деньги этой власти для организации восстания, арестовать ее представителей. А он арестовал Дзержинского, своего ближайшего начальника, который доверял ему. Большего вероломства (правда, продиктованного дисциплиной партии) — большего вероломства и большего бесчестия нельзя себе представить".

Между прочим, 14 апреля 1998 года, в соответствии с заключением Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 14 апреля 1998 года, на основании п. 3 ст. 5 Закона РСФСР "О реабилитации жертв политических репрессий" Александрович был реабилитирован в связи с тем, что "никаких доказательств совершения Александровичем каких-либо противоправных действий против советской власти и революции в деле не имеется. Сведений о подготовке террористического акта над Мирбахом Александрович не имел, а заверение удостоверения от имени Дзержинского, дающее полномочия Блюмкину и Андрееву на аудиенцию у посла Р. Мирбаха, не может служить основанием для привлечения Александровича к уголовной ответственности и его осуждению". Правда, не вполне понятно: а как быть с арестом Дзержинского? Впрочем, к тому времени, когда Александровича реабилитировали, Феликс Эдмундович превратился в очень плохого человека, и его арест вообще могли поставить Александровичу в заслугу.

А ведь Славушка был неравнодушен к Александре, даже предлагал связать их судьбы. Сын губернатора (его настоящее имя — Петр Георгиевич Дмитриевский, а фамилию Александрович он получил от отчима) в 1915 году бежал из ссылки в Иркутской губернии и под видом кочегара на русском судне добрался из Мурманска до Норвегии. Здесь он и встретился с Коллонтай. Она вспоминала: "Мы долго не знали, что он в буквальном смысле умирал с голода, он никогда не говорил о себе. При этом он первым шел на помощь нуждающимся товарищам, и его скромная комната служила пристанищем для всех, кто искал приюта или ночлега. Чтобы не быть в тягость, он поступил рабочим на завод. Рядом с ним за станком одно время работал беглый иеромонах Илиодор (друг Григория Распутина, превратившийся в его злейшего врага. — Б.С.). Но Александрович не подавал руки бывшему погромщику".

Меньшевик Николай Николаевич Суханов (Гиммер) писал: "Этот Александрович был всегда левым, даже весьма левым

эсером, находившимся в резко оппозиционном, можно сказать в революционном, настроении по отношению к собственному партийному большинству…Позицию тогдашнего эсеровского рабочего Петербурга представлял именно он, Александрович, в отличие от интеллигентских эсеровских кружков, которые быстро монополизировали партийную марку при помощи культурных сил, нахлынувших в партию после революции из радикального лагеря". Он оставался приверженцем террора. С партийным псевдонимом Пьер Ораж, с фальшивым паспортом на имя Федора Темичева он еще летом 1916 года нелегально вернулся в Россию и встретил Коллонтай в Петрограде уже в качестве члена исполкома Петроградского совета от левых эсеров, но вскоре его вынудило уйти из исполкома эсеро-большевистское большинство Совета.

Узнав об аресте Александрович, Коллонтай тут же поехала в Петроград и остановилась у Зои, которая жила в гостинице

"Астория", занимаясь эвакуацией в Москву правительственных учреждений. У нее был телефон спецсвязи, и Коллонтай, позвонив Дзержинскому, пыталась ему рассказать, какой хороший человек был его бывший заместитель. Это Феликс Эдмундович знал и сам и после подавления мятежа говорил об Александровиче: "…Права его были такие же, как и мои, имел право подписывать все бумаги и делать распоряжения вместо меня. У него хранилась большая печать… Александровичу я доверял вполне. Работал с ним все время в комиссии, и всегда почти он соглашался со мною, и никакого двуличия не замечал".

А на этот раз Дзержинский только сухо заметил: "Лучше вам, Александра Михайловна, не вмешиваться в эту историю. Мы уже вынесли приговор. Александрович расстрелян".

Коллонтай так прокомментировала эту фразу в дневнике: "Сознавать, что "мы" (то есть и я) (как член Президиума ВЦИКа, хотя на заседании, где утверждался приговор Александровичу, она не присутствовала. — Б.С.) подписали смертный приговор Славушке, было мучительно больно. <…> Провела с Зоей в ее комнате бессонную ночь. Нет больше нашего Славушки. Ведь он безумно хотел своим выстрелом разбудить немецкий пролетариат от пассивности и развязать революцию в Германии. <…> Под утро мы вышли на улицу. Светлая, бело-сизая ночь, любимая ночь в любимейшем городе, переходила в день, но Славушки уже нет и не будет. Милый мой Исаакиевский собор. Зеленый скверик. Пока пустынно. Скоро город заполнится спешащими по делам людьми. Кто и что для них Славушка? А ведь он жил и страдал за них! Сколько еще будет жертв ради нашего великого дела!"

Коллонтай вернулась в Царское, написала статью "Памяти

товарища Александровича" и наивно отправила ее в "Правду". Там, в частности, утверждалось: "Даже Троцкий признал, что Александрович умер мужественной смертью, как истинный революционер. Значит, есть что-то, что заставляет склонить голову перед его светлой памятью… Его заветная мечта сбылась: он умирал, как не раз говорил мне, с верой, что гибнет за свои принципы… Пусть мы и осуждаем террор, но моральный облик тех, кто беззаветно, во имя идеи интернациональной солидарности и ускорения мировой революции пожертвовал собою, остается чистым и незапятнанным. Такие бойцы навсегда с нами".

Разумеется, статью никто не напечатал, но рукопись сохранилась в архиве Коллонтай.

В дневнике Александра Михайловна так прокомментировала Красный террор: "Стреляют всех походя, и правых, и виноватых. <…> Конца жертвам на алтарь революции пока не видно". Но как будто невинные жертвы пока еще не слишком ее волновали, поскольку защита революции казалась важнее.

С Дыбенко они провели в Москве только два дня, но за эти два дня они успели вполне помириться и забыть все старые обиды. Исключенного из РКП(б) Павла отправили с "особым заданием" на Украину, занятую австро-германскими войсками. Он должен был организовать там партизанскую войну. Каменев передал слова Ленина, что лишь геройское поведение и исключительные заслуги перед революцией могут вернуть его в партию. Коллонтай отправили в текстильные районы (Кинешма, Орехово-Зуево и другие города) для выступлений на собраниях и митингах.

Дыбенко же свою миссию благополучно провалил, успев до ареста в Севастополе отправить Александре единственное письмо: "Дорогой мой голуб, милый мой мальчугашка, я совершенно преобразился, я чувствую, что во мне с каждой минутой растет буря, растет сила. <…> Я решил уехать для организации Крыма, первым делом еду в Одессу. Мой псевдоним Алексей Петрович Воронов. Милый мальчугашка, буд добра <…> через Чичерина достат паспорт на проезд через границу Явка: Одесса, Греческая, 14. Внизу спросит хозяина. Пароль: "Лошадь продается? <…>""

В Крыму, занятом немцами, Павел действовал столь же безуспешно и уже в августе был арестован в Севастополе.

Пытался бежать, но был пойман и в наручниках переведен в симферопольскую тюрьму, где просидел до тех пор, пока его не обменяли на пленных немецких офицеров. После освобождения сразу же отправился на Южный фронт бороться с Деникиным. Оттуда Дыбенко регулярно посылал жене солидные

продовольственные посылки, сопровождаемые записками примерно такого содержания: "Шура милая Тебе посылаются продукты которыми ты поделится с голодающими товарищами коммунистами твой друг Павел".

Шура с благодарностью отвечала: "Родной, опять ты балуешь меня, я получила гуся. Спасибо, спасибо! <…> Ну, мой милый, как живешь? Так хочется обнять тебя, приласкать, люблю нежно, многое хотела бы рассказать, но надо прервать, целую твою головушку родную. Напиши мне с оказией, милый, письмо. Хорошо что-нибудь знать друг о друге, чувствуй — в моем сердце всегда ты".

И тогда же Коллонтай восторженно писала: "Брак революционизирован! Семья перестала быть необходимой. Она не нужна государству, ибо отвлекает женщин от полезного обществу труда, не нужна и членам семьи, поскольку воспитание детей постепенно берет на себя государство".

Ее статьи регулярно печатались в "Правде", "Известиях", в других газетах. И столь же регулярно Александра Михайловна выступала на митингах. Бюрократическая же работа была, в сущности, не для нее, поэтому она, по всей видимости, не очень сожалела, что перестала быть наркомом госпризрения.

Коллонтай отмечала в дневнике: "Я пишу эти строки для себя, правдиво до дна. Пишу потому, что в вихре борьбы, строительства, среди гущи людской — я все же одна, очень одна… Я должна позволить себе роскошь поговорить сама с собою, будто говорю с другом. Доброты нет среди нас — вот что мне жутко. Кругом царит столько злобы! И будто каждый стыдится проявить сострадание, сочувствие, доброту… Доблесть быть жестоким. И сама я ловлю себя на том, что стыжусь по-рывов жалости, сочувствия, сострадания… Точно это измена делу! Точно проявить тепло, доброту — значит не быть хорошей, закаленной революционеркой!.. И все кругом такие же сухие, холодные, равнодушные к чужому горю, привыкшие не ценить человеческие жизни и как о самом пустом факте говорящие о казнях, расстрелах и крови…"

А.М. Коллонтай

30 октября 1918 года в вечернем выпуске "Известий" появилась ее статья "Старость — не проклятие, а заслуженный отдых": "В коммунистическом государстве не может и не должно быть места для бесприютной заброшенности и одинокой старости. И Советская республика декретом о социальном обеспечении от 1 ноября 1917 года признала, что государство берет на себя обеспечение работниц и рабочих, достигших возраста, когда трудоспособность падает, уменьшается…

Еще одна забота коммунистического государства — это организация общежитий для пожилых, отработавших свою долю рабочих и работниц. Разумеется, эти общежития не должны быть похожи на капиталистические богадельни-казармы, куда раньше посылали стариков и старух "помирать"… Старости близка природа с ее успокаивающей душу мудростью и величавой тишиной. Всего лучше организовывать такие общежития за городом, обеспечивая в них стареющим рабочим и работницам посильный труд…

Но где взять сейчас такие дома, здания, приспособления для намеченной цели? Дома, здания эти есть — это монастыри. Почему мы все еще опасливо ходим вокруг этих "черных гнезд"? Почему не как исключение, а повсеместно не используем эти великолепно оборудованные сооружения под санатории, под дома отдыха, под дворцы материнства?.."

И монастыри, равно как и уцелевшие помещичьи усадьбы, стали широко использоваться в качестве санаториев и домов

отдыха для трудящихся. А о том, что стало с бывшими обитателями монастырей и усадеб, Александра Михайловна предпочитала не думать.

Сталин советовал Коллонтай отправиться в Германию делать мировую революцию, поскольку "вас все там знают, у вас огромные связи, лучше вас с этим не справится даже Радек". Зафиксировав это предложение в дневнике, Александра Михайловна отметила: "Может быть, так и поступлю". Но в Германию не поехала, оставшись в своей комнате на Серпуховской улице. "Вчера чуть не уехала в Германию, — писала она Павлу, — задержалась только потому, что мало было времени сдать дела. Я и хочу ехать туда, и как-то больно отрываться от дома. Как будто буду дальше от тебя. Так все-таки есть надежда повидаться".

Сразу после Первого Всероссийского съезда работниц и крестьянок Александра писала Павлу: "Мой бесконечно, нежно любимый, <…> всю эту неделю я провела в безумной лихорадочной работе. Съезд удался лучше, чем можно было ожидать, хотя вначале были на меня нападения с тыла и истерики бабьи. <…> Когда работаешь, не чувствуешь так остро разлуки с тобой, но стоит работе оборваться, и на сердце заползает тоска. Не люблю я приходить в свою холодную, одинокую комнату холодной женщины. Я опять одна, никому не дорогая, будто снова должна бороться с жизнью, не ощущая ничьего тепла. Ты же далеко, мой мальчик, Павлуша мой дорогой. <…> Тревожусь, что ты так похудел, так хочется хоть письмо от тебя или краткую телеграмму. Приехала Зоечка, но хочется тебя, только тебя.

<…> Мой горячо, нежно любимый, на съезде петроградцы пересолили своей ненавистью ко мне и этим проиграли. Дошло до того, что сорвали со стены мой портрет. Работницы отнеслись к этому факту достойным образом, мне была устроена демонстративная овация. Но до чего же это все подло! <…>"

В следующем письме Коллонтай жаловалась на одиночество: "Не знаю, когда эти строки попадут тебе в руки. По бывают дни, когда неудержимо хочется говорить, беседовать с гобой. Мысленно я часто рассказываю тебе все свои беды и радости и стараюсь угадать, что с моим большим и маленьким другом. Везде ты, и только ты, ведь ты же мой мальчик. Словами все равно не скажешь тебе, как люблю тебя. Сегодня мне особенно не хватает тебя и хочется забраться к тебе на колени, спрятаться в твоих объятиях, чувствовать себя маленькой-маленькой, ощущать, что ты не даешь обидеть мальчугашку. <…> Ты думаешь, что мальчугашка совсем глупый и капризный? Нет, он не всегда такой, много воюет и много работает, но, когда кругом столько

много мелких уколов, так трудно прийти домой в одинокую комнату, некому слова сказать, никому до тебя дела нет, никому ты не дорога. <…>

Нужна Александра Коллонтай, а маленькая Коллонтайка — кому она дорога? И вот тогда так хочется быть ближе к тебе. После мучительно трудного дня прилягу, засну и вдруг сразу проснусь — мучаюсь, мучаюсь, лежу в темноте, а сердце ноет, ты, такой близкий, с которым мы пережили такое яркое животворное счастье, ты уже пресытился им, и мальчугашка тебе не самое нужное и дорогое в жизни. И думаешь, думаешь до рассвета. <… > Но важно другое: мы с тобой крепкие, крепкие товарищи, правда?

<…> Завтра еду на 3–4 дня в Петроград, хочу повидать Мишу Зою и Танечку <…> Как мало людей — коммунистов, как я понимаю это слово! Помнишь поездки в Кронштадт, звездное небо, темный, душный театр, полубессонная ночь в холодной комнате, как это было прекрасно, как все это близко и далеко <…>".

Коллонтай информировала Дыбенко и о том, как продвигается вопрос о его восстановлении в партии: "Сегодня удалось по-товарищески поговорить с Каменевым, который, несомненно, хорошо относится к нам обоим. От него узнала следующее: вопрос, который нас с тобой интересует, был поставлен самим В.И. на заседании ЦК, причем В.И. внес предложение аннулировать былое постановление [об исключении Дыбенко из партии], но большинством двух голосов рассмотрение вопроса было отложено до получения сведений о работе того лица, о котором шла речь [то есть о Дыбенко]. Каменев советует, чтобы ты посылал краткие извещения в ЦК: по моему почину в таком-то месте сделано то-то, например, выпущена газета, создана комячейка и т. д. Посылай хоть раз в неделю, я буду следить <…>".

А вскоре произошла долгожданная, хоть и короткая, встреча, зафиксированная в дневнике Коллонтай: "29 декабря 1918 г. Ворвался Павел, привез выкраденные у белогвардейцев документы — и снова уехал на фронт. Я была с ним у Свердлова — гот остался доволен докладом и сказал, что вопрос о восстановлении в партии будет поставлен в ближайшее время".

Новый год Шура и Павел встречали вместе с военными в бывшем охотничьем клубе. Хрустальные люстры и золотая лепнина сочетались с более чем скромным праздничным ужином: пустой суп, котлеты из картофельной шелухи, ломоть черного хлеба с сыром, яблочный чай с куском сахара. Дыбенко с Коллонтай внесли самый шикарный пай: бочонок красной икры.

На каждого хватило по нескольку икринок. Зато самогона было с избытком. "Много прежних офицеров, вытащенных Троцким, — отмечала Коллонтай в дневнике, — во френчах, но без погон. У дам нарядные платья, которые за границей носили в 15—16-м годах: узкие к низу юбки и низкая талия…" По поводу того, что были только друзья Павла, а не ее, Александра Михайловна философски заметила: "Может, и к лучшему… Сегодня я не мудрая Коллонтай, а влюбленная девчонка, которая пользуется взаимностью своего избранника".

Правда, о Павле и его друзьях Александра порой отзывалась весьма нелицеприятно. "В одном из домов Советов проживали в частице своей прежней квартиры престарелый князь Волконский с семьей и старик восьмидесяти лет граф Ливен, — вспоминала она. — Кажется, их снабдил ордером Енукидзе. Помогло частное знакомство, а может быть, понял, что суть гражданской войны не в том, чтобы гнать аристократов с квартир, лишая их всякого крова. Но наши красные генштабисты — Павел и компания — это разузнали. И вот они решили, человек пять-шесть молодых, холостых людей, притом лишь временно проживающих в Москве, "выселить графов" и занять их квартиру… Особой надобности в этой квартире у генштабистов не было. Но из "пришита" и ради спорта решили "допечь" графов и князей: что, мол, их селят в советских домах? И добились! В двадцать четыре часа семью престарелых людей выбросили. Куда? Не знаю. А победители, начдивы и начбриги 22–28 лет, въехали в "роскошные комнаты", и им все налицо — и белье, и посуда… Ну зачем, зачем это? И теперь, не проживши и месяца, они, эти победители, уехали на фронт. К чему отравили жизнь семье?.. Это дико, не нужно, а проистекает все из того же — из отсутствия доброго чувства к людям, отсутствия добра, какой-то моральной тупости. И Павел их еще поощрял!.."

А в 1919 году Александра записала в дневнике, как ей жалко несчастных крестьян, посаженных в концлагерь: "Недоуменный вопрос: за что? Долго ли? И будто видишь отражение полей, избенку, корову… У меня к сердцу подступают ненависть, гнев, досада бессилия… У меня нервный криз… На другой день встала с решением — добьюсь их освобождения. Кинулась туда, сюда, по инстанциям — заторы. Пошла "по знакомству". К Надежде Константиновне — расписала, убедила. Обещала вступиться…

Пошла к Ленину. Через два дня приказ: выпустить 260 человек. Крестьянок! К чему же законы и правила? Кумовство всего проще… Тошно и стыдно… Стыдно и горько…"

Так Коллонтай удалось убедить Ленина освободить триста арестованных крестьянок, обратившихся с "мольбой" к Коллонтай,

которая "лучше всех на свете понимает женщину-мать и женщину-жену".

Но присущее советской власти буквально с первых дней беззаконие Александру тревожило. Даже добрые дела можно было делать только по знакомству, а не по закону. Но она еще не могла предвидеть, в какой беззаконный террор это выльется.

1 января 1919 года Дыбенко отправился на фронт, и вопрос о его партийности решался заочно. 3 января на заседании ЦК исключение из партии признали аннулированным. Восстановление сочли, было полным, без перерыва партийного стажа. Отныне Павел даже не должен был писать в анкетах, что когда-либо исключался из партии. Александра ликовала, что отразилось в письме мужу: "Павлуша мой, бесконечно любимый! Прежде всего о делах. Посылаю тебе постановление партии. <…> Счастлива за тебя безмерно. <…> Успеха тебе во всем, во всем, мое сердце с тобой, с тобой, шлю тебе все, все мое тепло, мою неизменную нежность, если б ты знал, как много ты в моих мыслях и как неизменно и крепко в моем сердце. Обнимаю тебя, мой милый. <…> Вместе с постановлением партии к тебе летит мое сердце. Твой Голубь". А вот в дневнике несколькими днями позже она высказалась о Павле Ефимовиче весьма критически: "Дыбенко — несомненный самородок, но нельзя этих буйных людей сразу делать наркомами, давать им такую власть. Они не могут понять, что можно и что нельзя. У них кружится голова. Это я все говорила Ленину. Свердлов не скрывает своей антипатии к такому "типу", как Павел, и Ленин, по-моему, тоже". Но в следующем письме опять писала: "От Павла нежное письмо, и сердце полно тепла и нежности к нему, к моему большому ребенку-мужу. Все существо мое трепещет. У него уже опять трения с комиссарами, он не может найти с ними общий язык. Придется разъяснять ему его ошибки. <…> На Украине бои. Мои милый, милый! Странно, что я никогда не опасаюсь за его жизнь. У меня одна забота: чтобы он проявил себя дисциплинированным партийцем. <."> От Павла привезли с Украины хлеб, колбасу и повидло. Он там командует батальоном. Отзывы о нем хорошие <…>".

Дыбенко командовал Особой группой войск, наступавшей иа Екатеринослав против войск Украинской Народной Республики Симона Петлюры. 16 января Александра отметила в дневнике: "16 января. От Павла нежное письмо, и сердце полно нежности к нему, к моему большому ребенку-мужу. У него уже опять трения с комиссаром. Всегда я за него трепещу. Еще далеко не залечилась рана от всего пережитого во время суда… Странно, что я никогда не опасаюсь за его жизнь. У меня одна забота: чтобы он проявил

себя дисциплинированным партийцем. Как бы опять чего-нибудь не натворил своей неукротимостью и чрезмерным усердием, а иногда и просто — как бы не наговорил глупостей…"

После убийства Карла Либкнехта и Розы Люксембург Коллонтай записала в дневнике: "Любимый Карл! Ты останешься нашим социалистическим святым. <…> О тебе скорбит весь русский пролетариат…

Думаю о будущем. Нашим следующим кумиром после Ленина станет какой-либо великий изобретатель в области техники, физики или химии, который перевернет все социальные взаимоотношения и сведет физический труд к минимуму".

Газеты сообщили, что Дыбенко "с исключительной храбростью вел свои части", взявшие Екатеринослав. Ему был обещан отпуск в Москву на несколько дней, но Троцкий, наоборот, предложил Коллонтай его навестить. Как раз был подготовлен спецпоезд с делегацией, которой предстояло создавать на Украине советское правительство, Красную армию. Начальником поезда был Николай Подвойский. 11 февраля Коллонтай записала в дневнике: "Получила разрешение от партии на два дня съездить в Екатеринослав навестить Павла… Поезд, ты злостный вор… Ты крадешь у мены часы свидания с Павлом. Говорят, нет топлива… На станциях ужасные картины. Люди спят на голом полу. Кошмар… Оттепель. Снег лежит, но весь талый, грязный. Люди спят прямо в лужах, и никто не следит за порядком… Ничего подобного я в своей жизни не видела…" 19 февраля последовала следующая запись: "Харьков. Вагон особой группы штаба Дыбенко. Промелькнули эти четыре ярких, светлых дня, полные новых впечатлений. Работа сплеталась со счастьем свидания с Павлом. Почти пять дней счастья, вырванных из обычной работы. Они стоили того, чтобы преодолевать все эти мелкие трудности и препятствия путешествия…

Павел за мной выслал паровоз и вагон в Лозовую. Вагон разделен на две половины. За перегородкой постель и умывальник, спереди ковер, стол и самовар. Адъютант Дыбенко объясняет мне, что это постель бывшего архиерея. Стол накрыт красным сукном. Очень тепло, а на столе масло, булки…

На перроне в Екатеринославе меня встречают несколько официальных лиц с цветами. Не столько встречают меня, сколько жену командира. Здороваюсь с Павлом официально, за руку. И так о нас много шума…

За пять дней Екатеринослава — восемь больших митингов. Но я не устала. Выступала также на съезде. Почему-то мне при Павле трудно говорить. Точно я — не совсем я. А Павел после моего выступления на съезде не преминул сказать:

— Ты сегодня хуже говорила, чем всегда…

Много рассказывают о том, как Павел под огнем штурмовал мост. Но мне неприятно, что я здесь не столько Коллонтай, сколько жена Дыбенко. Павел уговаривает меня перейти на работу на Украину, Нет, не годится. Что будет тогда с А. Коллонтай? Я окажусь только при Дыбенко. Но вместе с тем я горжусь и радуюсь его успехам. Только бы он удержался на правильной линии. Спрашиваю адъютантов, пьет ли Павел. Они уверяют, что не пьет, но ведь друзьям верить нельзя.

Павел бесконечно рад моему приезду. Он прямо говорит:

— Если бы ты не приехала, а они бы меня не отпустили отсюда, я бы уехал в Москву, не спросившись. Я больше не могу жить без тебя…

Павел раньше меня уехал из Екатеринослава прямо на передовые позиции, и, когда мы прощались, у него были такие добрые и несчастные глаза. У меня защемило сердце. И все-таки это большое счастье — наша любовь и наши встречи".

Коллонтай в революции была важна не власть, а общественное внимание к собственной персоне. Она понимала, что на Украине она окажется в тени Дыбенко, потому и не очень стремилась там работать. В Москве и Петрограде у нее была куда большая популярность.

Вместо разрешенных двух дней Шура провела с Павлом пять. Тот все время пререкался с главой советского правительства Украины болгарином Христианом Раковским, а Коллонтай Раковского неожиданно поддержала. Тот в ответ предложил ей пост украинского наркома, но тогда она предложение не приняла. Но потом, вернувшись в Москву, решила его принять, чтобы быть поближе к любимому Павлу.

Дыбенко жил в квартире, брошенной каким-то состоятельным харьковчанином, бежавшим от большевиков. "Странно, — признавалась Александра в дневнике, — в этой покинутой буржуазией квартире я сразу почувствовала себя, как дома. Все для удобства: ванна с горячей водой, уютная постель, красиво сервированный стол. Прекрасные продукты. И это после московской пытки!" Однако Дыбенко давал серьезный повод для ревности, поскольку в квартире имелись еще две женщины, об отношениях которых с ее мужем Коллонтай не строила иллюзий: "Такие и раньше бывали при полках — она в курсе всех военных дел. Но в качестве кого она здесь находится?" Павел на этот вопрос не отвечал, только отмахивался, и это еще больше усиливало подозрения, переходящие в уверенность.

28 февраля 1919 года Коллонтай и Дыбенко общались по прямому проводу:

"Вчера говорила со Свердловым относительно моего перехода на Украину. Решено, что я еду туда, переговорив с Пятаковым, как целесообразнее использовать мои силы. Посылаю письмо Пятакову. Могу приехать после нашего партийного съезда. Если бы потребовалась экстренно моя работа, то смогу выехать и раньше, однако восьмого я должна быть в Москве на праздновании Дня работниц…

— Завтра переговорю с Пятаковым и Затонским, — ответил Дыбенко. — Передам ответ вечером. Если можешь, приходи к аппарату.

— Завтра буду в одиннадцать часов вечера у аппарата, — обещала Коллонтай. — С Яковом Михайловичем говорили относительно комиссариата труда. Прими это во внимание при разговоре с Пятаковым. Но предложение Якова Михайловича для меня неприемлемо. Я бы взяла работу только при предоставлении мне полной инициативы. Но не в качестве помощника. Вам виднее, что сейчас требуются люди с инициативой.

— Хорошо, до свидания, до завтра.

— Очень хорошо, что ты меня сегодня вызвал…"

3 марта Дыбенко продиктовал сводку, которую Коллонтай тотчас направила в газеты: "После упорного боя красные войска подошли к городу Херсону и обстреливают город из тяжелых орудий. Немцы (имеются в виду местные немцы-колонисты. — Б.С.) и греки панически бежали. Французы отказались принимать участие в бою. Англичане во время боя не замечены. Немецкий бронепоезд, шедший из Николаева в Херсон, сбит нашей артиллерией и свален с рельс. Вокзал и депо Херсона горят. Наши конные разведчики ворвались в город, бой завязался на улицах".

Александра отвечала: "Твои оперативные сводки регулярно передаю в наши газеты. Наши очень радуются таким свежим и утешительным новостям. Пресненский район вынес тебе благодарность за муку, а теперь Замоскворецкий район просит: не дашь ли ты муки детям?

Дыбенко:

— Могу послать. Колоссальные запасы хлеба имеются. Но вывоз его зависит теперь всецело от Центра. Нужны маршрутные поезда. Поговори с Владимиром Ильичем. Я только могу послать как подарок от Красной армии.

Коллонтай:

— Завтра же поговорю с Владимиром Ильичем. Сделаю все возможное, чтобы добиться разрешения на маршрутные поезда. А ты со своей стороны, если нельзя иначе, пошли хлеб Пресненскому району именно как подарок Красной армии. У меня других новостей нет. Вызовешь меня завтра? Удобнее

позднее. Или рано утром.

Дыбенко:

— Утром я буду у товарища Антонова и товарища Подвойского. Вечером могу вызвать — около двенадцати.

Коллонтай:

— Хорошо, буду около двенадцати. До свидания, милый Павел!"

В марте 1919 года в Москве прошел 1-й Учредительный конгресс Коммунистического интернационала (или 3-го Интернационала). Коллонтай на нем была делегатом от РКП(б). Вот какие впечатления от конгресса она занесла в дневник: "В первый вечер все шло по-семейному, — продолжала Коллонтай. — Было человек 20–25, из настоящих иностранцев приехали Платтен, немец Альбрехт и норвежец Станг. Остальные — самодельные иностранцы вроде Ротштейна (имеется в виду Федор Аронович Ротштейн, уроженец Ковно, который еще в 1890 году 19-летним эмигрировал в Англию, где активно участвовал в местном социал-демократическом движении. Параллельно в 1901 году он вступил в РСДРП, где примкнул к большевикам. В Коминтерне же он представлял компартию Англии. — Б.С.) <…> Ни по одному вопросу разногласий не было. Тон задавали наши".

7 марта Коллонтай записала свою речь на граммофонную пластинку: "Большевистская зараза свободно гуляет сейчас по Германии, нет от нее спасения, нет защиты! Ею заражены уже войска французов, от нее не уберегли английские генералы своих матросов и солдат! Плохо ваше дело, господа мировые хищники! Рабочий народ подымается, рабочий люд понял, что спасение его в коммунизме. <…> Дрожите, грабители! Ваш час пробил".

А 22 марта Александра Михайловна выступала на 8-м съезде РКП(б) с докладом "О работе среди женщин". Она призывала: "Не забудьте, что революция сейчас глубоко коснулась устоев семьи. Семья разрушается на наших глазах, и от этого страдают более всего дети и женщины… Нам необходимо сейчас идти на помощь уничтожающемуся на наших глазах непроизводительному домашнему хозяйству, заменяя его сетью потребительских коммунистических учреждений. Не бойтесь, будто мы сознательно разрушаем дом и семью, не думайте, что женщина так крепко держится за свои ложки, плошки и горшки. Наоборот, когда мы идем с агитацией на фабрики и заводы и говорим: "Стройте общественные столовые и общественные прачечные", женщины не дают нам прохода и требуют, чтобы мы немедленно осуществили намеченный план. Если мы разъясняем значение социалистического воспитания, говоря, что такое детские колонии, трудовые коммуны, матери спешат к нам с детьми,

несут их нам в таком количестве, что мы не знаем, куда их поместить… Надо идти навстречу этому стремлению работниц и крестьянок к своему полному раскрепощению. Работница должна перестать быть хозяйкой на дому, выполняющей непроизводительный домашний труд, она должна внести свою лепту в общенародное хозяйство… должна перестать заниматься детьми".

По ее мнению, женщина "должна соблюдать все предписания гигиены в период беременности, помня, что в эти месяцы она перестает принадлежать себе, она на службе у коллектива — она "производит" из собственной плоти и крови новую единицу труда, нового члена трудовой республики…"

Александра очень хотела освободить женщину от всех тягот: "Стонет работница под семейным ярмом, изнемогает она иод тяжестью тройных обязанностей: профессиональной работницы, хозяйки и матери".

Коллонтай верила, что задача женщины — только родить ребенка, а все заботы о появившемся на свет младенце обязано взять на себя государство: "Снять с матерей крест материнства и оставить лишь улыбку радости, что рождает общение женщины с ее ребенком, — таков принцип Советской власти в разрешении проблемы материнства".

Затем Коллонтай вновь уехала на Украину с пропагандистской миссией в Донбасс, договорившись, что по возвращении начнет работать в Коминтерне. Там должны были очень пригодиться ее знание многих европейских языков и контакты с европейскими и американскими социал-демократами. Правда, главой Коминтерна стал Григорий Зиновьев, которого Александра терпеть не могла, и он платил ей той же монетой. Она записала в дневнике: "Зиновьев определенно не хотел, чтобы я работала в III Интернационале, хотя Владимир Ильич меня предлагал туда. С Зиновьевым у нас острые взаимоотношения еще с Октября. Он не прощает мне, что я тогда его разоблачала за трусость и организовывала "поход" к нему работников с запросом. Да и Лилина (жена Зиновьева. — Б.С.) меня за это не терпит".

А вот еще одна запись из дневника, посвященная Зиновьеву: "Была у Зиновьева. Характерна фраза Зиновьева: "Они все жалуются на голод! Преувеличивают! Все прекрасно одеты. Просто они (кто они? рабочие?) привыкли, что, когда они вопят, мы сейчас забеспокоимся и сделаем для них все. Набалованность!" Ну и язык! И кто такие эти "мы и они"? Впрочем, у меня от Петрограда именно такое жуткое впечатление… Не жаль мне прошлого

Петрограда — барства и нищеты. Я тот ненавидела. Но не

люблю и этого города новых властителей, где убиты инициатива масс, ее самодеятельность, где есть "мы" и "они" и где царят взаимная ложь, недоверие, фиглярство верхов и подобострастие, страх низов… Это о Зиновьеве".

С собой в поездку Колонтай взяла сына, чтобы "увидел реальную жизнь и приобщился к борьбе за дело революции". Ехали вместе с украинскими наркомами в спецвагоне первого класса. В Курске и на подъезде к Харькову поезд обстреляли, но никто не пострадал. К тому времени в квартире Павла осталась только одна девица, маскировавшаяся под горничную. Ее Александра тотчас выгнала.

Штаб Заднепровской стрелковой дивизии, которой командовал Дыбенко, перешел в Александровск. Коллонтай поехала с ним. Вот что она записала в дневнике на новом месте: "Пишу в садочке за домом. Тихо, цветут вишни. Думаю о Москве. Как это все далеко: заседание в Кремле, митинги, съезды. <…> На местах не исполняют указаний Ленина. Что сказал Ленин о середняке? С годок будем с ним поосторожнее, а там, если надо будет, скрутим по-своему. Как всегда, ясно и мудро. А тут действуют грубо, оголтело. Результат плохой. <…> К Павлу здесь почему-то недружелюбное отношение, а Ленин передавал ему привет. Странно все это, очень странно".

В захолустном Александровске ей было скучно, одиноко и тоскливо. Она писала Зое: "Недавно на вечеринке один товарищ сел за рояль, играл Шопена. А будут ли будущие поколения любить Шопена? Люди воли, борьбы, действия, смогут ли они наслаждаться размагничивающей лирикой Шопена, этим томлением души интеллигентов конца XIX и начала XX века? Полюбят ли 17-ю прелюдию или 4-й вальс те, кто победит капитализм и культуру эксцентричного буржуазного мира? Едва ли… Мне не жалко Шопена, пусть его забудут, лишь бы дать трудовому человечеству возможность жить, как подобает Человеку с большой буквы. А культурные ценности мы сами создадим — не сентиментальные и плаксивые, а новые, бодрые".

К Коллонтай обратился проживавший в Полтаве писатель Владимир Короленко, когда-то с ней переписывавшийся. Поводом стал исключительно высокий процент евреев в ЧК, что порождало массовую юдофобию, ложившуюся на давние антисемитские настроения. Узнав о том, что в отместку за чекистские зверства толпа линчевала пи в чем не повинную еврейскую семью Столяревского, Короленко обратил внимание Коллонтай на необходимость обуздать чекистский произвол и понизить среди них долю представителей некоренных национальностей. Коллонтай Короленко не ответила. Террор она считала

необходимым и неизбежным и сознавала, что других чекистов у советской власти нет. А юдофобство считала еще одним "буржуазным пережитком" и проявлением черносотенства.

Весной 1919 года дивизия Павла Дыбенко вошла в Крым. Его наградили орденом Красного Знамени за то, что "в период боев с 25 марта по 10 апреля 1919 года под городами Мариуполь и Севастополь он, умело маневрируя частями вверенной ему дивизии, лично руководил боем, проявил истинную храбрость, мужество и преданность делу революции; своим примером воодушевлял товарищей-красноармейцев, способствовал занятию вышеуказанных пунктов и полному уничтожению противника на северо-восточном побережье Черного и Азовского морей".

Между тем 31 марта 1919 года погиб брат Павла Дыбенко Федор, бывший прапорщик царской армии, начальник 42-й советской стрелковой дивизии. Когда конница генерала Шкуро смяла 374-й полк его дивизии, Федор Дыбенко пытался остановить его, но был убит бегущими красноармейцами.

Когда Дыбенко перевели в Крым, Коллонтай возглавила Наркомат агитации и пропаганды Крымской советской республики, а также политический отдел Крымской армии, которой командовал Дыбенко. Павел стал наркомом по военным и морским делам Крымской республики, а его дивизия — Крымской Красной армией. "Я помогу Павлу, — записала Александра в дневнике. — Он недисциплинирован, самолюбив и вспыльчив". Впрочем, тогда советская власть в Крыму продержалась недолго. Крымская советская социалистическая республика, председателем Совнаркома которой был брат Ленина Дмитрий Ульянов, просуществовала с 28 апреля по 26 июня 1919 года. Коллонтай вместе с Дыбенко пришлось спешно бежать под натиском войск генерала Деникина. Коллонтай стала автором следующего приказа Совета обороны Крымской республики: "Совет обороны доводит до сведения, что все служащие, безотносительно к их партийной принадлежности, которые своим отсутствием на месте службы нарушают нормальный ход жизни, будут считаться дезертирами и как таковые будут преданы военно-полевому суду, а также все граждане, распространяющие провокационные слухи, будут наказаны по всей строгости военно-революционных законов, вплоть до расстрела". Не то чтобы Александра отличалась особенной жестокостью среди других большевистских лидеров. Террор был для нее, как и для других большевиков, необходимым и действенным средством борьбы.

Вскоре из Симферополя Коллонтай пришлось отправиться на Южный берег подыскать подходящий санаторий для сестры Ленина Марии. А Дыбенко отправился на фронт и попросил

собрать ему вещички. Проверяя, на месте ли носовой платок, Александра нащупала в кармане френча два письма. Съедаемая ревностью, она прочла их. Это оказались банальные любовные письма, адресованные Дыбенко. Одно письмо кончалось: "…твоя, неизменно твоя Нина". Другое — тоже любовного содержания — написано до боли знакомым почерком, только подпись была неразборчива. Было еще и третье, недописанное, письмо, оно лежало в том же кармане — начало ответа Павла: "Дорогая Нина, любимая моя голубка…" Александра ничем не выдала себя — лишь переложила письма из внутреннего кармана френча в наружный: чтобы заметил. И ушла.

"Умом понимаю, — написала она в своем дневнике, — а сердце уязвлено. Самое больное — зачем он назвал ее голубкой? Ведь это же мое имя! Он не смеет его никому давать, пока мы любим друг друга. Но… Выпрямись, Коллонтай! Не смей бросать себя ему под ноги! Ты не жена, ты человек!"

Дома ее ждала записка: "Шура, я иду в бой, может, не вернусь. Моя жизнь, как и всех нас, нужна республике. Помни, что ты для меня единственная. Только тебя люблю. Ты мой ангел, но ведь мы с тобой месяцами врозь. Вечно твой Павел".

А Зое Шадурской жаловалась: "Главное сознание: неужели Павел разлюбил меня как женщину? Самое больное было, что его письмо к этой девушке, или женщине, начиналось: "Дорогая Нина, любимая моя голубка…" Зачем он назвал ее голубкой, ведь это же мое имя? Он не смеет его никому давать, пока мы друг друга любим. Но, может быть, это уже конец? Ты скажешь, Зоюшка: "Тем лучше, твоя жизнь с Павлом — сплошная мука. Ты к нему приспособляешься, ты себя забываешь, ты теряешь свой облик ради него. Выпрямись, Коллонтай, не смей бросать Коллонтай ему под ноги. Ты не жена, ты человек".

И 14 июня Александра продолжила изливать душу подруге: "А я-то думала, что во мне атрофировано чувство ревности! Очевидно, это потому, что раньше я всегда умела уйти прежде, чем меня разлюбят. Страдали другие, а уходила я. Иногда жалела того, которого раньше любила, и все же уходила. А теперь, видимо, Павел уходит от меня. Ночью написала ему длинное-предлинное письмо и, конечно, утром разорвала. Все во мне бурлит…

Это все еще во мне сидит проклятое наследие женщины прошлого. Пора призвать Коллонтай к порядку. Ведь и в Крым попала только для Павла, Не хочу быть женой! Пусть это будет мне уроком, и хорошим, заслуженным. Так тебе и надо, Коллонтай.

Не сворачивай своего знамени человека-работника, не

становись чьей-то женой".

А на фронте положение становилось все хуже и хуже. Александра записала: "Звонок от Раковского из Харькова. Идут бои. Стараемся продержаться. Павел, как всегда, в первых рядах. Где же братская рука пролетариев Франции, Англии? Могли бы ударить в тыл Антанте. Неужели пролетарии еще верят в эту комедию Мирного конгресса, который сейчас проходит в Париже? Но все же больше меня мучает ревность. Я думала, что это чувство во мне атрофировано. Видимо, потому, что раньше всегда уходила я, а страдали другие. А теперь Павел уходит от меня. Ночью написала ему длинное письмо, утром разорвала. Как в такие дни можно думать о ревности? Видимо, во мне все еще сидит проклятое наследие женщины прошлого. Пора призвать Коллонтай к порядку. Ведь и в Крым я попала только для Павла. Не хочу быть женой! Так тебе и надо, Коллонтай!"

На Южном берегу Коллонтай порадовали красоты природы и огорчила ненависть местного населения. Она отразила все это в следующей записи 17 июня: "Начало пути: Гурзуф. Все дышит Пушкиным и напоминает о нем. Мирная, чудесная ночь. Кипарисы, пирамидальные тополя — как это прекрасно! Но почему нас так здесь ненавидят? Особенно татары. <…> Дальше — Ялта. Всюду Чехов. Как будто и не уезжал из Ялты. И не умер. Ливадия, Массандра, царские дворцы. Хорошие доктора, полный порядок. Но как приедет сюда Мария Ильинична, когда все тут ждут деникинцев? Здесь лучше, чем на французской Ривьере или в Калифорнии. Розы. Магнолии. Черешня. Павел на фронте и, может быть, в смертной опасности, а я все еще упрекаю его за какие-то глупые поцелуи. Все это мой грех. Все эти месяцы на Украине я — точно не я, точно не Коллонтай. Зачем я вьюсь вокруг Павла, точно ползучее растение? Руку, товарищ Дыбенко, я твой соратник по общему революционному делу. Но Коллонтай я тебе больше под ноги бросать не буду. Подумала так — и вдруг стало легко и свободно на душе. В такое великое время нельзя возиться с психологическими драмами. Да и что вообще произошло? Словно я не учу всегда своих сотрудниц: героини Октября должны с достоинством нести знамя своей партии?"

Коллонтай уже раскаивалась в своей ревности.

Через два дня войска Деникина взяли Симферополь, и Коллонтай пришлось бежать вместе со всем крымским правительством.

В дневнике Александра записала 30 июня: "Крым пришлось очистить, крестьяне не за нас. А кто за нас?.. Я уже в Кременчуге. Здесь штаб Ворошилова. Армейские начальники грызутся между собой. <…> Солдаты бегут из частей куда попало. Авторитет

командиров падает… В Никополе нагнал нас Дыбенко со своим штабом.

С Павлом ведь не виделись после того жуткого часа, когда он с письмом от той, другой женщины уехал на фронт. Я была счастлива, что он цел и жив, никаких упреков ему не делала, только объяснила, что, если разлюбил, пусть скажет. Мы же соратники прежде всего, значит, должна быть честность и правдивость. Сказала, что и я рвусь на свободу от нашего брака.

Павел заплакал. Стали говорить о больших делах, а не о любви. Какая любовь — у него опять конфликт с Ворошиловым". Ворошилов командовал 14-й армией, куда вошла дивизия Дыбенко.

5 июля Александра записала в дневнике: "Еще новая задача: партия назначила меня наркомом пропаганды Украины, и вот я в Киеве… До Киева тащились больше недели… Не забыть, как на одной из небольших станций нам удалось захватить в плен несколько десятков белых. Начальник штаба дивизии Сергеев сказал мне:

— Я велел поезду двигаться немедленно, вы не вынесете картину, когда из живых людей делают котлеты.

Он был прав. Когда я слышала пулеметный огонь, направленный не против боевой линии, а на пленных, мне стало нехорошо.

Странно, когда убивают пленных людей… Была благодарна Сергееву, что наш поезд скоро отошел".

Александра, конечно, переживала, что убивают безоружных людей. Но не слишком горевала о жертвах. Ведь это все-таки враги.

В Киеве ее назначили на ту же должность, что и в Крыму — наркомом агитации и пропаганды Украины.

Сначала отношения с Павлом были почти идиллическими. Александра писала: "Вечером мы отправились погулять в Купеческий сад над Днепром. Белый от цветущих яблонь и черемухи, розовато-лиловый от сирени, весь наполненный одуряющим ароматом весны, сад этот был так хорош, что не хотелось уходить отсюда. Солнце уже пряталось, и его красноватые лучи, как огни прожектора, скользили по ровной глади Днепра. В ресторане над обрывом музыка играла старинный вальс…" Это был тот романтический Киев, который Михаил Булгаков запечатлел в романе "Белая гвардия" и в фельетоне "Киев-город" и который навсегда погиб с революцией. И Коллонтай чувствовала, что идиллия долго не продлится.

Вскоре в киевской гостинице "Континенталь" состоялась крутая разборка с Дыбенко. "Неужели ты думаешь, — сказала

она, — что я не узнаю этот почерк? Подумай, сколько раз я читала бумаги, написанные ее рукой! Меня не ты поражаешь, а эта женщина!

— Да какая же это женщина! — воскликнул Павел. — Глупая, не знающая жизни девчонка! Но не ты ли, Шура, всегда говорила, что каждая женщина имеет свое право на счастье? Даже и мимолетное… Будь снисходительна к Тине.

Такого предательства собственной 18-летней секретарши, выступавшей посредницей в ее переписке с мужем, Александра не могла перенести. В Киеве как раз гастролировала Вера Юренева, и Шура пошла к ней поплакаться. А Дыбенко отправила записку: "Павел! Не жди меня и забудь. Воюй за наше светлое коммунистическое будущее, за счастье пролетариев всех стран". Он ответил из поезда, направлявшегося на фронт: "Шура, мой милый, мой нежно, нежно любимый Голуб. Скажи хотя бы одно: могу ли я взглянут на твои милые, родные очи? Скажи, осталась ли хоть капля любви в твоем сердце? Спаси меня, не дай погибнут. Иначе погибнет моя первая любов к тебе. Скажи хоть слово, разреши хоть слушат звук твоего милого, нежного голоса. <…> Шура, милая, ты хорошо знаеш я не могу жить без тебя. Шура мой Голуб, мой милый, милый Голуб, знаеш ли ты что происходит в моем растерзанном сердце? Знаеш ли ты эту светлую любов к тебе? Нет и тысячу раз нет, для меня нет никого другого, кроме тебя, Голубя. <…> Милый Голуб не дай погибнут мне. Дай ответ скорее. Знай что твое письмо был мой надгробный акт. Вечно твой нежно нежно любящий тебя Павел".

Вскоре от Павла приехал новый посыльный, и Александра сообщила, что ответа не будет. Тогда посыльный передал новое письмо: "Шура, милая, милая, дорогой, нежный Голуб, в минуту выезда на рассвете в бой пишу тебе и вижу твои страдания. Мне никого другого не нужно, другой у меня нет. <…> Я умоляю, чтобы в этот день когда у меня больше нет моего Голубя, нет смысла жизни, пусть меня сразит пуля на посту — твоего верного, нежно любящего тебя. <…> Это для меня единственное спасение и единственная радост. Прощай мой милый Голуб вечно вечно твой Павел.

Сегодня бой за обладание Екатеринославом. Потерю сизого Голубя я не сознавал только в разгаре боя. А забывал, что я один и только в эти минуты мне казалось что ты попрежнему любиш меня что ты мне близкая и родная. Но вот кончался бой и мысль обжигала меня зачем я остался, вед я никому не нужен. И в эти минуты больно становилось в душе сознавая что я одинок и есть только одно дорогое и близкое и незаменимое существо, во имя которого я готов переносит все. И теперь <…> я хочу сказать

только тебе, что любов к моему Шурику становится все сильнее.

Тебя мне никто не может заменит. Я верен всегда только тебе

Ответа опять не последовало. Но тут случился внезапный вызов Дыбенко в Москву и он по пути заехал в Киев. И они с Шурой помирились. Павел отвез ее к своим родителям в деревню под Новозыбков. Для этой цели Раковский выделил супругам спецвагон. Двухдневное пребывание в деревне Александра так отразила в дневнике: "Хатка середняка. Много икон. Расшитые полотенца, огромная печь, выбеленные стены, на полу холщовые ручные дорожки. <…> У Павла чудесная мать. В ней что-то эпическое. Темно-золотые волосы, глаза умные, внимательные. Гордая, степенная женщина. Совершенно неграмотная. Один ее сын погиб на фронте. Старик хозяйственный, у него своя рожь, своя гречиха, две коровы, одна лошадь. Вряд ли он в душе за советскую власть. Рядом земля мужа дочери. <…> Мать месит тесто, готовит борщ, рассказывает о детстве Павла, о желании Павла учиться, да не было денег, и он втихомолку бегал учиться у поповны, за это пас гусей попа…

А мы с Павлом словно снова нашли друг друга. Стоим у плетня, смотрим на гоголевский пейзаж окрест и ждем минуты, когда снова окажемся только вдвоем".

На Киев наступали Вооруженные силы Юга России и армия Украинской народной республики. Оставался лишь один путь отступления — на север по Днепру. Перед погрузкой на пароход "Большевик" Коллонтай снабдили фальшивым паспортом и одели в одежду сестры милосердия. Она записала в дневнике: "Не горюй, — утешает меня товарищ из Наркомпроса. — Мы еще вернемся, искупаемся в Днепре и еще шире развернем сеть детских учреждений".

В Гомеле ее встретила добравшаяся туда раньше Вера Юренева. Она оставила воспоминания об их совместном путешествии поездом до Москвы: "Агитационный поезд носил имя Коллонтай. Мы ехали до Москвы неделю: многие мосты были взорваны. Чуть поезд подходит к станции, откидывают стенку вагона, и он превращается в площадку. Играет оркестр. У поезда собираются люди. Коллонтай произносит речь. Вечером на остановке показывают кино — многие впервые видят это "движущееся чудо". В купе Коллонтай похожа на английскую девочку. Бирюзовые глаза двигаются быстро-быстро под крутыми черными бровями".

А.М. Коллонтай с П.Е. Дыбенко с его родственниками

Коллонтай поселили во 2-м Доме Советов (ныне гостиница "Метрополь"), потом перевели в уже знакомый ей 1-й Дом Советов. Меню там было спартанское — суп из селедочных голов и каша с постным маслом. К счастью, Дыбенко, сражавшийся теперь под Тулой, исправно снабжал Коллонтай маслом, колбасой и иным дефицитным продовольствием. До этого он месяц проучился в военной академии в Москве, но затем его бросили во главу 37-й стрелковой дивизии.

25 сентября 1919 года в здании Московского комитета партии в Леонтьевском переулке, дом 18 (теперь здесь посольство Украины), шло совещание. Доклад делал Бухарин. Ждали Ленина, но он не приехал. Около девяти вечера в окно бросили бомбу. Погибли 12 человек, в том числе секретарь столичного горкома Владимир Михайлович Загорский.

"Пережили большую встряску со взрывом в Леонтьевском переулке, — вспоминала Александра Михайловна. — Совершенная случайность, что я избежала гибели. Мы с Инессой (Арманд. — Б.С.) за полчаса до бомбы ушли из зала: спешили в ЦК, где нас ждала Надежда Константиновна, сидели близ дверей, где взорвалась бомба…

Павел как раз в эти дни находился в Москве. Вбегает ко мне ночью Павел, лица на нем нет, расстроенный, взволнованный. Оказывается, узнал о взрыве, рыскал по всему городу, отыскивал "мой труп" по больницам и моргам. Кто-то сказал, что видел, как будто меня "вынесли"!

— Что ты со мной сделал, голубь мой беспокойный! Чуть ума не решился, — а сам не выпускает из объятий. Владимир Ильич

тоже очень беспокоился: где Инесса? Звонил в отдел".

Взрыв в Леонтьевском устроили "анархисты подполья", связанные с Махно. В дальнейшем почти все они были уничтожены чекистами.

Но внезапно Дыбенко перебросили в Сибирь. Он писал с дороги: "Скоро ли я увижу обойму прильну к тебе мой Голуб? Мне скучно, одиноко без тебя, моего родного Голубя, без моего мальчугашки. <…> Я так надеялся, что мы будем вдвоем согреват друг друга. Но тоска щемит мое сердце. Голубя моего не удастся схватит за крылышки и поднят его высоко, высоко и прижат его к своей раскаленной груди. Шурочка, мне скучно и тяжело. Хочу верит что Голуб скоро прилетит и я не буду одинок в Сибири. <…> В Реввоенсовете на меня такую грязь лили, но Ильич был весьма внимателен. <…> И ты буд тоже <…>".

Коллонтай заступалась за Марию Спиридонову — легендарного вождя левых эсеров. Ходила к Дзержинскому и Каменеву. Записала в дневнике: "На днях ездила хлопотать о Марии Спиридоновой. Была у Дзержинского, Якова Михайловича (Свердлова) и Каменева. Каменев признал, что ее держали в ужасных условиях (в караульном помещении, в холоде. Уборная общая с солдатами). Дзержинский сказал, что ее перевели в Кремль. В больницу… Победа!… Да все ли сознательные враги? Ведь еще много, что можно "отсеять" и включить в наш же, большевистский улов!.. И об зсеровках, которых арестовали, а их дети — малыши — одни остались в квартире. И все боятся к ним пойти — думают, засада…"

По дороге в Царицын Дыбенко заскочил в Москву. Они с Коллонтай получили новую квартиру в три комнаты. В одной жили Шура и Павел, в другой Миша, работавший на строительстве электростанции в подмосковной Шатуре, в третьей Мария Ипатьевна, ставшая секретаршей Коллонтай.

В сентябре 1919 года ЦК образовал по всей стране женотделы — подразделения партийных комитетов по работе среди работниц и крестьянок (вместо комиссий но пропаганде и агитации среди женщин). Коллонтай была инициатором создания и заведующей с 1920 года женотделом ЦК РКП(б) (до этого она работала заместителем Инессы Арманд). Целью этого учреждения была борьба за уравнение в правах женщин и мужчин, борьба с неграмотностью среди женского населения, информирование о новых условиях труда и организации семьи. Женотдел просуществовал до 1930 года. Одновременно с руководством женотдела Коллонтай читала лекции в Свердловском университете и работала в секциях Коминтерна, где была заместителем руководителя женской секции. Чуть ли не

ежедневно Александра Михайловна читала лекции о вреде проституции. Рассказывала о свободной любви, не стесненной ни узами брака, ни оковами постылой буржуазной морали.

"У Ленина глаза были карие, в них всегда скользила мысль, — вспоминала Александра Михайловна. — Часто играл лукавонасмешливый огонек. Казалось, что он читает твою мысль, что от него ничего не скроешь. Но "ласковыми" глаза Ленина я не видела, даже когда он смеялся".

Чувствуется, что у не не было безоглядного восторга перед вождем, как у многих других коммунистов.

Осенью 1919 года в Петрограде, к которому подходила белая Северо-Западная армия генерала Н.Н. Юденича, в качестве заложника был арестова Саткевич. Это известие убило Александру. "Хожу с камнем на сердце, ни о чем другом не в состоянии думать", — призналась она и дневнике. Она обратилась к Ленину, и тот пошел ей навстречу, приказав освободить генерала.

После конференции женщин-работниц Коллонтай свалилась с тяжелым воспалением почек. Александра Михайловна писала скульптору Марии Николаевне Кисляковой, с которой познакомилась в Швейцарии в 1909 году: "В сентябре обосновалась в Москве. Но с ноября я расхворалась, и очень серьезно. Лежу уже три месяца. У меня воспаление почек (уремия) и воспаление легкого. Сейчас дело идет на поправку…" Организм победил болезнь, но хронический нефрит у нее остался на всю жизнь и еще спровоцировал гипертоническую болезнь,

Превозмогая боль, Коллонтай читала и писала. Она отмечала в дневнике: "Попалась старая книга о мадам де Сталь и Наполеоне. Она его считала узурпаторов, но он не был узурпатором, а внешнее соотношение сил и победоносная буржуазия сделали из него фетиш и превратили в тирана. Места для Бебефа и Геберов не осталось, или их время еще не пришло. Мысли Вольтера и Руссо, все их идеалы о свободе и равенстве уложили в четко сформулированный кодекс Наполеона".

Пока она болела, Дыбенко писал ей; "Шура, Голуб милый нежный любимый несколько слов нишу под звуки боя в 8 верстах от Царицына. Я разгромил царицинский фронт противника, взят в плен гренадерский полк целиком. Я потерял в бою почти весь командный состав. Жажду видеть моего мальчугашку и сжат его в своих объятиях". И сразу же вслед: "<…> Невообразимая тоска обхватила меня. Кипит работа, но все это тоска, кроме моего мальчугашки. <…> Ты единственное достойное существо, тобою наполнены все мои фибры. <…> Многим женщинам хотелось бы занят твое место, но нет на них времени, даже на письма его нет

<…>. Она с горечью отшутилась в ответном письме, посоветовав все же найти время: не на письма — на женщин. Последовал телеграфный отклик: "Вечно твой Павел жаждет отдохнуть на Кавказе под крылышком Голубя и в объятиях мальчугашки".

В мае 1920 года Дыбенко и Коллонтай получили короткий отпуск и встретились в правительственном санатории Кисловодска. Павел воевал поблизости, командуя Кавказской кавалерийской дивизией. Но вскоре ему пришлось прервать отпуск и отправиться воевать против вырвавшегося из Крыма Врангеля.

Между тем 14 июня 1920 года Малый Совнарком (правительственная комиссия, занимавшаяся относительно мелкими вопросами) утвердил "совнаркомовский паек". Ответственным работникам ЦК партии полагалось на месяц в фунтах (один фунт равен 453,0 грамма): сахара — 4, муки ржаной — 20, мяса — 12, сыра или ветчины — 4, 2 куска мыла, 500 папирос и 10 коробков спичек, Наркомам и членам Политбюро давали больше, в том числе красную и черную икру.

19 июля 1920 года в Петрограде открывался Второй конгресс Коминтерна, Коллонтай была его делегатом. Открывшись в Петрограде, конгресс переехал в Москву, где Коллонтай стала членом исполкома Коминтерна.

Павел на фронте снова кем-то увлекся. И о своей болезни, хроническом нефрите, и о том, что она думает про него, Коллонтай сгоряча написала ему. Быстро пришел ответ: *<…> Передо мной твое письмо, твои страдания, слезы, передо мной моя могила. Не дай погибнут мне, моей любви к тебе, мой Голуб сизокрылый, дай мне прижат к груди твою любое. О! Коварство женщины разбивает нашу жизнь. Шура, Шура, зачем дальше жить? Нет цели в жизни, есть только ты, пока не погиб в бою и не получил свой надмогильный камень. Мой мятежный Голуб, о где твои несколько слов?.. <…>"

В подмосковном санатории, где она лечила почки, Александра сделала следующую запись: "<…> почти уверена, что у Павла кто-то есть на стороне, женщина, может быть, не одна. Что это нечто мимолетное, что это на почве физиологии и невольного мужского стремления покорить — в этом я уже убеждена. И все это неизбежно и естественно <…>. Я вечно занята. Работа, семейные заботы о Мише, Марусе (Марии Ипатьевне, вдове Владимира Коллонтая. — Б.С.). В доме толчея, телефон, меня нет дома, а когда я дома, я озабоченная. А он молод, ищет радости, смеха, чего-то яркого. Наконец просто "переживаний".

Все понимаю! И никогда его не спрашиваю, не подтруниваю.

Когда одна из них (их несколько, голоса разные и способ осведомления по телефону о нем разный) просит позвать товарища Дыбенко и нарывается на меня, мне вдруг делается неприятно. Безотчетно, стихийно неприятно. И особенно когда они явно подыскивают, как себя назвать. "Скажите, спрашивает сестра Петрова" или "Это говорит — секундное замешательство, пауза — это говорят из партячейки академии". — "Товарища Дыбенко нет", — кладу трубку, а сердце почему-то бьется. И в ушах что-то стучит. И горько, и обидно. Зачем эти псевдонимы? <…> Значит, с ним условливались? Это чтобы я не узнала? <…> Самое обидное — этот сговор против меня. Павел! Павел! Почему не сказать прямо? <…> Нет, хуже, больнее будет. Лучше не знать подробностей.

<…> Приходит Павел. "Тебя вызывала сестра Петрова — очевидно, одна из твоих красавиц?" — "Не знаю такой". Сказано с таким пожатием плеч, что вдруг кажется, что я ошиблась, и делается легко <…>. Но дня через два — опять "сестра Петрова", <…> а дня через три женский голос (как будто тот же), передаю с равнодушным видом Павлу: "Тебя кто-то спрашивает". — "Здравствуйте. Узнал, конечно. Очень занят был эту неделю. Часов в шесть в пятницу? Постараюсь. До свидания". Голос нарочито сухой и официальный, но первая фраза: "Узнал, конечно" <…> заставляет меня будто услышать и ее заигрывающий вопрос: "Узнали меня?"

<…> И все же я себя усовещаю. И не позволяю поддаваться "атавизму". Как-то в момент душевной распахнутости со стороны Павла (это у него бывает, когда он не то что "навеселе", а "на подъеме") он стал говорить о своей любви ко мне и о том, что все остальное "ерунда", "если и есть, так чисто платоническое", причем слово "платоническое" Павлуша <…> применяет тогда, когда дело идет о "физиологии". <…> Раздвоенности у такой здоровой натуры, как Павел, нет, баб он вообще презирает. Я для него не женщина, а нечто другое, свое, родное, близкое и "старшее", та, которой он "верит". А те — я знаю — именно "платоническое" в Павлином смысле. И все- гаки… <…>

Когда они не попадаются на моем пути, я совершенно к этому равнодушна. А вот когда они телефонируют, отравляют час-другой жизни! Не больше… И уже на другой день могу сама смеяться над собою и дразнить Павла без капельки горечи или обиды, просто чтобы заставить его сконфуженно, по-детски отнекиваться и пренебрежительно говорить: "Очень нужны мне эти красавицы" <…> А все-таки, когда на работе неприятности, препятствия, борьба, когда сверх того заботы о близких (Миша, Маруся), и вдруг телефоны Павлиных красавиц, хочется

попросить, взмолиться: "Павлуша! Побереги меня хоть с этой стороны!" <…> Я не прошу твоей опоры в жизни ни в чем, я несу все сама, я перекладываю часть ноши жизни твоей на себя, я всегда, как верный товарищ, подставляю тебе свои плечи, если трудно тебе, чтобы облегчить твое бремя, но ты хоть в этой мелочи побереги меня. Так хочется сказать. Но я не говорю. Что-то удерживает. И, глубже запрятавшись в себе самой, я иду по пути жизни рядом со многими близкими товарищами, дорогими мне. И все же я одна! Вы, люди будущего, вы не будете никогда так одиноки, я в это верю…"

В оппозиции

На X съезде партии в марте 1921 года Коллонтай страстно убеждала делегатов: "Партия потеряла свое подлинно пролетарское лицо, вырождается в касту бюрократов и карьеристов. Засилие партийного чиновничества видит каждый. Бюрократизм проникает и во все звенья государственного, советского аппарата. Три года назад насчитывалось 231 тысяча чиновников, теперь, после объявленного сокращения, — их 243 тысячи. Что выиграл от революции пролетариат, в интересах которого она и совершалась? Не случайно рабочие массами выходят из партии. Они вступали в СВОЮ партию, теперь они видят, что это не их партия, а партия чиновников и бюрократов… ЦК отсылает инакомыслящих в отдаленные края, чтобы не путались под ногами, чтобы голос их никем не был услышан. Почему ЦК так боится инакомыслия?"

А в исполком Коминтерна она писала: "Рабочие и работницы жестоко разочарованы, потому что все результаты их усилий и жертв оказались напрасными, они стали лишь достоянием оформившегося в касту всемогущего партийного аппарата".

Дыбенко назначили комендантом поверженного Кронштадта. Он радостно писал жене: "Партия снова мне доверяет". Его отпустили сдавать экзамены в академии. "Скупой на письма, — записала Коллонтай в дневнике, — Павел привез их целый пакет. Все ко мне и все не отправлены. В них отражение и его мук. Значит, еще любит? Значит, чувство еще живо? <…> И все-таки мы душевно не слитны, и все-таки, Павел, большой мой ребенок, ты не видишь, не слышишь, не умеешь угадать всей той мучительной работы, что проделала моя душа за эти недели. О, если бы понял! Если б услышал! Как бы тогда стало легко, как полно бы стало наше чувство, как совершенна близость! Но этого нет".

В марте 1921 года во время дискуссии о профсоюзах, развернувшейся после выступления Троцкого, заявившего о необходимости расширения прав профсоюзов, Коллонтай вместе со своим бывшим любовником А.Г. Шляпниковым возглавила "рабочую оппозицию", которая предлагала передать управление всем народным хозяйством всероссийскому съезду производителей, объединенных в профсоюзы, которые она считала высшей формой организации рабочего класса. Программа "рабочей оппозиции" была представлена в выпущенной к X съезду РКП(б) брошюре Коллонтай "Рабочая оппозиция", осужденной в ленинской резолюции "О

синдикалистском и анархистском уклоне в нашей партии". Лишь 45 делегатов X съезда партии поддержали "рабочую оппозицию", и почти никто из них не уцелел в огне сталинских чисток.

Несмотря на постановление X съезда партии о единстве партии, Александра Михайловна продолжала защищать идеи "рабочей оппозиции". После последнего предупреждения, вынесенного ей на XI съезде РКП(б) в 1922 году, и окончательной ликвидации "рабочей оппозиции" Коллонтай была вынуждена отказаться от своих взглядов на роль профсоюзов. Резкое ухудшение отношений с Лениным явилось тяжелым ударом для Коллонтай. Но она утверждала, что оппозиция полезна прежде всего потому, что она будит "спячку мысли".

"Рабочие не хотят быть при бюрократах, — записала Коллонтай в дневнике. — За это В.И. обозвал их синдикалистами. И дал указание отправлять строптивых на самые трудные участки, чтобы все недовольство масс обрушилось на них".

Впервые Коминтерн обсуждал разногласия в РКП(б) на своем III конгрессе в июне — июле 1921 года. Она выступила в прениях по докладу Ленина о тактике РКП(б). Александра Михайловна не согласилась с докладчиком, что укрепление диктатуры пролетариата надо вести через союз рабочего класса с крестьянством, а также за счет свободы торговли и оживления капиталистических элементов. Она считала, что укреплять власть Советов нужно прежде всего путем раскрытия еще не полностью исчерпанных возможностей рабочего класса. Коллонтай назвала наметившиеся в русской Компартии тенденции архибюрократическими, представляющими "смертельную опасность для революции, которая теряет свою главную опору — рабочих". Она призывала указать русским товарищам "от имени коммунистов всех стран" на их "ошибки" и "возродить в партии дух свободных и открытых дискуссий, допускающих полную свободу выражения мнений и право на инакомыслие".

С критикой позиции А.М. Коллонтай на III конгрессе Коминтерна выступили Л.Д. Троцкий, Н.И. Бухарин. К. Радек и Г. Роланд-Гольст. Единодушное принятие резолюции с одобрением политики РКП (б) было вполне предсказуемо, поскольку Коминтерн полностью зависел от руководства РКП(б) и, естественно, не мог позволить себе его критиковать. Троцкий в своей речи обратил внимание на то, что ЦК РКП(б) не возражал против выступления Коллонтай в дискуссии по докладу Ленина, хотя было известно, что она не согласна с линией ЦК партии. Он напомнил делегатам, что в большевистской партии принято предварительно рассматривать вопрос о том, кто будет участвовать в дискуссии: "Мы сочли вполне естественным, что

незначительное политически и едва заметное в этом вопросе меньшинство хочет ознакомить международный конгресс со своим собственным мнением, со своей тенденцией". Из заявления Троцкого следует также, что если бы группа "рабочей оппозиции" была бы более влиятельной, Коллонтай, возможно, была бы лишена слова.

В ноябре 1921 года, разочаровавшись, Коллонтай попросила освободить ее от заведования отделом ЦК партии по работе среди женщин.

Тем временем Коллонтай написала за Павла дипломную работу о роли личности полководца в военных действиях. В результате Дыбенко благополучно окончил академию и стал начальником черноморского сектора Одесского военного округа. Она еще не знала, что в Одессе у него новая любовь. Получив отпуск, Александра поехала в Одессу, где Дыбенко жил в роскошном особняке. Произошло объяснение. Коллонтай записала в дневнике: "Мы объяснялись несколько часов. Павел приехал днем. Я ждала его напряженно. Надела новое платье. Напудрилась. Ждала. А пропустила момент, когда подъехал автомобиль. Павел прошел в свой кабинет. Вхожу — уткнулся в угол дивана. Плачет. Не сразу растаяло сердце. Не сразу захлестнуло теплом. Но понемногу оттаяла. Павел выкупал все мое платье в слезах. <…> Потом… неизбежные объятия, поцелуи. Пока чувство живо — обычный финал. И внешне примирение состоялось. Но на душе у каждого осадочек. И оба очень бережны друг к другу, будто боимся ранить".

Затем Дыбенко получил задание Троцкого представить свои соображения о том, как следует реорганизовать Красную армию. Текст привычно писала за него Коллонтай. Она отметила в дневнике: "Мы работаем. Павел не пьет, выдерживает характер. Оба стараемся друг другу "сделать удовольствие". Я снова взялась за хозяйство. Души наши после всего пережитого еще далеки друг от друга, но страсть, тяготение вспыхнули с новой силой. Страсть ли? Не больное ли сладострастие, когда разжигаешь друг друга, чтобы получить еще одно доказательство любви другого? <…> Чувствую, что за эти годы созрела. Наконец любовь перестала быть важным моментом жизни. Набралась мудрости. Выросла. И переросла себя, ту, что была еще три-четыре года назад…

Совместная работа над военной доктриной — одно из самых больших моих увлечений. Тезисы мои легли в основу. Вторая и последняя главы вообще написаны только мною. <…> Особая гимнастика мозга, ума. Читала военные книги, освоилась с тактикой, стратегией, военными понятиями. <…> Это особое наслаждение".

Тем временем на Александру обрушилась новая беда, о чем она поведала дневнику: "Новое горе <…> камнем придавило плечи: поход на женотделы. Организованный и решительный.

Где корень? В чем? Суть ли в том, что хотят дискредитировать меня, или же это узость, доктринерство и тот формальный подход к вещам, который мертвит нашу работу?"

Павел писал из Одессы: "Шура, милая, ты ничего не пишет, от тебя ни звука, я окончательно потерял голову. Что это значит? Я боюсь, что ты лежиш больная и снова от меня скрывает. <…> Разве я могу спокойно работать, когда около меня не витает твой, ИМЕННО ТВОЙ, любящий дух? Шура, Шура, что ты делаеш со мной? Неужели ты не знаеш своего Павла? <…> Ты безжалостно его бросает. Шура, милый Голуб, когда же ты поймет меня, скажи, я жажду твоих слов, Тебя, и я тоскую невероятно. <…> Хочется бежат, бежат, что-то бурное совершит, сломат себе голову и на время хотя бы успокоит себя. <…> Жажду Тебя. Твой Павел".

18-летняя Валя Стафилевская вместе с родителями пыталась бежать из Крыма от красных, но не преуспела в этом. Один из красных командиров сделал ее своей наложницей, а затем привез ее в Одессу, где легко уступил вышестоящему начальнику — Дыбенко. Об этом романе Коллонтай узнала не сразу, но все-таки узнала.

Александра Михайловна собрала подписи и лично передала в секретариат Коминтерна официальное заявление, известное как "Заявление 22-х". ЦК РКП(б) обвинялся в подавлении демократии и провокациях, зажиме рабочей демократии, репрессиях против инакомыслящих. Право обжаловать действия своей партии в Коминтерн его исполком подтвердил, но "Заявление 22-х" счел "подрывом авторитета РКП (б)" и передал его для рассмотрения руководству этой партии с вполне предсказуемым исходом. Проверку жалобы осуществляла комиссия во главе с Дзержинским. По ее рекомендации XI партсъезд признал "Заявление 22-х" клеветническим. Ленин потребовал исключить авторов заявления из партии, но съезд ограничился предупреждением Шляпникову, Медведеву и Коллонтай о том, что их ждет исключение, если они не прекратят борьбу против генеральной линии партии.

В поезде Одесса — Москва, перед заседанием исполкома Коминтерна, рассматривавшего "Заявление 22-х", Коллонтай писала Дыбенко: "Глубокая ночь. Шестой час. Где ты, Павел? Где ты сейчас, мой близкий и все же <…> далекий? Неужели твое сердечко, твоя любовь ко мне не подсказывают тебе, что значит мучительно ждать час за часом и прислушиваться к шуму шагов в коридоре? <…> Ночь не для поцелуев только, не в поцелуях

цена для нас, а в том общении сердца, что обоим дорого ночью бывает. На душе холодно, холодно, одиноко, больно до ужаса. Где ты? <…> Меньше любить стал? Нет, я знаю, я верю в твою любовь, в ее глубину, и знаю, что я тебе дороже всех в мире. <…> Я не хочу, Павлуша, мой дорогой, чтобы ты повторил боль, что мучает меня. Я слишком люблю нашу любовь, большую и красивую, чтобы не желать сберечь ее. Но я знаю слишком хорошо неизбывные законы любви, знаю, что нельзя безнаказанно наносить уколы, и потому я пишу тебе, мой любимый, мой большой мальчик. <…> Самое значительное то, что не знаю, что тебя влечет от меня. <…> Что бы ты сказал, Павлуша, если бы я приехала в Одессу и через день-два стала бы исчезать так таинственно — на ночь, на полночи. <…> Да что ж тут особенного, небывалого, но пойми, Павлуша, получается, что с чужими людьми у тебя "сговор", тайные соглашения от меня — вот и боль не в том, что женщины тобою увлекаются, мне это даже нравится, пусть влюбляются в моего красавца, я-то знаю, что он мой. И не в том, что в тебе когда-нибудь заговорит физиология, все это понятно и не больно. <…> Ты боишься, милый, сказать мне прямо: "Шурочка, у меня есть одна женщина, она меня интересует, забавляет, я иду к ней, не жди меня, вернусь к утру". Я бы только улыбнулась, я почувствовала твое доверие ко мне, и мне было светло, я знала бы, что мы с Павлом одно, заговор у нас с тобою, а не у него с какой-то чужой женщиной <…>".

А месяц спустя, уже потерпев поражение в борьбе с руководством партии, она писала ему из Москвы: "Павел, слышишь ли, как в эти темные дни я зову тебя, дорогого, и как хотелось мне именно сейчас быть с тобою, чтобы всю мою нежность, все богатства моей души отдать тебе, только тебе. Ведь сейчас моя энергия, моя вечно бурлящая, беспокойная душа натыкаются на стену. Но ничего, Павел! Сейчас моя рука товарища протянута к тебе не за помощью только, а чтобы поддерживать тебя, мой близкий, родной, в эти темные дни. <…> Уже не Коллонтай, а твой голубь, точно в клетке, бьется в тоске. Пойми, крыльями уже махнула — и вдруг жестокое, формальное: "нельзя". Павел, любимый мой, мне больно сейчас. Не знаю, что будет дальше, но сейчас я остро страдаю об одном: что меня жестоко лишили права ехать к тебе. <…> Слышишь ли мою боль, слышишь ли мой зов, мне больно, Павел, я бьюсь в тоске, мне все кругом опостылело, так остро по тебе я еще не тосковала. Павел, мой безмерно любимый — твой, твой Голубь".

Павел ответил: "Шурочка, милая, родная. <…> Я жажду Тебя, а ты, маленький скандалист, все буяниш. <…> Приезжай,

будеш жить на даче, только на другой теперь: хороший сад, огородик свой, море — приезжай, отдохнем. <…> Весна, милая, а мы ведь с тобой весной вместе не были, хотя вся наша жизнь должна быть весной".

Это было накануне ее пятидесятилетнего юбилея. Но Дыбенко с Александрой в этот день не было, как не было и никаких юбилейных торжеств. А Павел приехал несколькими днями позже.

"Две задачи недоделаны еще в моей жизни, — записала она в дневнике: — 1) поставить женское движение в России <…> и 2) начать мировое движение против смертной казни". Обе эти задачи так и остались невыполненными.

А вот нэп Коллонтай не приняла и писала мужу: "Павлуша, нежно-нежно любимый, сейчас вечер воскресный, в доме нашем тихо, все на даче, я же, проработав усидчиво весь день, не вставая, прошла в садик поблизости и теперь, в ожидании чая, пишу тебе эти несколько строк. Хочется хоть мысленно почувствовать, что ты есть, — твою близость, твое нежное тепло, на душе щемит. <…> Такой поворот в политике! <…> Мне жутко, тоскливо. <…> Куда же дальше идти, любимые мои товарищи? Друг Павел, так не хватает мне тебя сейчас. <…> Едут в Москву наши иностранные товарищи. <…> На днях прибудет Клара Цеткин, <…> в связи с ее приездом предстоит пережить много неприятного. Будут неизбежные трения, у меня все последнее время были конфликты с верхами. <…> Я подавала два раза в отставку. Пока не отпускают, но я решила добиться своего. <…> Родной Павлуша, мне сегодня так не хватает тебя, Голубь тоскует, нежно обнимаю тебя…"

Александре удалось на несколько дней вырваться в Одессу, Перед отъездом она почувствовала признаки беременности, о чем записала в дневнике: "Рождается старая боязнь: а вдруг? Нелепо двоится чувство: радость Павла и ужас новой скованности. Ребенок, теперь?! В мои годы?! Когда эти годы на счету… Когда надо спешно дать итог накопленного, излить свое творчество, пока не поздно…" Но тревога оказалась ложной.

Однако и встреча с Павлом радости не принесла. Его пьянство и становившаяся все более явной измена отравляли Коллонтай. Это видно из ее последующих писем:

"Павел, мой дорогой! Если я так остро воспринимаю сейчас, что ты не выдержан, то только потому, что начали появляться у тебя нехорошие симптомы, <…> твой организм уже поддается разъедающему яду алкоголя. <…> Стоит тебе выпить пустяк, и ты уже теряешь умственное равновесие. <…> Ты стал весь желтый, глаза ненормальные. <…> Если не принять меры, тебе

может грозить нечто худшее, чем смерть. <…> Теперь ты, может быть, поймешь и мою истерику — результат бессонной и жуткой ночи с твоим жутким бредом накануне. <…> Пойми, только забота о тебе и только безграничная моя любовь к тебе заставляют меня писать это письмо. <…> Твой верный Голубь".

"Павел, мой родной, нежно, нежно любимый мальчик. <…> Что нас связывает крепко и неразрывно? У нас огромная душевная близость, такая близость — великое счастье и большое, ценное богатство. Но я же вижу, знаю, что не сумею, не могу дать тебе полного счастья. <…> Я не та жена, какая тебе нужна, — может быть, потому, что я вообще не тип жены. Ты видишь, я искренне стараюсь быть женой, как полагается женам, но… Я же чувствую и понимаю, что это не то! Как много сторон твоей жизни я не могу заполнить и удовлетворить. А главное, конечно, ребенок. Я знаю, что значит для тебя ребенок и как мучительно ты о нем тоскуешь. Это нормально, и это должно быть. Но я ведь уже никогда не смогу дать тебе эту радость. <…> У меня такое чувство, как будто я ворую тебя у воспроизводящей силы природы. <…> Ты должен постепенно приучить себя к мысли <…> иметь постоянную "маленькую жену" и своего ребенка. Ты имеешь на это право — право молодости.

<…> Есть еще одна причина. Ты мой самоцветный камень. Но, чтобы самоцветный камень получил свой блеск, надо придать ему грани. В твоих гранях есть доля и моего творчества, я люблю тебя, как художник любит свое творение, и самое ценное для меня, чтобы ты блистал все ярче, горел всеми огнями. Было время, когда наша близость помогала, облегчала твой путь. Сейчас ты очень вырос, я горжусь тобой, но наша близость — определенная помеха твоей дальнейшей деятельности. Я бросаю теперь на тебя тень, <…> нужна настоящая "маленькая жена", которая не заслоняла бы тебя, а по-житейски помогала в создании твоего дома. <…>

Ты читал о романе Наполеона с Жозефиной — как он ее ни любил, но ради своей цели он женился на австрийской принцессе и имел страстно любимого им сына. А с Жозефиной он никогда не порывал, и, когда его ссылали на остров Святой Елены, не королева Луиза, а Жозефина умоляла отпустить ее с Наполеоном на остров, она его не разлюбила. <…> Я всегда, всегда буду с тобой, люблю тебя со всей нежностью и горячей влюбленностью <…>".

Его ответ был криком отчаяния окончательно запутавшегося человека: "Шура, мне холодно, мне хочется вспять, я вспоминаю всю нашу Жизнь, ты хочешь ее завершить. <…> Я читаю твою душу, но моей ты еще никогда не прочитала. Что же дальше?

Дальше темный лес. <…> Мне холодно, Шура <…>".

В дневнике она писала, что рабочие жестоко разочарованы, но в статьях призывала работниц к новым усилиям на пути строительства новой жизни. И, несмотря на все намерения порвать с Павлом, она продолжала с ним встречаться. Но ее мучила ревность. Она чувствовала молодую соперницу рядом с ним, и даже не одну.

Дыбенко писал из Одессы: "Дорогой, родной друг, мой нежный Голуб. Хочется как можно скорее видет тебя. Хотел бы прилетет к Тебе, моему Голубку, моему милому другу и нежному Голубю, сказат все, открыт свое сердце, свою душу и найти то, что так неудержимо и страстно тянуло нас друг к другу, открыт себя. Не подумай, милый Голуб, что я хочу отделит тебя, нет мы оба катимся в неведомое, до сих пор для нас зыбкое пространство, но, милый друг, как я одинок, и я люблю, люблю, люблю Тебя. Любов к тебе еще не остыла. Твой Павел".

Коллонтай удалось выхлопотать двухмесячный отпуск и отправиться в Одессу. В дневнике она отметила: "Вечер. Дивная ночь. Луна на море. Но почему южная природа не радует меня? В ней что-то слишком яркое, богатое. Она беспокоит. И есть, я его всегда ощущаю, есть какое-то несоответствие между красотою природы и буднями жизни. Здесь жизнь должна была красочной, яркой, пестрой, подъемной, как и сама дивная южная природа. Раз этого нет, здесь томишься невольно…"

Много лет спустя эта поездка виделась уже несколько иначе: "…Томительно жаркая ночь в Одессе. Черное море играло в лунных лучах, а в саду нашей богатой виллы (какого-то бывшего богача) удушливо пахло розами. <…> Я ждала Павла в саду в своем белом шелковом платье-хитоне. Я приоделась для него. Я не хотела верить слухам, что у Павла есть "красивая девушка", и все еще верила в его любовь. Павлины подчиненные разошлись по домам. Я осталась одна в саду. <…> Павел поехал верхом без постового, обещав скоро вернуться. Шел час за часом. Я не могла читать, я не любовалась морским прибоем, я не дышала красотой южной ночи. Я ждала Павла. Ждала напряженно и жадно. Я решила не верить своему чутью, что между нами что-то легло. Не хотела верить и шепоткам. Меня волновало другое; я упрекала Павла: зачем он дружит с этим подозрительным типом Азбукиным, бывшим управляющим винными погребами великих князей, зачем пьет не в меру, зачем слишком часто ездит к Азбукину играть с ним в карты. Это непартийное поведение, оно меня мучает, задевает.

Но весь этот день Павел был такой нежный, растроганно нежный, как в былые дни. И я с радостью схватилась за надежду:

"Павел любит меня. Все эти слушки — обычные сплетни кумушек. Я им не верю. Только бы Павел не пропадал по вечерам у Азбукина за картами". Утром он, весело смеясь, обещал мне не бывать больше у Азбукина. "Я сам знаю, что эта компания не для меня. Ты напрасно беспокоишься, что он может втянуть меня в неприятную историю. Я ни с кем у него не встречаюсь".

— Так ведь вы вечно играете в карты.

— Наши партнеры — все свои товарищи, из штаба.

Весь день я ждала вечера, мы договорились с Павлом вечером покататься на лодке по морю. Я хотела "поговорить"… Слова этого я ему не сказала, как и все мужья, он очень не любит этого слова, но про себя решила: в лодке поговорим как следует, укажу ему на его непартийное поведение, его дружбу с сомнительными элементами. Сделаю последнюю попытку.

Настал вечер. Павла вызвали в штаб. Часы в столовой громко пробили девять. Я слышала их бой в саду. Потом 10, 11, 12…

А Павла все нет и нет. <…> Адъютант, уходя, сказал, что в штабе нет совещания. Где же Павел? Опять у Азбукина, ужинает "посемейному" вдвоем или кутят со всякими "бывшими". Это после обещания мне утром, после того как Павел, глядя мне в глаза "как честный человек", обещал… Как я могу ему верить после этого? Может быть, слушок о красивой девушке не выдумка? Может быть, это так и есть? <…>

Ревность обожгла острой болью, подступила к горлу. Нет, я бы почувствовала. Но все же Азбукин — подозрительная, темная фигура, не место Павлу в его доме, попадет в историю, а я должна вызволять его от партийных неприятностей. <…> Часы снова бьют час или половину второго. Нет, я больше не в силах выносить эту пытку вечного страха за Павла, за его поведение. Что меня удерживает в Одессе? К черту неиспользованный отпуск, в среду идет прямой вагон на Москву. Я уеду. Уеду от Павла совсем, навсегда. Я разорву с Павлом. Мы больше не товарищи, я его не понимаю, я ему больше не верю.

Часы дают два звонких удара. И за ними вслед гулко стук копыт во дворе. Павел спешит ко мне, походка твердая. Нет, он не пьян. Значит, "красивая девушка" (в этот момент, наверное, Александра подумала: "Уж лучше бы он пил!" — Б.С.)… Что-то обожгло меня. <…>

До этой минуты вся картина той жуткой ночи четка, как на пластинке: и бой часов, и цвет моря, и аромат роз, и мои собственные мысли. Но с того момента, как Павел быстрым шагом, какой-то взволнованно виноватый приближается ко мне, все расплывается, как во сне. <…> Я, кажется, бросила ему упрек, что он, партийный товарищ, нарушив данное мне

партийное слово, опять был у Азбукина.

— Что ты пристала ко мне с этим Азбукиным? — раздраженно перебил меня Павел.

— Не лги. Мне все равно, где ты был. Между нами все кончено. В среду я уеду в Москву. Совсем. Ты можешь делать что хочешь — мне все равно.

Павел быстро, по-военному, повернулся и поспешил к дому. У меня мелькнуло опасение: зачем он так спешит? Но я медлила. Зачем, зачем я тогда не бросилась за ним? Поднимаясь по лестнице террасы, я услышала выстрел. <…> Павел лежал на каменном полу, по френчу текла струйка крови. Павел был еще жив. Орден Красного Знамени отклонил пулю, и она прошла мимо сердца. <…> Начались жуткие, темные дни борьбы за его жизнь и тревог за его непартийный поступок. Я ездила для доклада и объяснений в парткомитет, старалась смягчить поступок Павла (они там уже знали больше, чем я думала, и больше меня самой). <…> Я во всем винила себя. Только позднее я узнала, что в тот вечер "красивая девушка" поставила ему ультиматум: "либо я, либо она". Бедный Павел! Она навещала его больного тайком, когда я уезжала в партком.

Я больше не говорила Павлу о своем намерении уехать. Но это решение крепло. <…> Я выходила Павла. Рана оказалась менее опасной, чем вначале опасались. Павел стал быстро поправляться. Но ко мне он был нетерпелив и раздражителен. Я чувствовала, что он винит меня за свой поступок и что его выстрел вырос в непроходимую моральную стену между нами. <…>"

Он чудом остался жив. Тут даже нельзя привычно добавить: к счастью. Ведь если бы тогда Павел Ефимович поувереннее нажал на курок и рука бы не дрогнула, он был бы избавлен и от роли палача Тухачевского и его товарищей, да и многих других ни в чем не повинных командиров и комиссаров, а потом — от позора суда и казни в лубянском подвале.

Потом Александра укоряла Павла в письме: "Твой организм уже поддался разъедающему яду алкоголя. Стоит тебе выпить пустяк, и ты теряешь умственное равновесие. Ты стал весь желтый, глаза ненормальные". Разрыв с любимым Павлом все равно становился неизбежным.

Павел уже оправился от раны и начал ходить. После попытки самоубийства он тоже начал вести дневник, где записал: "Мучительная тоска гложет сердце. Нет радостных надежд. Уехала — все! <…> Что ждет меня? Может ли быть кругом столько ненависти? <…> Тянутся мысли. Я одинок, и она уезжает. Таков финал пятилетней любви <…>. Как можно

теперь верить, с кем же можно теперь поделиться своими душевными переживаниями? Тут идеализм не поможет, тут страдания и жгучая мука за все, чем я дышал. Переживаю трагедию своей жизни".

А после отъезда он написал ей письмо: "<…> Я рвался к тебе, Шура, потому что я страдал по тебе. Ты говориш, что твое тело для меня все равно. Нет, ты не права, твои очи вместе с телом опьяняли меня. Да, я никогда не подходил к тебе как к женщине, а к чему-то более высокому, более недоступному. А когда были минуты и ты становилась обыденной женщиной, мне было странно, и мне хотелось уйти от тебя. Ты в моих глазах и в сердце, когда я рвусь к тебе, выше досягаемого. Но теперь я слабый, так же, как и все мужчины, открыл мои изломы души. <…> Ты покидаеш меня, а я был наивен, Шура, <…> мне казалось, что все тебе скажу откровенно, и ты поймеш меня, и я спокойно всеми фибрами моей души останусь с тобой, и будем опять вместе, <…> чтобы упиться друг другом и с новой силой насладиться своими жизнями. Но твой мучительный взор, твои страдания говорят другое, и мне кажется я был прав, скрывая от тебя свои переживания. <…> Не могу видет твои муки, они душат меня. <…> Все это тебе говорит только, только твой Павел, он никому не принадлежал и никогда не будет принадлежат, но ты ведь все понимает, ты должна понят без слов <…>".

Шура не ответила. Лишь записала в дневнике: "Я убегаю не от Павла, а от той "я", что чуть не опустилась до роли ненавистного мне типа влюбленной и страдающей жены".

Но она еще колебалась: может быть, с Павлом еще не все потеряно? И отметила в дневнике: "Весь запас моей любви я хочу сейчас щедро отдать ему, обогреть. <…> Куда делась вся моя требовательность к Павлу? Все мои сомнения, ревность, мой бунт против него? Только бы он не страдал, только бы вернуть его к жизни, уже не только физически, но и морально!" Но в конце концов решила: "Нет, я уйду. Довольно. Старалась, билась сделать из него человека — партийца, развить вложенные в этом самородке возможности, качества, военный талант. Не сумела, значит. Стать "женой" не могу, не хочу. Коллонтай жива, и я уйду. Уйду на новую работу по призыву партии".

Самой популярной работой Коллонтай стала опубликованная в "Молодой гвардии" в 1921 году статья "Дорогу Крылатому Эросу! (Письмо к трудящейся молодежи)", название которой сразу же стало нарицательным. Там утверждалось:

"Бескрылый Эрос поглощает меньше чувств, он не родит бессонных ночей, не размягчает волю, не путает холодную работу

ума. Классу борцов, когда неумолимо звучит колокол революции, нельзя подпадать под власть крылатого Эроса. В те дни нецелесообразно было растрачивать душевные силы членов борющегося коллектива на побочные душевные переживания, непосредственно не служащие революции. <…> Но теперь, когда революция в России одержала верх и укрепилась, когда атмосфера революционной схватки перестала поглощать человека целиком и без остатка, нежнокрылый Эрос снова начинает предъявлять свои права. Он хмурится на осмелевший бескрылый Эрос — инстинкт воспроизводства, не прикрашенный чарами любви. Многоструйная лира пестрокрылого божка любви покрывает одноструйный голос бескрылого Эроса".

Коллонтай настаивала на трех основаниях торжества "крылатого Эроса":

"1) равенство во взаимных отношениях без мужского самодовления (имеется в виду совершенство в обладании благами; способность, благодаря которой ее обладатели управляют сами собой; и рабского растворения своей личности в любви со стороны женщины);

2) взаимное признание прав другого без претензии владеть безраздельно сердцем и душой другого (чувство собственности, взращенное буржуазной культурой);

3) товарищеская чуткость, умение прислушаться и понять работу души близкого и любимого человека (буржуазная культура требовала эту чуткость в любви только со стороны женщины)".

Она декларировала отказ от права собственности на любимого человека:

"Буржуазная идеология воспитала в людях привычку смешивать чувство любви с чувством собственности над другим человеком. Первые ласкательные слова, какими обмениваются влюбленные, — это "я твоя, ты мой". Пора этой привычке исчезнуть, это остаток буржуазного представления, что "собственность" — это высшая ценность. Хорошему товарищу, созвучной подруге не скажешь же "мой" или "моя".

Без этих ложных представлений исчезнут и муки ревности. Надо уметь любить тепло и не ради себя, а вместе с тем всегда помнить, что ты "ничья", кроме своего дела. Тогда другой, любимый человек, не сможет ранить тебя. Ранить сердце может только "свой", а не "чужой"".

Но сама-то Александра ревновала по-настоящему. Значит, чувство собственности никуда деться не могло.

На дипломатическом поприще

Коллонтай обратилась с письмом к Сталину. В конце жизни она писала в дневнике: "Я написала Сталину все, как было. Про наше моральное расхождение с Павлом, про личное горе и решение порвать с Дыбенко. Написала, что меня не удовлетворяет работа в международном женском секретариате и что мне будет трудно работать в ИККИ с Зиновьевым, особенно после Одиннадцатого съезда. <…> Я прошу партию направить меня на другую работу: на Дальний Восток или за границу на год-два. Ведь можно зачислить меня корреспондентом РОСТа или рядовым сотрудником в одном из наших полпредств. Я сумею там быть полезной партии и нашей республике. Я хочу писать труд о коммунистической морали".

Сталин ответил: "Мы назначаем вас на ответственный пост за границу. Немедленно возвращайтесь в Москву. Сталин".

Коллонтай вспоминала: "Этого счастливого, светлого дня, этого подарка в моей жизни я никогда не забуду".

Правда, было тут и нечто печальное, что Александра не скрывала: "Немного грустно мне сознавать, что я уже никогда не вернусь на свою любимую работу среди женских масс, работниц и других категорий трудящихся женщин, что на моем новом поприще порвутся дорогие мне связи с тысячами советских гражданок, которые встречали меня теплыми возгласами энтузиазма: "Вот она, наша Коллонтай!" Я перестану быть "наша Коллонтай!""

Коллонтай очень привыкла быть на виду. Ей важна была не власть, а то, чтобы ею восхищалась толпа.

Инакомыслие Коллонтай стоило ей партийной карьеры. В 1922 году она перешла на дипломатическую работу. 4 октября ее назначили советником российской торговой делегации в Норвегии. Александра призналась в дневнике: "О том, что я первая женщина в дипломатии, я как-то не подумала, и что это как бы практическое осуществление нашей женотдельской работы и призыва партии: выдвигать женщин на ответственные посты".

После отказах в нескольких странах принять Коллонтай согласилась Норвегия. В октябре 1922 года она выехала к месту назначения. В дневнике Александра записала: "Финляндия пропитана духом белогвардейщины. <…> На улицах я обхожу эмигрантов, едва заслышу русскую речь. <…> Тоскую по февралю 1918-го".

На вокзале в Христиании ее встретили шофер и технический сотрудник миссии. Она отказалась остановиться в гостинице и

потребовала, не заезжая в миссию, сразу везти ее в Хольменколлен. Там нашлись комнаты и для Александры, и для приехавшей вместе с ней в качестве личного секретаря Марии Ипатьевны Коллонтай.

Сталин, направляя нашу героиню на дипломатическую службу, учел как хорошее знание многих иностранных языков, в том числе скандинавских, так и аристократическое прошлое, хорошее знание великосветских манер. Считалось, что Александра Михайловна лучше многих других большевиков сможет обходиться с буржуазными политиками. Да и вчерашнюю оппозиционерку, претендующую на важную политическую роль в партии, лучше было держать подальше от Москвы и вообще от СССР в период, когда в условиях недееспособности Ленина все острее разворачивалась борьба за власть между Троцким, с одной стороны, и Сталиным, Зиновьевым и Каменевым — с другой. Можно сказать, что переход на дипломатическую работу, без последующего возвращения на партийную или хозяйственную, спас Коллонтай жизнь. Почти все другие лидеры "Рабочей оппозиции" были уничтожены Сталиным. Коллонтай же спасло то, что Сталин не видел в ней угрозы своей власти. Да и ее относительно широкая международная известность и пропагандистский имидж первой в мире женщины-посла заставляли без особой нужды Коллонтай в расход не выводить. К тому же Александра Михайловна была женщиной, а женщин Сталин стрелял гораздо реже, чем мужчин. Хотя нельзя сказать, что принадлежность к прекрасному полу гарантировала от репрессий и казней. Можно вспомнить лидера левых эсеров Марию Спиридонову, расстрелянную в сентябре 1941 года, или Анну Калыгину, бывшего 2-го секретаря Калининского областного и 1-го секретаря Воронежского городского комитетов партии, расстрельный приговор которой лично привел в исполнение "железный нарком" Николай Ежов. Но все же женщин, даже относительно их значительно меньшей доли в номенклатуре по сравнению с представителями сильного пола (Сталин феминизм и все эти суфражистские штучки ох как не любил), и в эпоху Большого террора расстреливали на порядок меньше, чем мужчин.

В.И. Ленин и И.В. Сталин в 1922 г.

Первую в мире женщину-посла назначили потому, что Коллонтай имела прочные связи с европейским социалистическим движением, причем как с левым, близким к большевикам, так и с реформистским. Кроме того, у нее был опыт работы на должности секретаря Международного женского секретариата при Коминтерне в 1921–1922 годах. В 1923–1926 и 1927–1930 годах Коллонтай работала советским полпредом и торгпредом в Норвегии, во многом повлияв на решение о признании Норвегией Советского Союза. Последний любовный роман Александры Коллонтай был как раз в Норвегии с французским коммунистом, секретарем советской миссии Марселем Боди. Он был младше Александры Михайловны на 21 год. Увлеченный революцией, Марсель Боди приехал в Петроград и создал там группу французских коммунистов в изгнании. Он начал работать в аппарате Зиновьева и вместе с ним перешел в Коминтерн, где редактировал журнал "Коммунистический Интернационал". Затем его определили в миссию в Норвегию, учтя знание нескольких языков. Будучи вторым секретарем, Боди

был помощником полпреда Якова Сурица. Марсель постарался уговорить Коллонтай обосноваться в столице, а не в горах. И через несколько дней она переехала в пансион рядом с советским представительством. В ее квартире были спальня и гостиная.

Статус Коллонтай в миссии оставался по-прежнему непроясненным, и они с Марией вернулась в Хольменколлен. Здесь Александра Михайловна ударными темпами написала самую знаменитую из своих книг — "Любовь пчел трудовых", переведенную на многие языки. Там был дан образ женщины будущего, которую автор характеризовала так: "Если в буржуазном обществе право выбора принадлежит мужчине, а на долю женщин достается половая пассивность, быть избираемой или покупаемой, то в коммунистическом обществе это право непременно перейдет к женщине. Женщина, свободная и равноправная труженица, будет сама выбирать себе мужчину, по первому влечению, как "пчелка трудовая"".

А тут Боди сообщил, что наконец пришла шифровка заместителя наркома иностранных дел Литвинова с разрешением "интегрировать" Коллонтай в персонал советского представительства на правах советника. На самом деле еще до отъезда Коллонтай в Москве было решено, что она сменит Сурица на посту главы миссии — дипломатического представителя в Норвегии. В Христиании Яков Захарович, оставив в Москве законную жену, продолжил связь с машинисткой миссии Елизаветой Николаевной Карповой, с которой познакомился еще в 1921 году, в бытность полпредом в Афганистане. Лиза к моменту приезда Коллонтай была уже на третьем месяце беременности. Дальнейшее пребывание Сурица в Норвегии в таких условиях становилось слишком скандальным, и он не сегодня завтра должен был вернуться в Москву.

Тем временем Дыбенко, чья дивизия стояла в Могилеве, забрасывал супругу покаянными письмами, умолил простить и принять. Александра записала в дневнике: "Письмо за письмом летело ко мне из Могилева с одним рефреном: "хочу в Норвегию", "тоскую", "люблю". Я поверила и растаяла <…>".

Теоретически Дыбенко могли, конечно, назначить в состав советской миссии в Норвегии, но далеко не факт, что он получил бы визу, поскольку за ним была репутация "буйного матроса" и головореза. Тогда при содействии своего давнего друга, лидера социал-демократической рабочей партии Швеции и лауреата Нобелевской премии мира Карла Брантинга, тогдашнего главы шведского правительства, ей удалось получить визу для Дыбенко как для своего мужа.

Коллонтай вспоминала: "Визы удалось добиться только после

моей беседы с министром иностранных дел Мувинкелем. Я говорила с ним начистоту: собственно, с Дыбенко я уже разошлась, у него другая жена, но нам надо еще повидаться и поговорить окончательно.

— Я понимаю, — сказал Мувинкель сочувственно, — когда брак расторгается и люди расходятся, есть всякие материальные и юридические вопросы, которые надо урегулировать. Я внутренне улыбнулась, но не стада разубеждать его".

Тут неожиданно Дыбенко прислал письмо от своей пассии, которую в сопроводительной записке назвал "светлым Лучиком". Валентина Стафилевская выразила желание вступить в переписку с "дорогой Александрой Михайловной" и прислала в дар свою фотокарточку. Письмо не сохранилось. О его содержании можно судить лишь по ответному письму Александры Михайловны:

"Милая Валя, ясная моя девочка с горячим наболевшим сердечком! Ваше письмецо <…> — радостный подарок. Я не ошиблась в Вас. И после Вашей весточки ко мне яснее вижу Ваш облик. Пишу Вам и думаю: а что если мой порыв сердца просочится через песок непонимания? <…> Что если она из тех чужих мне женщин с мелко бабьими черепочками? Нет, Вы юная, порывистая, горячая и "человечек". Хочется взять Вашу милую головку обеими руками и нежно Вас поцеловать.

Вы пишете о чувстве "неправоты" и "раскаяния".

Не надо этого, девочка! Ведь страдания все позади. Давно не было так светло, покойно и радостно у меня на душе, как с тех пор, как все стало ясно. Вся мука этих двух лет для всех нас троих построена была на том, что до лета прошлого года не было ПРАВДЫ, а с осени была ПОЛУПРАВДА. Из писем Павла Ефимовича <…> у меня создалось впечатление, что Вас с ним нет, что эта "связь" (я ведь все время считала, что это просто "связь") порвана. Иначе неужели же, милая Валя, Вы думаете, что я бы устраивала приезд Павла сюда? Чтобы длить общую муку? <…>

Но теперь все сложилось к лучшему. Приезд Павла <…> помог мне наконец понять, на чем основаны Ваши отношения с Павлом. Если бы я знала, что здесь не "связь", а любовь, красивая, властная, молодая обоюдная любовь, неужели я не сделала бы еще два года тому назад то, что делаю радостно сейчас? Сколько мук и страданий было бы этим спасено! <…>

Милая девочка, настойте теперь, чтобы Павел признал Вас открыто своею женой. Пусть кончится эта никому не нужная игра в "прятки". Это вовсе не значит, что я "рву" с Павлом, нет, мы слишком большие друзья-товарищи с ним, чтобы такой разрыв был нужен. Но женой Павла, признанной всеми, должны быть Вы,

девочка милая. <…> А я ведь всегда была "холодная женщина" и, как ни старалась, из любви к Павлу, надеть на себя личину "жены" — это мне совсем не удавалось. <…>

Не терзайте себя сомнениями, юная, милая девочка, что я хочу отнять у вас Павла. <…> И не жалейте, что Павел приехал сюда, — теперь всем будет легче, потому что все ясно. <…> Забирайте Павла и с просветленными глазками и успокоенным сердечком уезжайте ВМЕСТЕ в Могилев, в открытую. Мое дело — позаботиться о том, чтобы это не повлекло неприятностей Павлу ни с какой стороны. А в дни сомнений помните: "Вы — Павлика Она". Теперь улыбнитесь мне и протяните руку той, для кого всегда близка боль женского сердца. А. К.".

Но с "Лучиком" любовь у Дыбенко продлилась не так уж долго. Оказавшись в Москве, Валентина отказалась следовать с Павлом к новому месту службы и лишь изредка навещала его. Узы брака их нисколько не сковывали, оба активно крутили новые романы. В письмах к Коллонтай Дыбенко сообщал своей "бывшей", что Валентина "стала совсем невыносимой". После одиннадцати лет супружества, в 1934 году, последовал вполне ожидаемый развод. У Дыбенко завязалась громкая связь с бегуньей-рекордсменкой Зинаидой Ерутиной, с которой познакомился в Средней Азии. После двух лет сожительства она подбросила ему ребенка (не факт, что от него) и ушла. У Дыбенко был уже роман с другой Зиной — 27-летней учительницей Зинаидой Карповой.

Совершенно неожиданно Мария Ипатьевна сообщила, что выходит замуж за норвежского коммуниста Лайфа-Юлля Андерсена, который помогал советским сотрудникам делать обзоры прессы.

Коллонтай писала Щепкиной-Куперник: "Видишь ли, мои муж стал засыпать меня телеграммами и письмами, полными жалоб на свое душевное одиночество, что я несправедливо порвала с ним, что случайная ошибка, "мимолетная связь" не может, не должна повлиять на чувства глубокой привязанности и товарищества, и все прочее… Письма были такие нежные, трогательные, что я уже начала сомневаться в правильности своего решения разойтись с Павлом, прервать наш брак. И вот явилась моя секретарша Мария Михайловна. Первое, что она рассказала мне, что Павел вовсе не одинок, что, когда его корпус перевели из Одесского округа в Могилев, он захватил с собою "красивую девушку", и она там живет у него…

Взбесило меня другое. Моя секретарша тут же рассказала, что Павел заказал на мое имя и будто бы по моему поручению всякого рода женского барахла. Ты знаешь мою щепетильность на

этот счет, и вдруг "заказ" в Наркомпрод для Коллонтай — сапоги, белье, шелковый отрез и бог знает что еще. Все это для "красивой девушки" под прикрытием имени Коллонтай. Я не помню, когда я возмутилась и взбесилась в своей жизни… Тут же написала письмо в ЦК партии, прося их не связывать моего имени с именем Павла, мы с ним в разводе де-факто. Я ни в чем не нуждаюсь и прошу известить Наркомпрод, что никаких заказов не делала и впредь делать не стану. В Норвегии все необходимое имею и купить могу… Пусть Павел поплатится…"

В Москве он получил отпуск "для лечения легких в горах Норвегии". Но после приезда Павла возродить прежнюю любовь так и не удалось. Александра разочарованно писала в дневнике: "Ложь, помноженная на ложь! Каждый день, каждый час. <…> Он пишет ЕЙ все время, неумело скрывая от меня <…>.

Невероятная усталость и тупая до отчаяния тоска. Сознание <…> непоправимого. Наконец-то я поняла: надо уступить, немедленно уступить Павлиной красавице место жены. <…> Если ему нравится молодая содержанка, это, в конце концов, его дело. <…> Говорят, что она из типа совбарышень. <…> Ну и вкусы у нее! Заказала Павлу список заграничных подарков. Вполне типично для этого типа. Des maillots de soie, de la belle lingerie etc (шелковые рубашки, красивое белье и т. д. — фр.) <… > Павел о ней говорит как о дочери польского аристократа. А по-моему, просто плебейка <…>". И она порвала с Павлом, подарив ему на прощание последнюю бурную ночь. "Это конец, — предупредила Александра. — Раз и навсегда". И после этого они предались небывалой страсти. В дневнике Коллонтай охарактеризовала их последнее любовное свидание, заставившее ее вспомнить молодость, как "пик страсти", "угар". Секс продолжался много часов подряд. Она не вышла ни к чаю, ни к ужину. Может быть, еще надеялась, что их любовь обретет второе дыхание. Но не получилось. Дыбенко моментально собрал свой багаж и тотчас уехал, хотя виза его была действительна еще целый месяц. С дороги послал телеграмму — ее содержание комментировать трудно, смысл очевиден, цель неясна: "Мой большой крылатый голуб моя голандская девочка Павел любит тебя последней встречи твой твой Павел". Александра не ответила. А в дневнике записала: "Вот и конец! <…> Вот и конец! <…> Вот и конец! <…>".

По приезде Дыбенко в Осло Коллонтай записала в дневнике: "Первое время на душе было светло, хотя… оттеночек чего-то недосказанного чувствовался. И рада, и будто "любят", а что-то в душе на дне грызет… Иду из полпредства и думаю: "Ну, чего же тебе еще надо, неудовлетворенная, мечущаяся душа? Павел здесь,

все ясно, отношения — без боли, нежные. Чего же не хватает?"

А мне тоскливо… Как бывало только летом в Одессе, когда я, слепая, незнающая, что-то чувствовала, улавливала, отбрасывала, сама стыдилась своих подозрений и страдала от клубка лжи, что нас всех окутывал. Вхожу в комнату, Павел пишет письмо… Увидела — ей!.. Сначала думала, что лечу в мировое пространство (что пропасть! Именно чувство, что теряешь связь с землей, нет опоры). Объяснялись, все, как полагается. Вспылила. Потом пришла в отчаяние. Потом была минута чисто женского удовлетворения — мести. Ага, все-таки любит! Ага, сейчас он со мною! Потом невероятная усталость и тупая до отчаяния тоска. Два дня ходила во хмелю тоски-боли. Потом приняла веронал, заперлась на ночь одна. Наутро встала будто новая, внутренне освобожденная. Поняла: надо "уступить", немедленно уступить ей, Павлиной красавице, место "жены". Если он любит еще частью сердца — останется душевная связь со мной. Но роль жены нет, довольно! Вся история-то из-за того, что все последние годы щеголяла в роли жены. Мне душно в этом наряде, я сама не своя… Пожалуйста, Валентина Александровна, вы желаете стать женой Павла Ефимовича? Честь и место. Я отхожу. И с этого дня отношения наши с Павлом круто изменились. Я точно сбросила с себя чужую мне личину, я перестала "угождать". Павел увидел меня "новую", и в нем вспыхнул огонек — не любви, а тяготенья-страсти. Мы пережили угар, какого еще не было. Горечь, боль пережитого, неизбежность расставания подхлестывали страсть, придавая ей напряженность небывалую. Раньше фоном наших отношений с Павлом была моя забота о нем матерински-настороженная и его бережливая нежность ко мне как к чему-то "маленькому" и "хрупкому". Меньше всего я была для Павла женщиной. Сейчас это вдруг изменилось. Угар крутил нас со странной силой и мукой… А счастья, светлой, греющей радости не было ни часу… Одним решением, оба сразу мы решили, что пора расстаться.

Павел уехал спешно, точно оба боялись, что угар минует и тогда останется один серый, холодный и страшный, перегоревший пепел страсти… А у меня-то еще любовь жива… Злая волшебница еще держит меня в своих чарах…"

6 апреля 1923 года она записала в дневнике: "Я на этом сама настояла, так лучше, справедливее, и мне это легче, не могу совмещать работу с личными переживаниями. С уходящей почтой написала Сталину, что оповещаю партию, что прошу больше не смешивать имен Коллонтай и Дыбенко. Трехнедельное его пребывание здесь окончательно и бесповоротно убедило меня, что наши пути разошлись. Наш брак не был зарегистрирован, так

что всякие формальности излишни. В конце письма я горячо поблагодарила Иосифа Виссарионовича за все, что он сделал для меня, чтобы вывести меня из личного тупика жизни, и за всегда чуткое отношение к товарищам.

"Красивой девушке" — жене Дыбенко — я также написала теплое и хорошее письмо, желая им обоим счастья, и в душе я действительно чувствую облегчение. Надо всегда ставить точку на личные неприятности, тогда открывается незасоренный путь для дальнейшей работы и творчества".

Александра Михайловна написала о разрыве многим, не только самым близким подругам. Она занесла в дневник: "Я известила "друзей" в Москве, что рада за счастье Павла Ефимовича и что у него "прелестная молодая жена". Этим я хочу пресечь невыносимое положение "жены", от которой тщательно скрывают всему свету известную связь мужа".

А подругам признавалась: "Теперь мучает еще одно. Кто она? По типу, облику. Скажете, не все ли равно? Нет, Павел — в значительной мере мое творение. Он растет, и в этом что-то мне дорогое. А вдруг она потянет его вниз, в болото обывательщины? Слухи-сплетни говорят, что она из типа "совбарышень-содержаночек". Она заказала Павлу список подарков из-за границы… Н-да… Типично… Павел о ней говорит, как о "замечательной красавице", дочери "польского аристократа" (гм… гм). Кое-чему она научила Павла. Танцевать, носить шелковое белье — на ночь. Но есть и положительное. Павел бросил пить, кроме пива — и то за едой… И все-таки у меня щемит, что Павел нашел именно ее… Боль матери… Представьте, здесь никто не догадывается о том, что со мной. Я работаю вовсю. И после "Эроса" с его муками и изломами сразу деловито перехожу к закупке стольких-то бочек сельди, к шкурам тюленей, к продаже зерна, к бесконечному вопросу о Шпицбергене".

Щепкиной-Куперник она писала: "Надо имен" дух себе самой признаться: в нашем возрасте влюбленности в нас быть не может. Есть многое другое, что привязывает мужчин к нам: вспышка-тяготение, удобство (мы умеем создавать комфорт и удобство), польщенное самолюбие и т. д. Но все же это не любовь, не та любовь, какую мы получали, когда были в юном возрасте. Что сделать, чтобы от того не страдать? Мой совет: отмежеваться. Я — одно, он — другое. Л любимого брать как приемлешь приятную, необязательную встречу с интересным, приятным человеком… Брать встречи, как читаешь с наслаждением час-другой интересную книгу. Закрыл книгу, положил на стол — и до следующей свободной минуты. Если вздумаешь на отношениях к "ним" в наши годы строить жизнь, получится одно горе, одни

унижения, уколы, муки… Надо научиться быть одной, внутренне одной. Ни на кого не рассчитывать! Скажешь: холодно? Да. И немножко горько. Но зато меньше мук. Зато как подхватываешь неожиданную радость, брошенную "им"! И внутренне удивляешься: "Да ну! Неужели он еще так любит?"…

Я купаюсь в бассейне одиночества. Только из недр собственной, а не чужой, даже любящей души можно получить накопление новых сил для труда и борьбы на моем новом пути. А путь этот новый и немного жуткий своей неясностью".

Теперь у Александры начался роман с Марселем Боди, который считал Дыбенко "неотесанным грубияном" и который был моложе ее на 21 год. Сохранились воспоминания о Боди жившего в Париже русского эмигранта Кирилла Дмитриевича Померанцева: "Он был женат на Евгении Павловне Орановской, которая долго была секретаршей Чичерина, одно время — стенографисткой Ленина.

Это был настоящий самородок, в смысле несоответствия той среде, из которой он вышел. Сын простого ремесленника, он начал свою "карьеру" типографским рабочим в Лиможе, но с 16 лет "влюбился" в Толстого и начал изучать русский язык. Потом стал активным пацифистом и вступил в социалистическую партию Жореса. В марте 17-го он уже в Петрограде, а в октябре — в Москве, где с Паскалем основал "Французскую коммунистическую группу". В эти годы Боди знакомится с Лениным, Троцким, Зиновьевым, Бухариным, Рыковым и другими "красными звездами" того времени. В какой-то момент он стал даже советским гражданином. Когда А. Коллонтай была назначена советским послом в Норвегии, Боди очень быстро стал ее ближайшим сотрудником и советником…

Я не знаю, как иначе представить столь оригинальное "человеческое явление", каким был влюбленный в Россию, в Толстого и в русский народ этот "лимузинец" (уроженец Лиможа). Во Францию он вернулся не без труда в марте 27-го года. С конца 25-го он почувствовал, что "пахнет жареным", — его начали подозревать в "уклонах", а затем он окончательно стал persona non grata. Ему пришлось чуть ли не пешком пройти часть Украины, укрываясь в незнакомых хатах, где его в любой момент могли выдать. Вернулся Боди начисто излеченным от советизма, а вскоре вышел и из французской компартии. Остались лишь нежные воспоминания об Александре Михайловне Коллонтай, портреты которой украшали стены его квартиры в Шату…

Познакомившись, мы очень быстро сошлись. Он был человеком без комплексов, любил рассказывать о своем советском "опыте", причем рассказывал красочно, потрясая кулаками, как

будто был на митинге. А говорить он умел, как настоящий оратор. Иногда мы даже боялись — входя в раж, он так краснел и волновался, что его мог хватить удар.

— Я их знаю, этих ко-ко! Сколько раз я им подписываль чеки! Сколько раз посылаль доллары в дипломатической вализ!

Он любил природу, зверей, птиц. В садике, окружавшем cm дом, он завел кролика, и нужно было видеть, с какой заботой и любовью он за ним ухаживал и как горевал, когда кролика кто-то украл…

Как Рафальские, так и Боди любили природу и мы не раз на моем автомобиле ездили за Париж собирать грибы, ездили на целый день с пикником на какой-нибудь уютной полянке или под деревом, прячась от разгулявшегося солнца. Грибы он собирал честно, хорошо в них разбирался и часто пел при этом русские песни. И тогда его старческий голос звучал молодецки, приводя в восторг и Рафальских, и меня.

Ко всему этому прибавлялись его недюжинные кулинарные способности и радушное гостеприимство…

Я задумал организовать у него (в моей квартирке места бы не хватило) "пикантную" встречу: три "большевика" — Боди, Суварин, Паскаль — чета Рафальских, мой сотрудник и друг Рыбаков (который раньше их и не знал) и я. Боди пригласил еще Паниных. Все мы были антикоммунисты, но каждый по-своему…

Прием Марсель Яковлевич устроил царский. Закуски, вина, жаркое (тушеное мясо, им самим приготовленное, ибо он был первоклассным поваром и это "искусство" любил) были потрясающие, как в ресторанах с "четырьмя звездочками". Прислуживала и помогала на кухне его дочь — жена довольно известного врача…

Из "большевиков" наименьшим "ленинцем" был, пожалуй, Боди. Ему как анархисту и пацифисту была противна всякая диктатура, да и в СССР он отправился в надежде, что марксизм "установит мир во всем мире"…

Да, был Марсель Яковлевич Боди, старик с душою ребенка. В молодости, конечно, имел он романы и "авантюры", но по-настоящему любил только Коллонтай и Бакунина. Коллонтай — дело чисто личное, Бакунин — в значительной степени общественное. Он его знал досконально и не терпел Маркса, потому что тот поссорился с Бакуниным. Восхищался бакунинскими пророчествами о "желтой опасности": "Подумайте, почти сто пятьдесят лет назад, а как верно!" ("Пророчества" действительно были страшноватыми и прочно обоснованными.) Сам Марсель Яковлевич был беспартийным, ни за кого не голосовал, презирая все партии, лишь "сводящие свои партийные

счеты и не заботящиеся о народе". На мои замечания, что все же существуют небольшие пацифистские группы, отвечал, что они "просто больваны, неудачник, ничего в политика не понимающие". Само собой, был абсолютным атеистом, на религиозные темы говорить не любил, было видно, что они ему чужды. (Но насколько же он был человечнее, мягче, отзывчивее многих, считающих себя религиозными людьми, и если "по делам" будет судиться человек…)

Иногда мне приходилось слышать, как он спорил с французскими коммунистами и как он их беспощадно сокрушал своими аргументами: "Вы все судите понаслышке, коммунизма в глаза не видели, а я не только видел и жил десять лет при нем, но я его еще и строил". Знал он и всех кумиров от Ленина до Троцкого, и сам же из Москвы компартиям чеки посылал и знал, на чьи деньги построен бункер на Колонель Фабьен (железобетонное здание ЦК французской компартии на площади Колонель Фабьен). Споры почти всегда кончались посрамлением противников, не знавших, что отвечать такому "бульдозеру", но не думаю, чтобы их могло что-нибудь переубедить: ведь одержимость и фанатизм бытуют вне здравого смысла и логики…

Скончался М.Я. Боди в ноябре 1984 года, и было ему 90 лет".

Связь с Коллонтай была одним из самых ярких событий долгой жизни Марселя Боди. Их роману предшествовали драматические обстоятельства. Врач, рекомендованный верной Эрикой, вскоре после отъезда Дыбенко констатировал у Александры беременность. Последняя бурная ночь не прошла даром! На этот раз ошибки не было. Но рожать Коллонтай не собиралась. Помог Боди, устроивший Александре аборт в небольшой частной клинике при французской религиозной общине. Об этом не узнала ни жена Боди, переводчица и машинистка Евгения Орановская, ни другие члены советской колонии в Норвегии. И о том, что у него мог быть ребенок от Шуры, Павел так никогда и не узнал.

После аборта, сославшись на нездоровье, Александра уехала в любимый Хольменколлен. Здесь она сделала наброски будущего эссе о ревности: "Ревность — это конгломерат биологических и социальных факторов. В ревности есть биологическое начало воссоздания себя в потомстве: стремление получить ласку, связанную с воспроизводством. Чем больше этой ласки (полового акта) достается на долю другой особи, тем меньше вероятия воспроизводства для обойденного субъекта. Тот же физико-биологический инстинкт подсказывает, что чем больше половой энергии растрачено в половом общении с другими, тем меньше этой энергии остается на мою долю и тем ограниченнее

удовольствие и радость, порождаемые половым общением, каковые выпадут на мою долю. Таково было интуитивное начало ревности.

Дальше оно усложнилось еще социальным фактором: УСТАНОВЛЕННЫМ, ВНЕШНИМ ПРАВОМ одного лица на всю половую энергию другого, на весь запас половых ощущений, им порождаемых. Чем крепче внедрялся в человечестве принцип частной собственности, тем больше крепло исключительное право одного лица на ласки другого, купленного им или добровольно отдавшегося ему.

Еще позднее к ревности примешалось чувство оскорбленного самолюбия, вытекающее из той же биологической основы: стремление через половой акт утвердить воспроизводство и продление своего биологического существования в потомстве. Эти мотивы порождают слепую, инстинктивную ревность к самому факту полового общения. Но ревность, как и все душевные эмоции, отрывается постепенно от своей биологической основы, осложняясь душевно-духовными переживаниями. <…>

Что победит ревность?

1) Уверенность каждого мужчины и каждой женщины, что, лишаясь любимых ласк данного лица, они не лишаются возможности испытать любовно-половые наслаждения (смена и свобода общения служат этому гарантией). 2) Ослабление чувства собственности, отмирание чувства ПРАВА на другого <…>. 3) Ослабление индивидуализма, из которого вытекает стремление к самоутверждению себя через признание себя любимым человеком. При самоутверждении личности через коллектив, а не через признание отдельными людьми отомрет оскорбленное самолюбие при измене. 4) Тогда не будет страха душевного одиночества даже без общения с любимым и горя от лишения его ласк.

ОСТАНЕТСЯ ОДНО: поскольку Эрос налицо, измена будет лишь порождать боль, что половые и душевные радости любви любимый делит не со мной, а с другими. Но это будет горе ослабленное, без примеси горечи ОБИДЫ. Чем в более очищенном виде предстает Эрос в новом человеке, тем реже будут факты измены. Самое понятие "измена" отпадет".

Тем временем Суриц в начале 1923 года был отозван из Норвегии и назначен полпредом в Турции. Коллонтай стала официальной главой советской дипмиссии и торгпредства в Норвегии. Она сделала Боди первым секретарем, т. е. вторым лицом миссии, поскольку советников в ее составе не было. К тому времени он уже стал ее любовником.

Вскоре после вступления в должность Коллонтай подписала контракт о покупке в Норвегии 400 тысяч тонн сельди и 15 тысяч тонн соленой трески. Ее пришло приветствовать в полном составе руководство местного профсоюза рыбаков. Ответную речь Александра Михайловна произнесла на чистом норвежском и почти без акцента. Она также устроила грандиозный прием в столичном Гранд-отеле в честь Фритьофа Нансена, который, как было сказано в приглашении, "спас тысячи людей на Волге", возглавив кампанию по оказанию помощи голодающим в Советской России. Тост в честь Нансена она произнесла по-норвежски, повторив его на французском, английском, немецком, шведском, финском и русском языках. Это потрясло присутствующих, проникшихся настоящим уважением к советскому послу.

5 июля 1923 года поделилась своими размышлениями с Марией Федоровной Андреевой, актрисой и женой Максима Горького: "Если я Вам скажу кратко: тов. Дыбенко сейчас не один в России; с ним юное, очаровательное существо… Вы за этим кратеньким сообщением прочтете целую повесть, которая разворачивается за кулисами деятельно-ответственной работы "на виду"… Улыбнетесь и скажете: знакомо! А когда я прибавлю к этому: но вместе с тем т. Дыбенко ни за что не хочет меня терять, и мы очень близки, и я уже приняла девочку и даже забочусь о ней, Вы покачаете головой и скажете: банально до скуки!.. Раньше они уходили от жен к нам, свободным Лилит… Сейчас это обычное, очень обыкновенное, юное, безличное существо, кто побеждает нас. В чем очарование этих девочек? Юность? Нет, не только это. Их сила в том, что "их" — нет, нет личности… Они не мешают мужской индивидуальности. Они, как зеркало, ловят и отражают… Это отвечает мужскому самодовлению. В этом их скрытая власть. И потом — они такие беззащитные, их всегда надо жалеть… Верно?.. Знаю, что Вы человек крепкий. Но Вы вместе с тем и женщина, а значит, и у Вас бывают часы, когда надо чье-то тепло, чьи-то нежно жалеющие глаза, чей-то душевный отклик… В такие часы вспомните обо мне…"

Норвегия не признала пока de jure Советский Союз, но Коллонтай уже подготовила проект соответствующего договора. Ее вызвали в Москву. Ответной шифровкой Коллонтай сообщила, что выедет вместе с Боди.

Для них были забронированы два номера в 1-м Доме Советов, снова ставшем гостиницей "Националь". Предупрежденный о ее приезде из Могилева приехали Дыбенко с Валентиной. Она оказалась полненькой девушкой, которой на вид было не более шестнадцати лет. Боди оставил их втроем, а вернувшись, застал

Александру лежащей поперек кровати с сердечным приступом. Спешно вызванный врач предписал полный покой, но уже на следующий день Коллонтай отправилась в Наркоминдол и Наркомвнешторг. Однако там никакие вопросы решить не удалось. Пришлось идти к Сталину.

В "Национале" Александру Михайловну посетили некоторые члены бывшей "рабочей оппозиции". Один из них, Николай Кузнецов, заявил ей: "Вы наш представитель за границей". Она ничего не ответила. Через несколько дней Коллонтай вызвали в Центральную контрольную комиссию и потребовали дать объяснения по разговору с Кузнецовым. Стало ясно, что он — провокатор, подосланный чекистами.

В тот момент проходила очередная кампания против лидеров "рабочей оппозиции". 19 ноября 1923 года Дзержинский обратился к секретарю ЦК Молотову со следующим письмом: "Считаю пребывание Мясникова на свободе сугубо опасным. Во-первых, для всех это непонятно и является доводом, что ЦК боится его или чувствует свою неправоту в отношении "Рабочей группы". Затем Мясников, вернувшись сюда и не находя того, за чем пода приехал (переговоров и договора с ЦК), теряет всякую почву и, будучи психически неуравновешенным, может выкинуть непоправимые вещи… Поэтому я думаю, что Мясников должен быть арестован. О дальнейшем необходимо решить после его ареста. Думаю, что надо будет его выслать так, чтобы трудно было ему бежать".

Исключенного из партии Гавриила Ильича Мясникова арестовали. 24 ноября Политбюро поручило председателю Центральной контрольной комиссии Валериану Владимировичу Куйбышеву: "Вызвать тов. Коллонтай и переговорить с ней". Указание было исполнено. После беседы Куйбышев составил записку для Политбюро и в президиум ЦКК: "Для меня совершенно очевидно, что т. Коллонтай скрывает свое испитое отношение к "Рабочей группе" ("Рабочая группа" — чисто чекистское изобретение. Люди Дзержинского утверждали, что бывшие лидеры "рабочей оппозиции" создали нелегальную "Рабочую группу". — Б.С.) и что на деле она близка к ней. Это с очевидностью вытекает на материала, добытого следствием по делу "Рабочей группы"…

Следствием установлено следующее: Во время пребывания т. А.М. Коллонтай в Москве (июнь — сентябрь 1923 г.) на ее квартире было устроено два совещания с представителями "Рабочей группы": Кузнецовым, Махом и Кочновым… Ответы т. Коллонтай на мои вопросы в связи с данными следствия явно уклончивы и неискренни… Следствием не установлено, что т.

Коллонтай состояла членом "Рабочей группы" или входила в заграничное бюро "Рабочей группы". Но безусловно установлен факт ее связи с активными деятелями этой группы, устройства с ними конспиративных совещаний, одобрения ею организационного оформления и общей политической линии этой группы…

На основании изложенного и ввиду высказанного т. Коллонтай недоверия к партии и нежелания ею сказать всю правду, партии имеет право не доверять т. Коллонтай ту ответственную работу, которую она сейчас ведет. Тов. Коллонтай должна быть отозвана из-за границы, и дело ее должно быть передано на рассмотрение ЦКК".

Позднее, в 1923 году, Коллонтай вновь побывала на приеме у Сталина. Она заявила, что полностью порвала с оппозицией, что, очевидно, соответствовало действительности, и целиком разделяет генеральную линию партии. Сталин обещал помочь и сделать так, чтобы никто не попрекал ее оппозиционным прошлым. Для него было важно, что Коллонтай терпеть не могла ни Троцкого, ни Зиновьева. Поэтому материалам Дзержинского на Коллонтай не был дан ход.

Мясникова освободили из заключения весной 1927 года и сослали в Армению. Оттуда он в 1928 году сбежал в Иран, а в 1930 году поселился в Париже. В декабре 1944 года Мясников по приглашению советского посольства во Франции возвратился в Москву, наивно думая, что старые грехи ему простили. Но уже в январе 1945 года он был арестован, а 16 ноября расстрелян. Реабилитировали его только в 2001 году.

Г.И. Мясников

Не следует думать, будто Гавриил Ильич, как и другие соратники Коллонтай по "рабочей оппозиции", был белый и пушистый. Мясников был организатором убийства великого князя Михаила Александровича и лиц из его окружения. Об этом он довольно цинично вспоминал: "Но что же я буду делать с этими двенадцатью, что охраняют Михаила? Ничего не буду делать. Михаил бежал. ЧК их арестует и за содействие побегу расстреляет. Значит, я провоцирую ЧК на расстрел их? А что же иначе? Иного выхода нет. Выходит так, что не Михаила одного убиваю, а Михаила, Джонсона, 12 апостолов и двух женщин — какие-то княжны или графини, и, несомненно, жандармский полковник Знаменовский. Выходит ведь 17 человек. Многовато. Но иначе не выйдет. Только так может выйти… Собирался убить одного, а потом двух, а теперь готов убить семнадцать! Да, готов. Или 17, или реки рабоче-крестьянской крови… Революция — это не бал, не развлечение. Думаю, даже больше, что если все сойдет гладко, то это послужит сигналом к уничтожению всех Романовых, которые еще живы и находятся в руках Советской власти". Мясников готов был убивать невиновных, если считал убийство оправданным интересами "рабочего класса". Что,

разумеется, не оправдывает беззаконную расправу над ним самим.

Переписка с Дыбенко продолжалась, и почти после каждой) нового письма Боди приходилось вызывать к Александре врача — болело сердце.

Валентина писала ей: "Милая, славная Александра Михайловна! <…> Часто-часто вспоминаем о Вас с чувством большого уважения, которое даже трудно выразить словами. Родная, спасибо за все. <…> Приехав в Могилев, занялись хозяйством. П.Е. обменял "немца" (ганноверского жеребца-производителя. — Б.С.) на корову, теперь их две. Курицы, которые никак не хотят реагировать на мое желание иметь каждый день свои яйца, отказываются нестись. Решила сделать им "чистку". Поросята уже выросли, большие и такие забавные. <…> П.Е. каждый день встает в 6 часов и роет грядку, осматривает "хозяйство", теперь это его очередное увлечение. Никак не могу повлиять на него, чтобы он читал <…>.

Милая Александра Михайловна, когда Вы приедете в Россию? Мне кажется, <…> там должна у Вас являться тоска по родине, хотя, конечно, у Вас, несомненно, есть везде люди, друзья, которые Вас глубоко уважают и любят. <…>"

К этому письму была приписка Дыбенко: "Милые серые глазки они когда-то будут читать и мое письмо". И был приложен оттиск его статьи в журнале "Революция и война" — о роли личности в истории, — фрагмент дипломной работы, написанной ею. На оттиске было посвящение: "Шуре — гордой пальме оазиса творчества и великой свободной неповторной любви от Павла".

Еще в Христианию пришло сообщение о том, что Британское общество сексуальной психологии избрало Коллонтай своим почетным членом. Она обрадовалась и отметила в дневнике: "Все-таки не так уж много русских женщин избираются почетными членами научных ассоциаций, да еще в самой гордой Британии". И отправила в Лондон благодарственное письмо. И, гордая признанием, тут же написала эссе "Об Эросе", где вскрыла женскую сексуальную психологию. Там говорилось: "У мужчин любовь гораздо <…> сильнее окрашена половыми побуждениями, чем у женщины. Эрос полнее выражен у мужчин. У женщин любовь, осложненная душевными эмоциями, бедностью душевно-духовной жизни вообще, отсутствием поля душевного творчества, за исключением любовных переживаний, в гораздо большей мере, чем любовь мужчины, окрашена привходящими психическими эмоциями, оттесняющими на задний план половое влечение. Для мужчины Эрос — основа любви, для женщины Эрос — привходящий и преходящий

момент. Отсюда — конфликтность, несозвучие. <…> Мужчина может продолжать уважать женщину, которую он разлюбил, может сохранить с ней даже духовное общение, но душевно она ему будет глубоко, неизбывно безразличной. Женщина, разлюбив мужчину, утратив с ним даже духовную связь, может испытывать к нему органическое, почти материнское тепло и понимание. Он остается ей внутренне родным и близким…

Конечно, и у женщин, как и у мужчин, бывают периоды повышенных сексуальных запросов. Почему-то они стыдятся говорить открыто. <…> У женщины, даже когда физическая потребность, когда страсть налицо, она старается наделить героя вечными "добродетелями", чтобы можно было дать ему душу. Иначе она сама себя презирает. Отсюда масса запутанностей. Страсть потухла, но ее подменяешь "душевной близостью" и завязываешь нити, которых нет. Мучаешься непониманием, пока не дойдет до ненависти…

Глупо, глупо делают женщины, каждое свое увлечение "поэтизируя", переводя возлюбленного в мужа. Тогда-то и наступает всему конец. <…> Чем богаче личность, тем любовь многограннее, красивее, богаче, тем меньше места для узкого сексуализма. В будущем любовь будет разлита во всем. К половой особи — чистый Эрос, без примеси привычного преклонения, жалости и других привходящих эмоций, искажающих Эрос. <…> Любовь — это творчество, выявление лучших сторон своего я дает удовлетворение. Любовь без возможности себя проявить — мука".

Отвечая на письмо одной из своих юных поклонниц, Коллонтай сделала довольно забавный, вульгарно-социологически-эротический разбор творчества Ахматовой: "Вы спрашиваете меня, мой юный товарищ-соратница, почему вам и многим учащимся девушкам и трудящимся женщинам "близка и интересна" Анна Ахматова, "хотя она совсем не коммунистка". <…> В ее трех белых томиках трепещет и бьется живая, близкая, знакомая нам душа женщин переходной эпохи, эпохи ломки человеческой психологии. <…> Ахматова на стороне не отживающей, а создающейся идеологии. <…> Ахматова вскрывает весь наивный эгоизм любящего мужчины, наносящего легко и небрежно глубочайшие раны своей подруге… <…> Пролетарская идеология в области отношений между полами построена на иных принципах, она не может допустить неравенства даже в любовных объятиях. <…> У каждой женщины — прежде всего долг служения коллективу, а затем уже обязанности к мужу и детям".

В Норвегии Александра Михайловна по мере сил пропагандировала достижения советской власти в обеспечении

равноправия женщин. Еще в ноябре 1920 года Совнарком разрешил легально производить аборты в медицинских учреждениях. А теперь в Христиании Коллонтай записала в дневнике: "Я с увлечением рассказывала норвежской общественной деятельнице Тове Мур, врачу по профессии, какие благоприятные результаты принесло нам проведение закона, допускающего аборты. Во-первых, уменьшилось количество женских заболеваний от варварским образом проведенных нелегально абортов; во-вторых, уменьшилось число детоубийств, совершаемых чаще всего одинокими, брошенными женщинами. Это огромные достижения за короткий срок действия закона об абортах…

Когда она ушла, я вспомнила, как у нас без сопротивления прошел закон, допускающий аборты. На заседание женотдела при ЦК партии, на которое собрались руководительницы московского и районных женотделов, пришла Надежда Константиновна Крупская, и Вера Павловна Лебедева как заведующая отделом материнства и младенчества сделала доклад и горячо высказалась за рассматриваемый проект закона об абортах.

Но я помню, как при встрече Ленин сказал мне, что хотя он считает это мероприятие своевременным, но с укреплением социалистического хозяйства, с поднятием благосостояния всего советского населения и широким развитием всей сети охраны и обеспечения материнства и младенчества закон об абортах отомрет сам собою, он станет тогда излишним. Я думаю, что еще долго в Советской России нам нужны будут врачебные консультации для женщин как в отношении общей гигиены, так и по вопросу превентивных методов".

И здесь правда осталась за Коллонтай, а не за Лениным. Запрет абортов и отсутствие средств контрацепции (а в Советском Союзе они появились не ранее 60-х годов XX века), как показывает опыт многих стран, приводят не только к неблагоприятным последствиям для здоровья женщин в результате криминальных абортов и к детоубийству, но и к большому числу нежелательных детей, как правило у матерей-одиночек. Социализация таких детей оказывается чрезвычайно затруднена, а уровень преступности среди них особенно высок.

Коллонтай была также сторонницей военной службы для женщин, считая ее признаком равенства: "С призывом женщины в войска окончательно закрепляется представление о ней как о равноправном и равноценном члене государства".

Сегодня, в начале XXI века, для европейских армий, в том числе для армий США, Канады, Австралии, Новой Зеландии и Израиля, в службе женщин, в том числе и в боевых частях, уже

нет никакой экзотики. Это всего лишь обыденная повседневность.

"Ты, конечно, знаешь, — писала Шуре Зоя Шадурская, — что у нас чистка членов партии непролетарского происхождения. Об одной студентке вуза, комсомолке, мне сказал один ее товарищ: "Лену вычистили". — "Помилуйте, за что? Она же ради партии из дома ушла, она такая преданная!" — "Верно, но они с Николкой обособились. Любовь, говорят. То мы жили все вместе, даже переживания вместе переживали, и все другое тоже вместе, по желанию и по справедливости, а они теперь не коллективно, а только вдвоем. Это же конфликт с коллективом". — "Да что же, разве уж и жениться нельзя?" — "Сейчас? Жениться?! Да вы что!.. Почитайте товарища Коллонтай". Отвечаю со смехом: "Я читала". — "Значит, плохо читали. Почитайте еще раз".

Ни в дневниках, ни в письмах Коллонтай не осталось никакой реакции на смерть Ленина. Только Боди в своих воспоминаниях указал, что однажды, гуляя по Хольменколлену, он спросил у Александры, был ли ленинский сифилис наследственным или благоприобретенным. Покраснев, Коллонтай ответила: "Приобретенным". И уточнила: смерть Инессы Арманд обострила болезнь Ленина, которая и привела его к смерти. И еще она говорила своему французскому другу, что "никаких следов демократии в партии не осталось". И призналась: "Ради этого мы делали революцию? За это боролись? Об этом мечтали?" Коллонтай заявила Боди, что "все ОНИ, — окончательно поверив в порядочность нового друга, сказала ему Коллонтай, — мазаны одним миром. Я для себя решение приняла: отстаивать долговременные, постоянные интересы России, а не интересы политиков, которые там сегодня у власти".

Норвегия в 1924 году признала Советский Союз, но обусловила признание de jure предоставлением ей ряда концессий и закупкой новой партии рыбы. В связи с заключением соответствующего договора Коллонтай побывала у Сталина, который полностью одобрил ее работу. "Уходя от Сталина, — записала она в дневнике, — бегу, не дождавшись лифта, по лестнице с чувством величайшего счастья и благодарности". А вернувшись из Москвы, сказала Боди: "Борьба за власть будет жестокой, продлится несколько лет, и повторится пример французской революции. Очень скоро Сталину придется прибегнуть к насилию, чтобы ИХ победить, и он прибегнет, будьте уверены. Ничто его не остановит". Непохоже, что в тот момент Александра Михайловна будущее сталинское насилие осуждала. Скорее считала необходимым и неизбежным.

Александра так разволновалась, что ночью у нее начался сильный сердечный приступ, осложненный острой почечной

коликой. Коллонтай запретила Боди вызвать "скорую помощь" и о чем-нибудь сообщать в полпредство. Дождавшись утра, она сама позвонила Эрике. Под величайшим секретом ее устроили в частную клинику, а Боди объявил сотрудникам, что Коллонтай переутомилась и просит ее не беспокоить. Сотрудники не поверили и стукнули в Москву. Литвинов телеграфировал: "Немедленно сообщите что случилось". "Спасибо за беспокойство полностью выздоровела", — ответила Коллонтай, хотя до выздоровления было далеко. Она объяснила Боди: "ОНИ ТАМ рады не рады, если я заболею. Пришлют какого-нибудь интригана — временно меня заменить. А временное станет постоянным".

Александра Михайловна понимала, что в стране творится что-то неладное, но исправить ничего не могла. 14 февраля 1924 года она записала в дневнике: "Нет, женотдельская работа и агитация на фронте или в Наркомсоцобесе куда приятнее, чем эти сложности, заминки и вечные волнения в дипработе". Но на самом деле именно дипломатия стала ее стихией, и на этой работе она по-настоящему нашла себя. Здесь очень пригодился опыт общения с социал-демократическими лидерами, которые, кстати сказать, потом оказались у власти в Норвегии и соседних Швеции и Финляндии.

25 апреля Коллонтай с похвалой вспомнила епископа Отенского: "Я уже убедилась в правоте слов Талейрана, что в дипломатических вопросах чрезмерное усердие, совершенство в обладании благами — способность, благодаря которой ее обладатели управляют сами собой, и спешка часто ведет к плохому".

Пришел циркуляр со списком запрещенных книг, которые требовалось изъять из посольской библиотеки. В списке, среди прочих — Библия, Коран, Шопегауэр и даже Жюль Верн, чья фантастика считалась слишком безыдейной. Коллонтай иронически отметила в дневнике: "Меня пока там нет. Буду".

Дыбенко прислал свою книгу "Мятежники" — рассказ о том, как лихо он расправлялся с восставшими "братишками" в Кронштадте. Книга имела посвящение: "Эти воспоминания посвящаются другу и соратнику на революционном поприще Александре Михайловне Коллонтай". Вероятно, эту книгу писала уже Валентина. А на своей книге про свободную любовь Александра сделала дарственную надпись: "Марселю Боди — незаменимому соратнику, ценному советнику, очень дорогому другу".

Тем временем Валентина Стафилевская продолжала писать Коллонтай: "Шурочка меня спрашивает, в чем мое призвание? Я всем увлекаюсь, но, к стыду своему, ни до чего не дошла. <…> А

потом Шурочка мне напишет еще чем заниматься и какой язык лучше изучить. Спасибо, спасибо, милая, я получила ваш журнал мод. Какой интересный! Там такие славные шляпы и воротник один мне очень понравился, так что я хочу уже его позаимствовать. Такой пикантный и сзади ленточки. А прически какие! Но все не домашние, а куда же у нас ходить? <…>

У нас большое хозяйство. Огороды полоть надо. Пропади три курицы, тщетно искали их. Посадили с Павлом рассаду капусты, окапывали малину. Взошли огурцы. Теленок уже большой, беленький, такой кудрявый, как Павел. Завтра начинаю его отпаивать отваром льняного семя, а то Павел сердится, что молока много выпивает. <…> Шурочка, знаете чего еще хочется? Угостить Вас своей домашней сметанкой с творогом, так густо залить и засыпать сахаром. Шурочка, я знаю, сладкоежка, как бы Вас угостить? Я люблю свою сметану и прозвана Павлом сметанщицей, но к конфетам я в противоположность Шурочке безразлична <…>".

"Хочется, чтобы Вы были близко-близко, такая тепленькая и чтобы слышать Ваш голос. <…> Вот Вы описали ночную Христианию. Ведь как музыка. Только знаете, Шурочка, мы письмо читали вместе с Павлом и, когда он прочел, что Вы проводите эти чудные вечера с М.Я. [Боди], ревнивые искры так и запрыгали в глазах. Я заметила это. Я всегда говорю Павлу, что он большой эгоист. Вот мне даже стыдно, что Вы считаетесь со мной (в письме Вы так много об этом пишете), а ведь он об этом никогда не думает. И когда от этой обиды я часто плачу, то он мне говорит, что у меня "просто глаза на мокром месте". И я теперь часто и с ужасом думаю, какая бы "постоянная драма" была у нас, если бы Павел узнал, ну например, что Вы встретили человека, который бы Вам нравился и стал бы Вашим мужем. Что бы тогда было, даже страшно подумать. <…> Тепленькая наша Шурочка, напишите, что Вы делаете, над чем работаете, как проводите дни".

Александра вежливо отвечала:

"Дорогая Валя <…>, с большим интересом прочитала о Ваших хозяйственных заботах <…> У меня тоже работы хватает. Например, за последние три дня два официальных обеда, два деловых завтрака, четыре интервью, выезд на фабрику сардинок и бессчетное количество телефонных разговоров. В ближайшие дни предстоит обед у германского посла и чай у шведского. <…> Много встреч с артистами, художниками, музыкантами. <…>

Вы спрашиваете, милая Валя, что я читаю, что нового в театрах. <…> Ибсена, конечно, прежде всего. Гамсуна, Стриндберга. Юхан Стриндберг — шведский писатель, но его

очень любят и в Норвегии, и во всем мире, он ярко показал гнилую сущность мещанства. Очень интересен драматург Хельге Крог, продолжающий традиции Ибсена, он ярко показывает деградацию буржуазной семьи и убожество мещанской морали. <…> Можно отметить и творчество Сигрид Унсен, чьи исторические романы овеяны духом романтики. <…> Любопытна философская драма Вильденвея "Движение по кругу". <…> В музыке кроме Грига конечно, безраздельно царит Свенсен. Интересен и Хурум, у него очень ощутимы влияния музыкального импрессионизма. И конечно, Вален, сумевший преломить принципы так называемой новой венской школы. А вот своего балета у норвежцев почти нет, балеты здесь ставит русский танцовщик Тарасов, он живет здесь еще с довоенной поры. <…> Читаю певцов утонченного индивидуализма — Гауптмана, Гамсуна, Уайльда, Рескина <…>".

6 апреля 1924 года Александра Михайловна с обидой сообщала Зое Шадурской из Христиании: "На днях получила книжечку: женское движение, организация работниц в России. Исторический очерк. Сознательно — всюду опущено мое имя. А составляли — свои… Ученицы, соратницы… И было больно до отчаяния. Не укол самолюбия. Боль глубже. Клевета на историю, искажение действительности, правды жизни…"

К счастью, данный факт не означал опалы. Имя Коллонтай не было под запретом. Но вышедший в 1924 году сборник ее художественных произведений "Любовь пчел трудовых" подвергся суровой партийной критике. Один из рецензентов писал: "Как могла она так долго считаться одним из вождей не только русского, но и международного женского коммунистического движения? Встает невольно вопрос: почему она имеет еще до сих пор читателей, читательниц и почитателей? Почему идеалистическая фразеология по форме и архиинтеллигентское содержание ее произведений могли увлекать и нравиться даже рабочей среде? Почему эта Жорж Санд XX века, опоздавшая своим появлением на полстолетие и копирующая свой оригинал так, как фарс копирует трагедию, могла быть властительницей дум женской части пролетариата, совершившего величайшую революцию в мире и указывающего путь к освобождению пролетариата других стран?"

После этого Александра Михайловна поняла, что ей не стать знаменитой советской писательницей. А в 1925 году Сталин как раз бросил лозунг: "Трудящиеся женщины, работницы и крестьянки, являются величайшим резервом рабочего класса. Выковать из женского трудового резерва армию работниц и крестьянок, действующих бок о бок с Советской армией

пролетариата, — в этом решающая задача рабочего класса".

Казалось бы, в жизнь воплощались идеи Коллонтай об общественном труде женщин. Однако на самом деле Сталин не собирался допускать какого-либо независимого феминистского движения в СССР. Более того, даже каких-либо серьезных женских организаций, пусть и под партийным контролем, в Советском Союзе не было создано. И представительство женщин в орган власти и на руководящих должностях в экономике оставалось ничтожным за все время существования СССР. Так, в Политбюро (Президиуме ЦК КПСС) не было женщин, за исключением кратковременного пребывания в составе Президиума Екатерины Фурцевой в качестве секретаря ЦК. А к конце 20-х годов из советской пропаганды исчезла даже феминистская риторика.

На следующий день после признания Норвегией СССР де-юре, последовавшего 15 февраля 1924 года, Коллонтай вручила норвежцам ноту, в которой, в частности, говорилось: "Советское правительство признает суверенитет Норвегии над архипелагом Шпицберген, включая остров Медвежий, и вследствие этого в будущем не будет выдвигать возражений против договора о Шпицбергене от 9 февраля 1920 года и приложенного к нему Горного регламента". Тем самым была решена шпицбергенская проблема во взаимоотношениях двух стран.

Теперь Коллонтай превратилась из главы дипмиссии в полномочного представителя, полпреда, что приравнивалось к послу. Александра Михайловна стала первой в мире женщиной-послом. "Удовлетворение от этого получила, — отметила она в дневнике, — радости никакой". Разве что теперь резиденция стала престижнее — квартира миллионера Анкера на Томас-Хефтигатен.

"В 1925 году, — вспоминала Коллонтай, — я в первый раз устроила прием 7 ноября для дипломатов, правительства и норвежской общественности. Прием был обставлен с подобающей роскошью в полпредстве. На шести столах стояли двухкилограммовые банки со свежей икрой — роскошь небывалая в Осло. Даже на обедах у короля свежая икра подается лишь на маленьких сандвичах. Живые цветы, лакеи с "Советским Абрау-Дюрсо" усердно подливали в бокалы, а в перерыве давался концерт русской музыки, и молодая норвежская танцовщица танцевала на манер Дункан под русские мелодии…"

В том же году деловые переговоры привели Коллонтай в Лондон. Здесь она сблизилась с советником посольства и будущим послом Иваном Михайловичем Майским, тоже бывшим меньшевиком и министром колчаковского правительства.

Шляпников же в Париже оказался лишь на посту советника.

Ему объявили строгий выговор за публикацию совместно с Медведевым в "Бакинском рабочем" открытого письма, где утверждалось, что "вся деятельность Коминтерна свелась к насаждению материально немощных секций и к содержанию их за счет достояния российских рабочих масс, за которое они платили своей кровью и жертвами… Создаются оравы заграничной коммунистической челяди, поддерживаемые русским золотом…" После этого Шляпникова отозвали в Москву и нового назначения не давали. Медведева же вообще исключили из партии.

Александр Гаврилович писал своей бывшей любовнице: "Дорогая Александра Михайловна. <…> Письма от Вас, числом три, нами получены. Не писал, так как ждал Вашего приезда <…>

Здоровье немножко поправил, но все же от головокружения не избавился. Закончил брошюру о революции 1905 года и еще одну о Франции, а теперь работаю над третьим томом (мемуаров. — Б.С), по-прежнему жду, но ни партийной, ни профсоюзной работы не дают. Так что Вы можете себе представить, каков круг моей общественной жизни. Мириться с таким положением, конечно, нельзя. <…> Что поделывают наши норвежские друзья, что в моей милой Франции? Я ничего не знаю, от всего оторван. Хольменколлен, наверно, в снегу. Вспоминаю наши прогулки…"

Коллонтай же счастливо избегала подобных неприятностей. Она очень рано осознала, что формирующемуся новому политическому режиму нужны не ораторы, а бюрократы. Бюрократом она была плохим, но работала главой небольшой по штату миссии в небольшой стране, так что бюрократии в ее работе было немного. Зато было много живого человеческого общения, связанного с постоянными контактами с людьми.

Александру Михайловну все больше беспокоили почки. Пришлось несколько раз ложиться в клинику, ездить на воды в Баден-Баден. Из клиники она писала сестрам Шадурским: "Мои милые сестрички, Зоя и Вера, как странно подумать, что мы все трое прошли такую путаную, странную, необычайную дорожку жизни. <…> Вижу, как вьется наша жизнь тоненькой тропочкой среди серых, нахмуренных гор, среди зелени полей. Вьется, все ищет вершины. По-своему вьется, новую тропочку кладет…

Забрал ись высоко, дышится легко, перевал впереди, а вместо того летим вниз, в долину, где пасутся коровы со звоночками, тихо, ладно, мирно. "Отдохни", — приглашает жизнь. Некогда. Вершин-то много, всюду перебывать надо. И торопимся, и ползем… Закроешь глаза — плывет прошлое. Будущего нет. Только прошлое и прочитанное. И ничего больше".

А в письме Зое признавалась, что "у меня новое увлечение: танцы! Все танцуют, и я с ними. Очень понравилось. Ритм. Движение. Какую-то легкость в себе чувствуешь. Значит, соки не иссякли…"

Миша представлял то в Англии, то в Швеции, то в Германии различные внешнеторговые ведомства. Его жена Ирина Александре Михайловне понравилась. Познакомились они в Берлине.

Дыбенко писал: "Милая, родная, как Твое здоровье? Удалось ли Тебе <…> уехать в горы? Кто с Тобой? О как бы мне хотелось хотя бы на минутку быть возле Тебя, вдохнуть в Тебя жизнь, поднять на мои грубые сильные руки, заглянуть в глаза, увидеть Тебя снова бодрой, жизнерадостной. <…> Еду на два месяца в Кисловодск ремонтировать себя. Скверно с сердцем, сильное расширение. Буду жить там, где были прожиты красивые, неповторимые минуты с Тобой. За этот год стал совершенно лысым. Работаю много. Устаю невероятно. Шура, почему ты не пишешь? Неужели Ты стала безразлична ко мне? Я жажду Твоих писем. Твой Павел".

"Шура милая, родная! Весьма и весьма рад и благодарен твоему письму. Значит, ты скоро приедешь? С тревогой жду увидеть тебя, поделиться с тобой, моим верным, преданным другом. <…> В деловой жизни все идет как будто бы гладко. Личная жизнь с неровными скачками. <…> Живется не совсем сладко. Часто вспоминаю Тебя. Но увы… Твой Павел".

Между тем Коллонтай обвинили в чрезмерной тяге к роскоши: она, дескать, слишком много выписывает из Европы платьев, манто и мехов. В Осло прибыл представитель ЦКК для проведения ревизии. Коллонтай написала письмо председателю ЦКК Куйбышеву. В ответ пришла шифровка, что Боди отзывается для получения нового назначения. Их отношения давно уже не были тайной ни в Осло, ни в Москве. Коллонтай заявила, что они уедут только вместе.

Сравнивая Сталина с Троцким, Александра говорила Боди, что у Сталина нет ни культуры Троцкого, ни знания марксизма, что он не оратор, не писатель, но зато имеет адское терпение. И еще Коба, по ее мнению, сразу заметил, что у Троцкого есть поклонники, но нет друзей. Самой уничижительной характеристики удостоился от нее Зиновьев: "Надутый хвастун, опьяневший от неожиданно доставшейся власти". Бухарина и Рыкова она уважала, хотя и не любила. А Молотова назвала воплощением серости, тупости и сервильности.

Когда пришло повторное предписание Марселю Боди немедленно прибыть за новым назначением, Коллонтай

отправилась вместе с ним, не спрашивая чьего-либо согласия. Чтобы растянуть дорогу, они поехали через Швецию и Германию. В Осло остались жена Марселя и его трехлетняя дочь Пьеретт. В Стокгольме Коллонтай прочла лекцию о "семье будущего", где утверждала: "Изживший себя институт семьи противоречит идее коммунизма; вместо нее надо просто создать фонд помощи всем, кто нуждается из-за последствий свободной любви". Что ж, сама она в жизни была верна этому принципу. Даже официальные мужья для нее были не мужья, а любовники. Постоянным уходом и воспитанием сына она никогда не занималась, хотя регулярно помогала ему.

В Берлине Коллонтай и Боди встретились с Раковским, который тогда был послом в Париже. Он посоветовал Боди временно воздержаться от поездки в Москву и сначала отправиться во Францию, чтобы "урегулировать свой статус". Во Франции Боди не был девять лет, и ему грозило наказание за дезертирство, но он все-таки поехал. Видимо, Раковский намекнул, что в Москве его может ждать арест. Коллонтай же 23 декабря 1925 года выехала из Берлина в Москву.

В Москве Чичерин, женщинами по причине своей нетрадиционной сексуальной ориентации никогда не интересовавшийся и к чарам Шуры равнодушный, попенял ей, что, по данным ревизии, только за одну поездку в Берлин она купила 50 платьев. Коллонтай парировала: модные наряды полпреда поднимают престиж страны. Чичерин возмутился: "Вы представляете не просто какую-то страну, а государство рабочих и крестьян. У нас другие нравы, подлаживаться под буржуазный мир мы не будем".

А.М. Коллонтай за работой

Александра Михайловна оскорбилась и подала в отставку с поста полпреда в Норвегии, но просила оставить на дипломатической работе. В наказание за траты Коллонтай посольству в Осло урезали содержание. Ей обещали пост полпреда в Испании, и Александра тотчас сообщила с оказией Боди, что он поедет в Мадрид вместе с ней. Но власти Испании, где сохранялась католическая монархия, отказались выдать агреман женщине-послу. Коллонтай отправилась в Осло для вручения отзывных грамот, а затем уехала в Германию на несколько месяцев для лечения обострившегося нефрита. В апреле 1926 года она поселилась в Халензее — курортном пригороде Берлина. Через два дня приехал Боди и поселился в соседнем номере. На столе лежало написанное по-французски письмо. Александра шепнула ему: "ЭТО я не смею сказать вслух". В письме говорилось:

"Дорогой Марсель Яковлевич! По зрелому размышлению хочу предложить Вам продолжить нашу совместную работу, и это предполагает, естественно, что мы официально поставим в известность ЦК о нашем решении. Мы обоснуемся во Франции или какой-то другой стране. И будем писать. Став свободными, мы сможем объективно и честно говорить вслух о событиях и людях Революции, предупреждая о нежелательных эксцессах или опасных последствиях различных политических шагов. Скажите

мне, что Вы об этом думаете".

Чтобы обсудить это необычное и неожиданное предложение, любовники традиционно отправились на прогулку вдоль озера. Александра заявила: "Все идет к тому, что ТАМ скоро начнет литься кровь". Боди не был настроен столь пессимистично. А то решение, которое она предлагала, означало бы фактический разрыв с ЦК.

— Вас обольют грязью на страницах "Правды", — предупреждал Марсель, — и вы никогда не отмоетесь. Нас объявят беглецами. У вас есть силы — и нервные, и физические — начать борьбу?

— Вы правы, — согласилась она, — ложь и клевета — их обычное убийственное орудие. А сил все меньше…

Если вы порвете с партией, у вас не будет никаких источников информации, ваши мемуары быстро устареют. Вам надо впитывать в себя как можно больше фактов и писать о них для будущих поколений. Это будет ваш неоценимый вклад в историю".

В итоге от идеи эмиграции Коллонтай отказалась, надеясь, что в будущих кровавых чистках удастся все-таки уцелеть и при этом самой в крови не запачкаться. Тут надо отметить, что о столь радикальных взглядах и намерениях Александры Михайловны мы знаем только из мемуаров Боди. А Марсель, очень не любивший Сталина, мог вольно или невольно преувеличить степень оппозиционности Коллонтай сталинскому режиму.

В любом случае они решили быть вместе. Боди уехал в Норвегию повидаться с семьей. Коллонтай отправилась долечиваться в Баден-Баден. Затем она должна была в Москве получить для себя и для него новое назначение. "Мне здесь все не по душе, — признавалась она Зое. — Очень уж курортно, дорого, неуютно. <…> Принимаю ванны, хожу на массаж, много гуляю. <…> Надоело!"

В Москве она узнала, что 17 сентября 1926 года назначена полпредом в Мексику. Как раз в это время шла очередная атака на бывших лидеров "рабочей оппозиции", и Александру Михайловну решили отправить подальше от Москвы. Коллонтай просила отправить в Мексику и Боди. Секретарь Молотова Евгеньев предложил Боди на выбор пост секретаря в советских посольствах Токио или Пекина. Разговор был коротким. "Я же не знаю условий работы в этих странах". — "Ничего, научитесь, вы еще молодой". Марсель понял, что из СССР и с советской дипломатической службы пора делать ноги. Но у него отобрали паспорт, лишив возможности выехать за границу.

Оппозиционеры пытались заполучить Коллонтай в свои ряды, но она возвращаться в политику не собиралась, сознавая, что это смертельно опасно.

В 1926 году был принят Семейный кодекс, воплотивший в жизнь ее идеи. Правовое различие между детьми, рожденными в браке и вне брака, было устранено. Формальная регистрация брака во многом потеряла свое значение, поскольку факт сожительства и совместного ведения хозяйства в пределах определенного срока давал супругам те же права, что и законный брак.

Коллонтай добивалась, чтобы Боди выпустили за границу мотивируя необходимость поездки во Францию изданием его переводов классиков ленинизма. Пока же ему приходилось подвизаться в издательстве Коминтерна. Также Александра Михайловна попросила послать вместе с ней Пину Прокофьеву исполнявшую роль ее личного секретаря и являвшуюся давним агентом ОГПУ.

Сталин дал ей аудиенцию перед отъездом в Мексику. Она заявила: "Я не разделяю позицию Троцкого и Зиновьева, а мое личное отношение к ним вам хорошо известно. Целиком поддерживаю генеральную линию. Но есть некоторые вопросы внутрипартийной демократии, в которых я еще на перепутье".

Сталин поверил. И предупредил: "Можете писать прямо мне".

Еще Коллонтай из секретариата передали любопытный документ:

"Товарищу Мехлису А.З. Если будет время, сообщите т. Сталину о сибирских деревенских нравах в коммуне, которая носит имя т. Коллонтай и осуществляет на практике ее теорию. Ф. Дзержинский". К записке были приложены материалы, присланные в ОГПУ:

"<…> В одно прикрасное время веселого вечера жена секретаря ячейки оказалась акушеркой и начала производить телесный осмотр мущин вымериванием через тарелку, у кого конец перевесится через тарелку, с того еще бутылка с носу, а также был произведен и женщинам осмотр <…>. Об этом поступило заявление и все члены комячейки настаивали зафиксировать в протоколе расследовать поступки секретаря и его жены, но он забрал книгу протоколов ксибе подмышку недал фиксировать в протокол <…> И недал ходу заявлению комсомольца ячейки что "однажды вечером я шел из Нардома зашел в предбанник оправиться смотрю идут двое я притаился разсмотрел женщина и мущина. Смотрю в баню заходят уселись на полок стали друг другу обясняться влюбви и так далее потом Фанька говорит сколько я перебрала мущин но на тибя нарвалась

по моему вкусу. Потом Мануйлов говорит а вы когданибудь пробовали раком. Фанька говорит давай поконски вот я стану раком тебе сразбегу ни-попасть. Мануйлов говорит попаду и вот она стала раком Мануйлов отошел немного и побежал на нее она немного отвернулась он мимо я грянул хохотать. Ани выскочили безума Фанька оставила платок и перчатку которые сичас у меня <…>". Этим заявлениям нидали ходу секретарь говорит мы Коллонтай или мы не Коллонтай нужно расследовать все поступки и выявить факты виновности <…>. Председатель Ильинского сельсовета Панкрушихинской в[олости] Каменского уезда Н[ово] — Николаевской губ(ернии) А. ЛипскиЙ".

Можно не сомневаться, что Александра Михайловна вдоволь посмеялась над этим письмом, отражающим народное восприятие ее идей.

В Мексику Коллонтай ехала через Берлин. Там встретилась с Мишей, Ириной и Зоей. Последняя тоже работала по линии советской внешней торговли. К Александре в отель Nordland пришли вдова Карла Либкнехта Соня, другие германские друзья.

Добиться для нее американской транзитной визы не удалось, несмотря на все хлопоты знакомых немецких политиков. После ее лекций Александра в США попала в список "нежелательных иностранцев". Пришлось дожидаться прямого парохода из Европы в Мексику. Перед отъездом из Берлина Коллонтай написала Сталину: "Дорогой товарищ Сталин, завтра покидаю Берлин. <… > Перед отъездом хочется послать Вам самый искренний мой привет. Кто знает, что ждет в дороге, пусть же этот привет будет знаком моего искреннего и теплого к Вам товарищеского отношения.

<…> Из Мексики напишу, только уж очень, очень это далеко! Оторванно! Всего Вам хорошего. С коммунистическим приветом Александра Коллонтай".

Но в Гааге пароходная компания оставила для нее внутреннюю каюту, без окна, других свободных кают не было, и Коллонтай решила дождаться более комфортных условий многодневного плавания. Через несколько дней из Сен-Назара в Мексику отплывал французский пароход "Лафайет". Требовалась французская транзитная виза, но с ней проблем не возникло. В Париже Александра Михайловна успела прикупить модных новинок. Она утверждала: "Можно оставаться хорошим коммунистом, элегантно одеваясь и пользуясь помадой и пудрой". Правда, для этого нужны были немалые суммы в валюте и возможность добраться до иностранных столиц моды, чего подавляющее большинство советских женщин было лишено.

На "Лафайете" в распоряжении Александры была просторная

каюта с мраморной ванной, где всегда была подогретая океанская вода.

Кубинские власти запретили ей сойти на берег во время остановки в Гаване, опасаясь, что она займется агитацией. "Лафайет" прибыл в мексиканский порт Веракрус в ноябре. Коллонтай записала в дневнике: "А над головой вовсе не синее небо, а молочно-голубое, будто выцветшее. Синева морского залива убивает его цвет".

Ее встретил единственный дипломатический сотрудник советского представительства Леон Гайкис, варшавский еврей, бывший секретарь наркома иностранных дел Чичерина. Судя по записи, он ей активно не понравился: "Стараюсь быть вежливой, но первое впечатление не по мне". Гайкис пригласил полпреда сказать пару напутственных слов "представителям мексиканского пролетариата". Коллонтай эту идею решительно отвергла: "Вы забываете, что я официальное лицо, представляющее здесь не партию, а государство". От потрясения бедняга онемел.

Обстановка в местном отеле была спартанская: комната с двумя металлическими кроватями, а за занавеской — умывальник и клозет. Утром на поезде отправились в Мехико. Но Гайкис из целей экономии и чтобы произвести благоприятное впечатление на простой народ, взял билеты в третьем классе, что Александру возмутило: "Где вы набрались таких извращенных понятий о демократизме?"

В пульмановском вагоне уже не было ни одного свободного места, а в вагон-ресторан пускали только пассажиров этого вагона. Но Гайкис сумел договориться, чтобы Коллонтай принесли кофе, минеральную воду и сэндвичи. А нюхательная лечебная соль сняла головокружение, которое испытывала Александра Михайловна в непривычных условиях высокогорья. Поездка продолжалась целых 13 часов.

В отеле "Хенова" — он располагался в десяти минутах ходьбы от полпредства — для Коллонтай был заказан апартамент из двух комнат с ванной комнатой и гардеробной. Но в первую же ночь дали о себе знать трудности акклиматизации. У Александры начался сильный сердечный приступ с признаками затяжного удушья. Гостиничный врач дал успокоительные таблетки, несколько бокалов выжатого лимона и развесил в обеих комнатах для увлажнения воздуха мокрые простыни. Коллонтай лежала пластом два дня.

Вскоре ей доставили письмо Дыбенко, которое плыло тем же пароходом "Лафайет". Павел писал: "Дорогая Шура, после твоего отъезда я получил новое назначение начальником снабжения Красной Армии. Я боюсь, хватит ли у меня силы и энергии все

повернуть по-своему. <…> Единственная надежда на Климента Ефремовича Ворошилова, который мне всемерно оказывает поддержку. <…> Я его не только уважаю, но и люблю. <…> Жаль, что перед отъездом не мог видеть тебя. Сегодня как-то особенно хочется твоего тепла. Искренний привет от Вали. Павел".

"Хочу описать тебя во весь рост, — писала Шура Павлу. — Ведь ты дитя революции, ее создание. Я помню твой яркий образ в очистительном пламени революции. И таким я люблю вспоминать тебя и сейчас".

Коллонтай на всю жизнь запомнилось "очистительное пламя революции". Это были лучшие дни ее жизни.

Двухэтажный особняк полпредства на кайя дель Рин был обнесен высоким каменным забором. По-испански она не читала, хотя и начала спешно учить язык. "Чувствую, что под нами кипят и бурлят вулканы", — писала Коллонтай в дневнике. Александра страдала от разреженности и сухости воздуха Она была и полпредом, и торгпредом, но торговля ей нравилась больше, чем политика. "Надо прежде всего налечь на торговые дела

<…> — писала Александра в дневнике. Каждая наша торговая сделка лучшее доказательство серьезности наших дружеских намерений в отношении Мексики". Она собиралась покупать хлопок, свинец и кофе в обмен на 25 тысяч т пшеницы.

Из Мехико Александра писала Татьяне Щепкиной-Куперник: "Как мне здесь тоскливо, дорогая Танечка, как немыслимо одиноко. как плохо без всех вас, любимых, дорогих! <…> Нахожу утешение, читая книги по истории человечества. В каждую эпоху люди думали, что их эпоха особенно тяжелая, особенно кровавая и особенно нуждающаяся в переменах. <…> Редкому поколению удавалось прожить без войн или других социальных потрясений и бедствий. <…> Каждое поколение всегда говорило о том, что заработки стали хуже, что жить стало труднее и что человечество еще никогда не знало столько страданий и бедствий. <…> На нашу долю выпало уж очень много, <…> но, когда оглянешься, невольно спрашиваешь себя: когда же такого не было? <…> Когда же на земном шаре было хоть полстолетия, чтобы не было полей сражения, взаимного убийства, преследования за убеждения <…> и всяких других социальных страданий".

Боди все еще не выпускали из СССР, и Коллонтай обратилась к Бухарину, заменившему Зиновьева во главе Коминтерна, и к Елене Стасовой, в тот момент — консультанту Сталина по вопросам Коминтерна. В итоге Боди разрешили вернуться во Францию, что, несомненно, спасло ему жизнь. Ведь шансов

уцелеть во время Большого террора 1937–1938 годов у Боди практически не было.

Александра записала в дневнике 1 января 1927 года: "Когда ехала сюда, все во мне протестовало. Будто "выхожу замуж по рассудку". Но так надо было. Уйти из Наркоминдела после Норвегии значило уйти из дипломатии. И получилось бы, что "попробовали поставить женщину на дипломатический пост, побыла три с половиной года и ушла сама — не выдержала". Я должна доказать, что женщина может быть дипломатом не хуже," порой и лучше мужчины. "Пробить путь". Мое назначение на новый пост утверждает нас, женщин, на этой работе, право наше и и этой области труда…"

Сердечные приступы следовали один за другим. Высокогорье Коллонтай было противопоказано. Она написала Литвинову, что по состоянию здоровья оставаться в Мексике больше не может. Ей предложили перебраться в Уругвай, где климат был получше, но и от Европы подальше. Александра попросилась в Европу. Ведь даже закоренелого оппозиционера Шляпникова отправили представителем "Металлоимпорта" в Берлин, а Льва Каменева сослали послом в Рим. Она же, давно уже отошедшая от оппозиции и разделяющая генеральную линию партии, вынуждена помирать в далекой Мексике, климат которой для нее убийственен. Шура писала Шляпникову об успешной сделке со свинцом: "Вы знаете, Александр Гаврилович, что мы приняли заказ "Металлоимпорта" на свинец. Сейчас пишу Вам лично с оказией и улыбаюсь. Если бы в 1911 году, когда мы гуляли с Вами по Аньеру, нам бы сказали, что мы будем переписываться о ценах на свинец и о его качестве, мы сочли бы это бредом. Не правда ли?"

Она сама предложила отозвать ее из Мексики под видом летнего отпуска для лечения, чтобы отзыв посла не был истолкован как перемену политической линии по отношению к Мексике. 16 мая Коллонтай записала в дневнике: "Москва дала согласие на мой отпуск. Значит, конец моей работы в Мексике. Надо бы радоваться, а я почти огорчена: согласие опоздало. Сейчас я уже втянулась в работу и привыкаю к климату и высоте…"

А бедняга Гайкис в 1937 году дослужился до полпреда в Испании, но в том же году был отозван и расстрелян.

Официально Коллонтай 4 июня 1927 года отправили в двухмесячный отпуск для лечения, но было ясно, что в Мехико она больше не вернется. Александра уехала в Баден-Баден лечить нефрит и гипертонию. В Берлине по окончании курса лечения она встретилась наконец с Боди: он приехал на два дня позже, чем

она, и поселился, как обычно, в соседней с нею комнате. Любовник Александры уже успел на национальной конференции ФКИ резко выступить против резолюции с осуждением Троцкого и Зиновьева, предложенной послушным просталинским большинством. После встречи с Александрой Боди уехал в Осло, чтобы отправить во Францию жену и дочь.

В сентябре 1927 года у Александры Михайловны появился внук. В честь деда его назвали Владимиром. В Москве она узнала, что ее возвращают полпредом в Осло. Об этом узнал и Боди и попросил жену повременить с отъездом из Норвегии. Ее присутствие давало ему идеальный повод навещать Александру, а к их связи законная супруга относилась вполне толерантно.

Когда объединенный пленум ЦК и ЦКК исключил из ЦК Зиновьева с Троцким, она опубликовала в "Правде" статью, где утверждала: "Прежде всего нужно единство не только в действиях, но даже в мышлении. Масса здоровым инстинктом это стихийно понимает. И потому так возмущает ее оппозиция. <…> Дисциплина — это цемент, скрепляющий людские кирпичи в единое мощное здание коллектива. <…> Масса не верит в оппозицию и не прощает ей иезуитского политиканства с партией. <…>"

7 октября 1927 года Коллонтай снова стала полпредом в Норвегии, совмещая этот пост с исполнением поручений в торговом представительстве в Швеции. Приехав в Норвегию, Александра Михайловна тотчас направилась в Хольменколлен. Накануне Нового 1928 года она писала Боди: "<…> Если я Вам редко пишу, то лишь потому, что нахожусь в положении человека, потерявшего самого себя. Вы хорошо помните, как мы страдали в М[оскве] — в те долгие дни, когда надо было принимать окончательное решение. Я знаю, Вы поняли, что у меня не было другого выхода. <…> Это не проявление слабости, но веление масс: пойти за Сталиным, а не за троцкистами. Если бы верх одержали они, репрессии против всех, кто думает по-другому, были бы еще более суровыми. <…> Я потеряла добрых друзей, которые остались с Троцким, и это причиняет мне глубокую боль. Мы с Вами хорошо понимаем друг друга, и как жаль, что нельзя все это выразить в кратком письме. Дорогой друг! Я здесь очень одинока*.

С коммунистами к тому времени Марсель уже порвал.

Коллонтай не очень нравилось то, что она увидела в Скандинавии: "Женщины здесь, в Норвегии, дошли до того, что весят тридцать шесть кило, едят один виноград и затем из-за истощения попадают на месяц в клинику. Но в "плоской" фигуре есть вполне логический момент. Материнство в буржуазном

обществе отступает на задний план. Идет, особенно в профессиональноинтеллигентской среде, ожесточенная борьба за места в конторах. Чтобы выдержать конкуренцию, женщина должна производить впечатление, что она с материнством ничего общего не имеет, что она — третий пол". Александре Михайловне явно не нравился юнисекс, который тогда делал только первые шаги.

В Стокгольм по линии Наркомвнешторга отправилась Зоя. Заехав к Александре, она сообщила, что Дыбенко не ладит с молодой женой. Валя не захотела ехать в Ташкент, где Дыбенко должен был возглавить Среднеазиатский военный округ.

В апреле 1928 года Коллонтай срочно вызвали в Москву принимать короля (падишаха) Афганистана Аманулла-хан и его супругу Сурайю, одну из немногих женщин Востока, снявших чадру. В Москве она также встретилась с наркомом внешней торговли Микояном. Тот обещал перевести Мишу из Берлина в Стокгольм и согласился купить у Норвегии 300 тыс. т трески.

В одном интервью Александра призналась в любви к Норвегии и норвежцам: "Мне очень нравится Норвегия. Норвежцы относятся к числу самых цивилизованных народов Европы. Они являются также самыми демократичными людьми, с которыми мне когда-либо приходилось встречаться. Этот народ обладает более сильной волей, чем какой-либо другой народ".

В 1929 году при посещении Москвы Коллонтай довелось побеседовать с американской журналисткой-коммунисткой Анной-Луизой Стронг. Та так передала содержание разговора в своем дневнике: "Разгул насилия в деревне. <…> Расхождение между старыми лидерами и новым безжалостным поколением руководителей, пришедших к власти. <…> Для меня человеческая душа — это самое главное в мире. Но мы не сможем обратиться к ней еще лет пятьдесят. Нынешнее поколение создает механизм для будущего, у них нет времени думать о высших идеалах. Тем из нас, кто мечтает о братстве, справедливости и человеческом счастье, нужно вовремя уйти со сцены, чтобы нас не столкнули с нее силой. <…> В этом суть трагедии наших лидеров — от Троцкого до Бухарина".

На обратном пути в Осло, в Берлине, Александра встретилась с Боди и договорилась о его приезде в Норвегию. Сначала они уединились в квартире Эрики, где, как вспоминал Боди, "оставшись вдвоем, мы дали волю своим чувствам", Затем, получив трехнедельный отдых для поправления здоровья, она поселилась с любовником в отеле курортного городка Лиллехаммер, к северу от Осло. Боди переводил ее сборник статей по женскому вопросу. Она жаловалась, что стала чужой в

своей стране. После этого он забрал семью из Норвегии.

В январе 1930 года Михаил Коллонтай получил назначение в Соединенные Штаты, куда отправился с женой и сыном Володей. Он работал в Амторге представителем Всесоюзного объединения "Станкоимпорт". Закупал новейшие американские станки и технологии, которые из-за кризиса стоили дешево.

Жена Михаила, Ирина Романовна Коллонтай, преподавала английский и немецкий языки в советской школе в Стокгольме, а затем в Америке. Внук Александры Михайловны, Владимир Михайлович Коллонтай, родившийся в 1927 году, со временем стал доктором экономических наук и профессором.

В 1930 году, из-за тяжелой болезни советского полпреда в Швеции Виктора Коппа, Коллонтай стала по совместительству посланником (постоянным поверенным), а после скорой смерти Коппа от рака — и полпредом в Стокгольме и вошла в состав советской делегации в Лиге Наций. Она безуспешно добивалась выдачи бывшего военного атташе Александра Александровича Соболева, ставшего невозвращенцем, в Стокгольме.

Советское полпредство в Швеции потряс скандал, когда в 1930 году второе лицо в миссии, советник Сергей Васильевич Дмитриевский, бывший эсер, стал невозвращенцем. Он отстаивал идеи "национал-коммунизма" ("национал-большевизма") и прославился тем, что в 1940 году обратился к руководителям нацистской Германии с призывом не препятствовать естественному развитию СССР в национал-социалистическое государство. Дмитриевский благополучно пережил Вторую мировую войну и умер в Стокгольме в 1964 году.

Следом за Дмитриевским в апреле 1930 года бежал и военный атташе Александр Александрович Соболев. 16 апреля он опубликовал письмо с отказом вернуться в СССР. Он заявил, что, хотя прекрасно понимает, что ему будет вынесен смертный приговор, просит не считать его больше советским гражданином.

"Те сведения служебного характера, — утверждал Соболев, — которые были мне доверены, принадлежат моей родине — России, и ради нее я буду хранить их так же свято, как и раньше, до дня моей смерти.

Ни в какую полемику вступать не стану; лишь угрозы и клевета могут вынудить меня сказать что-либо.

Если же моей жене или мне суждено стать жертвами, то общественному мнению будет известно, жертвами кого мы явились".

Как докладывал 17 апреля Сталину нарком К.Е. Ворошилов, "к своей работе Соболев всегда относился исключительно добросовестно. Оценка его работы была выше

удовлетворительной, и это он знает… В основном его работа сводилась к изучению легальных материалов и обработке прессы, а также к официальным связям с представителями шведского командования. Ни шифров наших, ни агентурной сети, ни других особо секретных вопросов нашей работы Соболев не знал, так что опасность каких-либо "провалов" в связи с предательством Соболева исключена".

Состояние советской колонии в Стокгольме Коллонтай решительно не понравилось: "Картина безотрадная: работники потеряли голову. Фактически полпредство бездействует… О землячестве (парторганизации) писать не хочу. Нехорошее, нездоровое впечатление. Это уже не склока личного свойства, какая бывала и в Осло, нет, это нечто худшее: растерянность и страх. Страх, как бы в Москве не поплатиться, что недоглядели невозвращенцев. Истерические настроения, женщины плачут и клянутся в верности советской власти…"

25 апреля 1930 года Коллонтай записала в дневнике: "У нас совещание по делу Соболева с секретарем полпредства, тов. Ш., присланным из Гельсингфорса "со специальной миссией", и с секретарем Соболева, тов. Д. Тов. Ш. живо заявляет:

— Я сумею извлечь Соболева из засады, доставлю в Союз живым или трупом.

Такая постановка вопроса мне совсем не нравится. Она противоречит директиве моего шефа (Чичерина. — Б.С.), несерьезно это и чревато новыми осложнениями. Удалось установить, что Соболев вернулся на свою квартиру вместе с женой, но никого к себе не пускает.

— А я проникну к нему, — задорно заявляет тов. Д. — Если этот мерзавец нас не впустит, мы с вами, тов. Ш., подстережем его на улице, и, если уговоры не подействуют, у нас есть доводы и посерьезнее. Акт самообороны, так сказать. Нечего время терять, идем.

Я решительно воспрещаю обсуждать такие дикие выходки. Это значит лить воду на мельницу наших врагов.

— А если Соболев выдаст военные тайны?…..говорит Ш.

Но я его пристыдила. Он же знает, что военному атташе недоступны серьезные военные тайны".

Получается, если бы Соболев знал что-то действительно очень секретное, Александра Михайловна ничего не имела бы против его убийства.

В ночь с 1 на 2 мая Коллонтай записала в дневнике: "Меня заботят случаи бесшумного невозвращенчества более мелких, менее ответственных работников наших советских учреждений. А такие измены имели место и в Берлине, и в Лондоне, и в Париже.

Почему безупречный Соболев (так его аттестует начальство) стал невозвращенцем? Почему Ш. в Берлине отказался ехать на родину? Почему жена Г. (служащего в "Нафта") говорила мне дрожащим голосом, что "она боится, не отзовут ли ее мужа". "Бояться" вместо того, чтобы радоваться возможности возвращения на родину. Это ненормально. Тут надо поискать причину, чтобы ее пресечь, чтобы центр принял меры…

Первой и главной причиной невозвращенчества я считаю существование оппозиции".

7 мая 1930 года Коллонтай пометила в дневнике: "Были и такие шведы, которые, услышав мое имя, тревожно спрашивали: "А что вы сделали с Дмитриевским и Соболевым? Живы ли они еще?" Это в связи с постановлением советского правительства о двадцати четырех часах сроку для возвращения в Союз, иначе невозвращенцы объявляются "вне закона"…

Самое главное, что я тут сделала для нашего престижа, — это удержала необузданные планы "горячих голов". Они выдумывали новые планы, как бы выкрасть Соболева, и уже начали действовать за моей спиной. Шаг — и мы в руках провокаторов. Но после приказа Литвинова подчиняться целиком полпреду Ш. быстро уехал…"

Между тем полпред в Финляндии И.М. Майский сообщал наркому по иностранным делам М.М. Литвинову 19 апреля: "Сегодня из Гельсингфорса в Стокгольм по распоряжению т. Ворошилова уехал наш военный атташе т. Шнитман с миссией "уговорить" Соболева вернуться. Я отношусь очень скептически к возможности достигнуть тут каких-либо положительных результатов, но зато т. Шнитман сможет дать полную информацию обо всем, происходящем в Стокгольме". Это и был тот человек, которого Коллонтай пометила в дневнике как Ш. Можно добавить, что полковник Лев Александрович Шнитман после Финляндии успел побывать начальником Особого артиллерийского КБ, помощником военного атташе в Германии, заместителем начальника группы контроля при НКО СССР и военным атташе в Чехословакии. 28 августа 1938 года его расстреляли по обвинению в шпионаже и военном заговоре, а в 1956 году благополучно реабилитировали.

25 сентября 1930 года Военная коллегия Верховного суда СССР заочно признала Соболева виновным "в измене родине и перебежке в лагерь врагов рабочего класса и крестьянства" и в присвоении государственных средств на сумму в 1191 американский доллар.

13 октября 1930 года Политбюро ЦК ВКП(б) предложило стокгольмскому полпредству "начать процесс в суде и наложить

арест на деньги С[оболева] в банке в сумме, установленной приговором Верховного суда". 31 марта 1931 года Стокгольмский суд удовлетворил соответствующий иск советской стороны. В этот день Коллонтай записала в дневнике: ""Дело Соболева" закончилось в суде в нашу пользу <…>. Главное, хорошо то, что все это в прессе не вызвало шумихи. Соболев собирается уехать в Бельгию. Нигде не выступал, ничего не писал". Отметим, что Александр Александрович, как настоящий русский офицер, не стал снимать эти деньги перед побегом, хотя имел все возможности это сделать. Он считал, что это деньги государства и он не вправе их присваивать.

Соболев благополучно выехал во Францию, где работал в редакции журнала РОВС "Часовой".

В Швецию ей писали и Дыбенко, и Шляпников. Иногда она ездила на тайные, тщательно законспирированные встречи с Боди.

Один из приехавших в Стокгольм московских визитеров рассказал, как участвовал в коллективизации. Подробный рассказ об этом сохранился в дневнике Коллонтай: "Этот товарищ сопровождал эшелон выселяемых с юга в Арктику кулаков. Забирали их, говорит московский гость, огулом, не всегда точно проверив, есть ли на деле наличие кулачества. Никто не предусмотрел, как это пройдет. Подлое вышло дело, продолжает товарищ, прямо смертоубийство без дурных намерений. Везли мы их в товарных вагонах, навалили народ как баранов, детей, стариков, больных и калек. Кто самовар захватил, кто сбрую, кто настенные часы. Гвалт, писк, драки, спят вповалку, воды не припасли…

Начались зимние холода, снежные вьюги, непроходимые леса. Полное безлюдье. А везут людей из плодородной полосы, из зажиточных деревень степного приволья, бабы леса испугались, никогда не видели. Вагоны нетопленые, из щелей дует. Мороз! Младенцы у груди матери замерзали, трупики из вагона прямо в снежные сугробы выкидывали. Бабы голосят! Старики и больные смерти просили, да и помирали. Одного старика — решили, что труп, — выволокли на снег, он вдруг закашлялся, втащили обратно, отходили. Молодка одна косы отрезала и укутала ими младенца, а я ему на голову шапку свою нахлобучил. Спасли! Кто свиней взял, те выжили, а бараны и куры от холода сдохли…

Гость уехал, а я после его рассказов не сплю по ночам, все мне мерещатся матери с замерзающими младенцами и другие ужасы".

В Стокгольме Коллонтай подружилась с полпредом Давидом Канделаки, знавшим Сталина еще с дореволюционных времен.

Она так охарактеризовала его в дневнике: "Очень, очень симпатичный кавказец, культурный, умный, приятная внешность, приятные манеры. Интересно разговаривать с таким эрудированным и внимательным собеседником. <…> Уверена, что сработаемся".

Стокгольм в 1920-е гг.

По ее просьбе из Осло в Стокгольм перевели секретаря по политическим вопросам и сотрудника военной разведки Семена Максимовича Мирного, с которым Коллонтай познакомилась еще в Крыму. Зое она писала: "Главное утешение — тот, кто заменил мне Б[оди]". В Швеции Мирный со временем вырос до советника посольства.

Боди же Александра в 1930 году в Стокгольме говорила: "Я запрятала свои принципы в дальний уголок сознания и провожу, насколько могу, ту политику, которую мне диктуют".

Семен, бывший член Бунда, учившийся на восточном отделении Военной академии РККА и знавший семь языков, был на 24 года моложе Александры. Но он не мог избыть ее тоски по Норвегии, которая ей всегда нравилась больше Швеции. Шура писала Зое про Осло: "Взяла газету, там описание вечера осеннего, когда город начинает оживать после летних каникул.

Бросила газету, вскочила. Если читать дальше — сделается дурно. Дурно от тоски но всему, что ушло, отрезано. Боль души, превращенная в физическое страдание. <…> Восемь лет жизни — это отрез крупный. <…> А сейчас <…> только дым воспоминаний. <…> И вот от этого сознания до дурноты безотчетно жутко, страшно и больно". А вырвавшись на неделю в Осло, потом описала поездку в письме Щепкиной-Куперник. "Захотелось, сообщала она, — сказать "доброе утро" любимым очертаниям гор, повидать знакомые места, обнять друзей. Это большая моральная роскошь. <…> Здесь [в Осло] ответственная, деловая, строгая атмосфера. Красивый, пышный, немного холодный в своей торжественности город. Там — фиорд, дорога в другие страны, связь с миром и его событиями, зеленый городок с по-своему изящными новыми домами или старенькими, деревянными виллами, где еще чувствуются Ибсен и Бьернсон. А главное: там много тех, для кого я, лично я, независимо от моего положения, мила и близка… Когда я села в поезд и на перроне остался с десяток знакомых и милых мне лиц, я почувствовала — тепло позади. Теперь снова — в мундир. На пост. В холод равнодушия и бесконечной цепи обязанностей", И еще: в Осло она встретилась с Боди.

На третьем этаже дома, находящегося в собственности посольства, у Коллонтай была квартира из трех комнат. Она писала Зое: "Живу на людях, будто на сцене. Играешь, играешь, не скажешь же того, что думаешь, напротив, все чаще говоришь то, что не думаешь…"

В одном из писем Дыбенко жаловался: "Мадам стала совсем невыносимой… Так хочу видеть тебя, так мало отрадного в личной жизни и так мало минут, похожих на те, которые проводишь с тобой".

16 января 1931 года Коллонтай побывала на заседании Политбюро. Она записала в дневнике: "На Политбюро председательствовал Сталин и всех поставил на свое место. Заседало Политбюро в круглом зале Кремля, где пережито столько волнений и принято столько исторических решений на наших партийных съездах. Но зал перестроен, перекрашен, и я его не сразу узнала. В перерыве все члены Политбюро прошли в одну из соседних комнат, где был накрыт холодный завтрак. Сталин шел один впереди, остальные немного поодаль за ним. За столом справа от Иосифа Виссарионовича сидел Молотов, слева — Ворошилов. Пили только нарзан и боржоми. Вина не было. Ели спешно, вполголоса перекидывались короткими вопросами и ответами. Иосифу Виссарионовичу подали холодную курицу и сыр. Он первый встал, поевши на скорую руку, и снова прошел в

круглый зал…"

Во время одной из поездок в Москву Коллонтай по просьбе шведского правительства похлопотала об освобождении шведского инженера Карла Росселя, арестованного в Ленинграде по обвинению во вредительстве. Сталин распорядился выслать его из СССР в 24 часа.

С помощью своего старого друга, министра иностранных дел Швеции социал-демократа Рикарда Сандлера, Коллонтай добилась от Швеции возвращения 10 млн долларов, размещенных правительством Керенского в шведских банках. Тогда она познакомилась с крупнейшим шведским банкиром Маркусом Валленбергом.

Она отмечала в дневнике: "Старые, заслуженные большевики все критикуют, охаивают, осмеивают, иронизируют, с раздражением говорят, что так продолжаться не может. <…> Мы теряем верный курс, говорят они. Компас испорчен. <…> Если спросить, что они предлагают, какие меры? Их нет".

А когда пришла весть о самоубийстве ее племянника Михаила Домонтовича, Александра Михайловна так прокомментировала это в дневнике: "Отдаться личной печали — нет, такая роскошь не ко времени. Надо жить и бороться ежедневно, ежечасно за наши идеалы".

22 марта 1932 года Александра писала из Стокгольма Вере Юреневой: "Хотелось бы, чтобы удался Женский день. Хотя он уже все менее и менее нужен. Проблемы, которые сейчас больно еще ударяют по женщине, — общего характера. И одна из проблем: перевоспитание мужской психологии. Ой, как это необходимо! Как мало в них товарищества и дружеской созвучности и как много "самодовления". У них глаза не открыты, чтобы воспринимать и все оттенки нового бытия, и нас, новых женщин. Отсюда — ой, ой, сколько боли…"

В августе 1932 года Коллонтай занесла в дневник: "В Москве видала Дыбенко. Он на видном командном посту на юго-востоке Союза. Рассказывал, что в армии чувствуется "два настроения", почти что два лагеря. Одни целиком и полностью за генеральную линию. Другие за генеральную линию, но с оговорками. Это не столько принципиальные расхождения, ничего общего с троцкизмом не имеющие, сколько столкновения по ряду военнотехнических и организационных вопросов: недовольны назначением того-то или снятием того-то… Рассказал, что весной этого года Сталин созвал на вечер комсостав, якобы для того, чтобы "помирить два лагеря" (а по-моему, чтоб самому посмотреть, в чем же расхождение и что у них, у комсостава, на уме и на душе). Прием был великолепный. После ужина Сталин

расспросил о делах в его частях и неожиданно спросил:

— А скажи-ка мне, Дыбенко, почему ты разошелся с Коллонтай? Большую глупость сделал.

— Это ты, товарищ Коллонтай, виновата, — упрекнул меня Дыбенко. — Зачем ты меня на другой женила? Это ты все слетала. Почему ты послала мне вслед телеграмму в Гельсингфорс?

Мне смешно стало от его слов, я уже не помню, что я ему телеграфировала в двадцать третьем году, вероятно, советовала жениться поскорее. Странно, как можно изжить такое глубокое чувство. И я перелистываю дневник двадцать третьего года и удивляюсь, что так больно, когда дороги с Дыбенко разошлись окончательно. А тут еще странная встреча с бывшей женой Павла Дыбенко. Они уже разошлись, и она теперь жена какого-то высокопоставленного красного командира. Она пополнела и потому подурнела. Неужели я из-за нее столько ночей не спала?"

В 1933 году вождь наградил Коллонтай орденом Ленина "за активную работу по приобщению женщин к социалистическому строительству". Во многом это была награда и за то, что Коллонтай добилась того, чтобы изгнаннику Троцкому не дали шведской визы. В благодарственном письме Сталину Александра Михайловна писала: "То, что награждение орденом Ленина проводилось в связи с 8 Марта, — это очень хорошо. За награждение не благодарят, но я хочу, чтобы Вы и ЦК знали, какую ценность данный факт имеет для меня в связи с женским движением… Здесь, за границей, препоганая, нервная и безисходная для капитализма и его защитников обстановка. От нее устают нервы, но умом торжествуешь: до чего верны, правильны, безошибочны прогнозы нашей партии".

В 1931 году была закончена публикация мемуаров Шляпникова "Семнадцатый год". В связи с этим 19 февраля 1932 г. было принято постановление оргбюро ЦК об исторических произведениях Шляпникова: "Ввиду того, что тов. Шляпников не только не признает этих своих ошибок, а продолжает настаивать на своих клеветнических, против Ленина и его партии, измышлениях, ЦК постановляет: 1. Прекратить печатание и распространение "исторических" работ т. Шляпникова ("1917 год", "Канун 1917 года"). 2. Предложить т. Шляпникову признать свои ошибки и отказаться от них в печати. В случае же отказа со стороны т. Шляпникова выполнить пункт второй — исключить его из рядов ВКП(6)".

Шляпников каяться не стал, и как раз в 1933 году вместе с другим бывшим товарищем Коллонтай по "рабочей оппозиции" Павлом Медведевым был исключен из партии. Он к тому времени уже почти оглох и плохо видел. А вот Зоя Шадурская стала

генеральным секретарем Всесоюзной торговой палаты.

Дыбенко тем временем развелся с Валентиной и, оставив Ерутину, женился на 27-летней учительнице Зинаиде Карповой и усыновил ее сына от первого брака.

Коллонтай удалось заключить долгосрочный торговый договор со Швецией, а для его обеспечения — договор о займе на 100 млн. долларов. Советский Союз, в частности, закупил шведских племенных коров.

Побывав в 1933 году на Пленуме ЦК ВКП(б), Коллонтай отразила в дневнике свой восторг перед Сталиным: "Никогда еще не чувствовала я так отчетливо всю силу мысли нашей партии в строительстве социализма. Пленум — живая вода. Поразило меня также, как аудитория слушала Сталина, как реагировала на каждый его жест. От него исходит какое-то магнетическое излучение. Обаяние его личности, чувство бесконечного доверия к его моральной силе, неисчерпаемой воле и четкости мысли. Когда Сталин близко, легче жить, увереннее смотришь в будущее и радостнее на душе…

За улыбкой Сталина прячутся большие мысли, большие решения. В ней чувствуется снисходительность к человеческому недомыслию…"

Эти записи сделаны явно на тот случай, если дневник станет достоянием чужих глаз.

Коллонтай так прокомментировала в письме Зое Шадурской убийство Кирова: "Дорогая, дорогая, <…> неужели еще неясно, что отдельные убийства хотя бы самых блестящих, сильных наших работников не остановят исторически необходимой для всего человечества победной работы нашей? <…> Мне скоро будет 62 года, но именно этот удар, этот змеиный укус врагов сделает меня сильной, как 30-летнюю. <…> Неужели мы забываем, что мы в крепости, осажденной врагами, что их бешенство и хитрость не умерились, что исторические законы им неведомы?"

Фуражка С.М. Кирова, простреленная в день покушения

В связи с убийством Кирова в своем выступлении перед советской колонией в Стокгольме Коллонтай охотно и предсказуемо заклеймила Зиновьева: "Отличительной чертой прежних группировок в партии являлось то, что они не скрывали своих разногласий с партией, открыто отстаивали их. <…> А зиновьевцы шельмовали свою платформу, лишь бы остаться в партии и гадить. <…> Зиновьевцы вели себя как белогвардейцы и поэтому заслужили, чтобы с ними обошлись, как с белогвардейцами".

Напомнив, что "партбилет — это еще не гарантия, если поведение субъекта подозрительное", Коллонтай призвала к всеобъемлющей бдительности: "Бдительность — наша путеводная звезда! О всех подозрительных случаях и лицах надо немедленно информировать партию".

После убийства Кирова были арестованы не только Зиновьев и Каменев и некоторые их сторонники, но и бывшие лидеры "рабочей оппозиции", в том числе и ранее сосланный в Карелию Шляпников. В 1935 году его приговорили к 5 годам тюрьмы, но заменили заключение ссылкой в Астрахань.

Между тем Зоя Шадурская получила назначение в Стокгольм представителем Всесоюзной торговой палаты.

Коллонтай включили в состав советской делегации на Ассамблею Лиги Наций, поскольку предстояло обсуждение вопроса о равноправии женщин.

В 1936 году Дыбенко писал Коллонтай: "Шура милая, родная, я безумно рад получить твое письмишко. Получил его в поле, во

время поездки и здесь, в степи, со всей яркостью ожили все моменты нашего красивого и незабываемого общего. <…> Когда я прочитал в газетах о твоей болезни, тут же написал тебе телеграмму и стал в тупик с адресом, на второй день уехал. Так телеграмма и не была отправлена, но я прошу поверить мне. <… > Вот уже месяца два и у меня невероятные головные боли, нарушилась нервная система".

Чтобы восстановить силы после перенесенной болезни, (невралгии и нефрита) Коллонтай уехала в санаторий близ Гетеборга, где ее навестил Боди. Александра признавалась: "Я наконец поняла, что за несколько лет Россия не сможет перейти от абсолютизма к демократии. Это нереально. Диктатура Сталина — а на его месте мог бы оказаться и кто-то другой — была, увы, неизбежной. Да, она сопровождается морем крови, но кровь лилась и при Ленине. Вспомните казни заложников, устроенные Зиновьевым в Петрограде в ответ на "белый террор". Сколько лет потребуется России, чтобы прийти к свободе? Не знаю. Наверное, бесконечность… Россия с ее неисчислимыми массами, не приученными ни к культуре, ни к самодисциплине, вообще не создана для демократии. Настоящей демократии не будет здесь никогда".

27 июля 1936 года появилось постановление ЦИКа и Совнаркома "О запрещении абортов, увеличении материальной помощи роженицам, установлении государственной помощи многодетным, расширении сети родильных домов, детских яслей и детских садов, усилении уголовного наказания за неплатеж алиментов и о некоторых изменениях в законодательстве об абортах". А 7 июля 1944 года вышел указ о том, что законными признаются только официально зарегистрированные браки. Таким образом, та свобода женщины, за которую так страстно боролась Коллонтай, еще при ее жизни была практически сведена на нет в Советском Союзе.

В следующий приезд в Москву ее вызвал сам Николай Ежов и спрашивал о Боди. Она оборвала с французом всякую связь, опасаясь, что их обоих обвинят в шпионаже.

С началом мятежа Франко в Испании в Овьедо как советская шпионка была расстреляна Пина Прокофьева. Коллонтай была расстроена гибелью своей многолетней секретарши.

1 апреля 1937 года свое 65-летие Коллонтай отметила в полном одиночестве. Она писала сыну: "Годы нехороши тем, что "тело мешает". Но сегодня я хочу видеть только хорошее: солнце, снег, уже поют птицы и текут ручейки. <…> Жизнь была богата, насыщенна, красочна и интересна. Кое-что сделала, меньше, чем хотела, меньше, чем мечтала, но маленький след остается. Для

женщин, для великого строительства социализма, для укрепления мощи нашего любимого отечества — Советского Союза. С юности мы мечтали о социалистической революции и вот стали ее участниками. Мало того, мы — строители социализма. Богатая эпоха, и быть в нее вкрапленной — само по себе счастье". Еще она написала Боди о том, что они больше не смогут встречаться и что "я навсегда сохраню к Вам, дорогой друг, самые лучшие, самые теплые чувства".

В мае 1937 года Дыбенко сообщил, что назначен командующим Ленинградским военным округом, а в Самаре его сменил опальный Тухачевский, которого очень скоро Дыбенко же пришлось осудить на смерть, будучи членом Специального судебного присутствия. Но недолго музыка играла…

2 сентября 1937 года расстреляли Шляпникова. А 10 сентября 1937 года нарком обороны К.Е. Ворошилов издал приказ "О несчастных случаях на маневрах Л ВО при выброске парашютного десанта". Там говорилось:

"9 сентября с. г. на маневрах Ленинградского военного округа по ходу учения была произведена выброска парашютного десанта. Вследствие полного пренебрежения требованиями Наставления по парашютной подготовке Военно-Воздушных Сил и Курса подготовки выброски и высадки парашютистов ВВС РККА, а также приказа моего № 0169 от 7 декабря 1936 г., категорически запрещающих выброску парашютистов при ветре свыше 6 метров в секунду, выброска парашютного десанта 9 сентября была допущена при силе ветра около 12 метров в секунду.

В результате этого преступного отношения к существующим указаниям погибло 4 бойца и получили разной степени переломы конечностей и ушибы 38 бойцов.

Приказываю:

1. За нарушение моего приказа № 0169 от 7 декабря 1936 г., Наставления по парашютной подготовке Военно-Воздушных Сил и Курса подготовки выброски и высадки парашютистов ВВС РККА командующего войсками Ленинградского военного округа командарма 2-го ранга т. Дыбенко П.Е. от занимаемой должности немедленно отстранить и зачислить в мое распоряжение.

2. Во временное командование войсками Ленинградского военного округа вступить армейскому инспектору Л ВО комдиву т. Хозину.

3. Моему заместителю по ВВС командарму 2-го ранга т. Алкснису Я. И. вместе с заместителем начальника ПУ РККА армейским комиссаром 2-го ранга т. Булиным А.С., начальником группы контроля комдивом т. Черепановым и специалистами парашютно-десантного дела т.т. Чернышевым, Петровым и

Кайтановым на месте произвести тщательное расследование этого возмутительного случая и всех обстоятельств гибели и ранения бойцов-парашютистов.

Результаты расследования с выводами и предложениями т. Алкснису представить мне 13 сентября 1937 г.".

В начале января 1938 года Дыбенко был уволен из РККА и назначен заместителем наркома лесной промышленности. 25 января 1938 года Сталин и Молотов подписали специальное постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР по факту "предательства Дыбенко". Там было отмечено, что Дыбенко "морально-бытово разложился… давал очень плохой пример подчиненным" и систематически пьянствовал. Но главным обвинением против опального командарма стали "контакты с американскими представителями", что влекло за собой расстрельное обвинение в шпионаже. Следствию удалось установить, что Дыбенко просил "американцев" материально помочь родной сестре, которая проживала в США. И она в итоге получила пособие.

Вследствие этого постановили:

"1. Считать невозможным дальнейшее оставление т. Дыбенко на работе в Красной Армии.

2. Снять т. Дыбенко с поста командующего Ленинградским военным округом и отозвать его в распоряжение ЦК ВКП(б)".

30 января 1938 года Дыбенко написал покаянное письмо Сталину: "Дорогой тов. Сталин!

Решением Политбюро и Правительства я как бы являюсь врагом нашей Родины и партии. Я живой, изолированный, в политическом отношении труп. Но почему, за что? Разве я знал, что эти американцы, прибывшие в Среднюю Азию с официальным правительственным заданием, с официальными представителями НКИД и ОГПУ, являются специальными разведчиками. На пути до Самарканда я не был ни одной секунды наедине с американцами. Ведь я американским языком не владею.

О провокаторском заявлении Керенского и помещенной в белогвардейской прессе заметке о том, что я якобы являюсь немецким агентом. Так неужели через 20 лет честной, преданной Родине и партии работы белогвардеец Керенский своим провокаторством мог отомстить мне? Это же ведь просто чудовищно.

Две записки, имеющиеся у тов. Ежова, написанные служащими гостиницы "Националь", содержат известную долю правды, которая заключается в том, что я иногда, когда приходили знакомые ко мне в гостиницу, позволял вместе с ними выпить. Но никаких пьянок не было.

Я якобы выбирал номера рядом с представителями

посольства? Это одна и та же плеяда чудовищных провокаций…

У меня были кулацкие настроения в отношении колхозного строительства? Эту чушь могут рассеять тт. Горкин, Юсупов и Евдокимов, с которыми я работал на протяжении последних 9 лет…

Я понимаю, что я не буду возвращен в армию, но я прошу, и я на это имею право, дать мне возможность остаток моей жизни отдать целиком и полностью делу строительства социализма в нашей стране, быть до конца преданным солдатом ленинско-сталинской партии и нашей Родины.

Тов. Сталин, я умоляю Вас дорасследовать целый ряд фактов дополнительно и снять с меня позорное пятно, которое я не заслуживаю".

Ответом на письмо стал арест. 26 февраля 1938 года Павел Ефимович был арестован в Свердловске. На следствии он подвергался жестоким избиениям и пыткам и потому признал себя виновным в участии в антисоветском троцкистском военнофашистском заговоре. Так, 13 мая 1938 года Павел Ефимович показал, будто Коллонтай поддерживает антисоветскую связь с невозвращенцем Раскольниковым, а тот связан с Троцким и троцкистами. Но этому показанию хода не дали.

В обвинительном заключении утверждалось: "В 1918 году Дыбенко, будучи послан ЦК КП(б)У на подпольную работу в Крым, при аресте его белогвардейцами выдал подпольный большевистский комитет и затем был завербован германскими оккупантами для шпионской работы. С 1918 года и до момента ареста в 1938 году Дыбенко проводил шпионскую, а затем и пораженческую деятельность по заданию германской разведки…

С 1926 года Дыбенко устанавливает связь с правыми в лице Егорова А.И., бывшего тогда командующим Белорусским военным округом, Левандовским — командующим Кавказской армией — и другими и начиная с 1929 года входит в руководство организации правых в РККА, связанной с Рыковым, Бубновым, Томским и другими руководителями правых…

По заданию германской разведки и руководства военной организации правых Дыбенко проводил подрывную вредительскую деятельность в боевой подготовке, военном строительстве, укрепрайонах и т. д. Наряду с этим он передавал систематически германской разведке шпионские материалы о Среднеазиатском, Приволжском и Ленинградском округах, которыми он командовал…"

29 июля 1938 года Дыбенко был приговорен к смертной казни и в тот же день расстрелян. Также Дыбенко обвинили в

связях с Тухачевским, которого он незадолго до этого приговорил к смерти. Дыбенко был расстрелян в день вынесения приговора. В огне Большого террора, как мы помним, сгорел и Александр Саткевич.

Возвращаясь летом 1937 года из Москвы, Коллонтай записала в дневнике: "В Москве все просят: "Похлопочи у Молотова". Даже самые ответственные товарищи: "Похлопочи! Похлопочи!" Но что я могу? <…> Слез и горя, безысходности обреченных людей, безвинности личной — но попали под колесо — всего этого было достаточно. Рвали сердце и душу. И знаешь: бейся головой об стену — не пробьешь. "Полоса!" Все равно что бороться с океаном. В политике свои законы. Беспощадные. <…> Власть, государственные интересы раздавливают личность. Неужели так будет всегда? А я-то, а мы-то в молодости шли храбро приступом на этот неизбежный закон. "За справедливость". Теперь над этим смеются.

<…> Я знаю многих честных, трудолюбивых, чудесных работников, но жизнь их безрадостна. Вечный страх: происхождение! чистка! высылка! арест! расстрел! За что?

<…> Прежняя культура, мораль, идеологические понятия сметены без остатка. Новая эпоха, новые люди… Новые — значит ли лучшие?"

Через месяц после казни Тухачевского и его товарищей Коллонтай вновь оказалась в Москве в связи с визитом Сандлера. Она записала в дневнике: "Жизнь изменилась резко. <…> Уже никогда, никогда не вернется беспечная радость. Я за эти годы много, много пережила. Но и многое поняла. Многое похоронила. Сердце сковано, и не могу, да и нельзя страдать лично, как раньше. <…> Все иначе, чем было в нашем наивном представлении. Отсутствие справедливости, непременная, неизбежная нетерпимость. А боль остается за "безвинно виновных". Что ждет в Москве?

<…> Как мы могли, как мы смели страдать тогда, в годы до мировой войны, от своих личных болячек? Ведь <…> готовился пожар и впереди были годы безмерных мук для миллионов. <…> Страдаю за других, за всех безвинно виновных, в этот жестокий период истории, очень жестокий. И очень трудный для нас, кто в молодости шел на борьбу "за справедливость", "за человечность" против насилия. Наивно? Да. Очень".

11 сентября 1937 года был арестован Давид Канделаки, только что вернувшийся из Германии, где он был торгпредом, и назначенный заместителем наркома внешней торговли Коллонтай, находившаяся в тот момент в Женеве на сессии Лиги Наций, так прокомментировала этот арест в дневнике: "Холодно.

Жутко. Не хочется жить". Канделаки, который в 1934 году был торгпредом в Швеции и потому был хорошо знаком Коллонтай, расстреляли 29 июля 1938 года по обвинению в участии в мифической контрреволюционной террористической организации ("Москва-Центр").

25 марта 1938 года, находясь в курортном городке Сальтшебадене, Александра Михайловна сделала следующую запись на бланке отеля в связи с арестом Саткевича: "Страшно за многих друзей. Мучаюсь, рвется сердце за них. Далекий друг А. А. — я не могу помириться, не могу охватить, что и он попал под "колесо истории''. Он — такой безупречно преданный, такой честный… Я страдаю, я живу в пытке страданий. За многих. За то, что это неизбежно и непредотвратимо, как стихийное бедствие. Но от этого не легче.

Если я не попаду под колесо, то только чудом. Знаю, за мною нет деяний, никаких поводов фактически. Но в этот период истории не надо деяний: другой критерий.

Поймут ли это будущие поколения? Поймут ли все происходящее? Жить — жутко.

<…> Я вечно на людях. <…> И ни одного близкого, никого, для кого я, лично я, а не начальство, не руководство, а я была бы дорога. Но одной и здесь жутко".

Коллонтай очень быстро поняла, что при Сталине исторические деяния смертельно опасны.

"Я очень одинока. Очень, — писала она из Сальтшебадена новому своему секретарю, шведке Эми Лоренссон, к которой почувствовала доверие. — У меня такое ощущение, что вокруг меня возникают все новые и новые пустоты".

А в дневнике записала: "Я <…> всегда бежала от страданий, <…> я любила жизнь, я хотела счастья, я не хотела страдать".

23 февраля 1939 года умерла Зоя Шадурская. В связи с этим 12 марта Коллонтай написала ее сестре Вере: "Великая боль утраты Зоюшки с каждым днем становится больше, тяжелее. Понимаете, для меня Зоечка — это была половина моей жизни, личной жизни, личных отношений. У меня ведь лично близких, кроме нее, и нет… Я знаю, как Зоечка горячо, с энтузиазмом переживала бы XVIII съезд и какие я бы получала от нее полноценные и правдивые, богатые впечатления!.. Как же жить теперь?.."

Вторая мировая война

3 мая 1939 года, в процессе подготовки временного советско-германского сближения, Литвинова на посту наркома иностранных дел сменил Молотов. Писатель Виктор Ерофеев вспоминал, как его отец-дипломат говорил с Молотовым о Коллонтай: "Отец не обнаружил в нем ни трибуна, ни пламенного революционера. Молотов терпеливо выслушал его положительное мнение о Коллонтай, не перебивая и не поддерживая будущего сотрудника. Коллонтай тоже не слишком жаловала Молотова, сыграв непоследнюю роль в его жизни: в бытность заведующей женским отделом ЦК, который был под Молотовым, она познакомила его с будущей женой, Полиной Семеновной Жемчужиной".

С Молотовым, как и с Литвиновым, у Коллонтай сложились вполне нормальные рабочие отношения.

В донесении, отправленном 23 августа, Коллонтай назвала пакт Молотова — Риббентропа "блестящим политическим ходом укрепления мира". В личном же дневнике записала: "Смелый шаг Москвы. Господа империалисты и не думали, что мы проявим такую решительность и так верно учтем мировую политическую конъюнктуру… Я сама узнала об этом важном событии только сегодня из шведских газет. Рука моя не выронила газету, я даже не особенно удивилась. Шаг с нашей стороны вернейший…"

В октябре 1939 года в послании Молотову в связи с усилением советского давления на Финляндию Коллонтай так характеризовала настроения в Швеции: "Здесь создалась нервная атмосфера, которую Англия использует для раздувания антисоветских настроений. <…> Шведская общественность растерянна и напугана. Англия ловко разжигает традиционные симпатии шведов к "свободной" Финляндии".

22 ноября 1939 года Коллонтай хотела встретиться со Сталиным, но эта встреча так и не состоялась. В этот день она записала в дневнике: "Я сижу и ожидаю вызова Вячеслава Михайловича. Часами жду. Секретари возвращаются из его кабинета и лаконично бросают мне: "Нет, все еще занят, обождите".

В.М. Молотов

И я жду. Жду и начинаю нервничать. Такая атмосфера показательна. Она говорит о том, что решается или уже происходит что-то серьезное. Вспоминаю октябрьские дни 1917 года. Тогда дело шло о революции в нашей стране, сейчас объем нарождающейся борьбы, точнее надвигающейся войны, захватывает весь мир… Заботят меня Финляндия и страны Севера. Кажется мне, пока сижу в Кремле в ожидании свидания с Молотовым, такой второстепенной по важности моя забота. Но все-таки, если эту проблему разрешить сейчас, договориться с финнами мирным путем, это будет, несомненно, в нашу пользу, это отодвинет мировой пожар. Мое нетерпение поговорить с Вячеславом Михайловичем растет с часа на час, а он все не вызывает.

Наконец, секретарь отворяет передо мной дверь кабинета: "Войдите, Вячеслав Михайлович вас ждет". Молотов начал беседу с вопроса:

— Приехали, чтобы похлопотать за ваших финнов?

Я: Приехала, чтобы устно информировать вас, как за рубежом общественное мнение воспринимает наши сорвавшиеся переговоры с Финляндией. При личном свидании легче сделать объективное и полное донесение. Мне кажется, что в Москве не представляют себе, что это повлечет за собой вооруженный

конфликт Советского Союза с Финляндией.

Молотов: Скандинавы убедились на примере Полыни, что нацистам мы не даем поблажку.

Я: Все прогрессивные силы Европы, не одни скандинавы, будут на стороне Финляндии.

Молотов: Это вы империалистов Англии и Франции величаете "прогрессивными силами"? Их козни нам известны. А, видно, здорово струсили ваши шведы. Удержатся ли они на провозглашенной нейтральности? Мы в этом сомневаемся.

Я поспешила передать Вячеславу Михайловичу все то, что премьер Ханссон просил меня передать Москве. Молотов слушал меня нетерпеливо и отводил мои аргументы, повторяя, что скандинавы напуганы Гитлером и хотят заступиться за финнов, побоятся нас. Молотов добавил, что шведский посланник Винтер уже пытался выполнить поручение шведского правительства и заступиться перед нами за финнов. "Но мы все такие попытки скандинавов вмешаться в дела, их не касающиеся, твердо отвели".

Я старалась кратко, но четко показать Молотову на те неизбежные последствия, какие повлечет за собой война. Не только скандинавы, но и другие страны вступятся за Финляндию. На это Молотов перебил меня: "Вы имеете в виду опять-таки "прогрессивные силы" империалистов Англии и Франции? Это все учтено нами".

Я пыталась приводить факты, рисующие настроение левых кругов Европы и США. Я говорила о твердом намерении шведов держаться нейтральными. Шведы сами боятся немецких нацистов. Другое дело — если Англия и Франция вступятся за Финляндию. Ее судьбой также интересуется Вашингтон. Моя информация встречена была Молотовым решительным отводом. Молотов несколько раз повторял мне, что договориться с финнами нет никакой возможности. Он перечислил основы договора с Финляндией, которые сводились к обеспечению наших границ и, не посягая на интегритет (территориальную целостность. — Б.С.)

Финляндии, давали финнам компенсацию за перенос линии границы более на север.

— Предложения СССР финнам логически обоснованны, это делегаты сами признают. Наши требования крайне разумны и скромны. Но финны не хотят договориться. У них на все заготовлен ответ: "Нет, мы не можем принять". Никакие доводы ими не принимаются во внимание. Хельсинкское правительство предрешило вопрос: "Война против Советского Союза неизбежна". Возможно, что их толкают на этот безрассудный шаг буржуазно-националистические державы, о чем вы говорите. Может, и сам Гитлер в отместку за наш отпор, какой дали ему в Белоруссии. Но

кто бы ни вдохновлял их сейчас, для нас теперь, после наших встреч с финскими делегатами и особенно с этим типом Таннером, ясно: финны не пойдут на мирное разрешение вопроса о границах с нами. Нам ничего другого не остается, — твердо добавил Молотов, — как заставить их понять ошибку и заставить принять наши предложения, которые они упрямо, безрассудно отвергают при мирных переговорах. Наши войска через три дня будут в Хельсинки, и там упрямые финны вынуждены будут подписать договор, который они отвергали будучи в Москве. Молотов повторял несколько раз, что финскую делегацию здесь принимали очень радушно. Но финны упорствуют. Главный противник мирного соглашения с нами — это зловредный социал-демократ Таннер. Пааскиви — хитрый старик, но без Таннера он рассуждал бы разумнее. Пока переговоры не прерваны. На днях ждут возвращения делегации финнов в Москву с ответом самого финляндского правительства на новые наши уступки им. Но дальше мы не пойдем. Я поняла, что мои аргументы не приняты во внимание. И главное, что война неизбежна.

Ваша задача, сказал мне Молотов на прощание, — удержать скандинавов от вхождения в войну. Пусть себе сидят в своем излюбленном нейтралитете. Одним фронтом против нас будет меньше.

Я ответила, что готова работать над этой задачей, но, уходя из Кремля, сказала себе: эта задача выполнима лишь при условии, что война с Финляндией не затянется. Надо будет направить все силы на то, чтобы эту неизбежную войну по крайней мере сократить. Этим элиминируется шведский фронт.

Хотя я была в Москве всего два дня, от Вячеслава Михайловича пришел приказ вылететь обратно в Швецию в 6 часов утра. Сталина так и не видела. Досадно! С ним легко и просто говорить. А Молотов в этот раз будто не слушал моих донесений, все стоял на своем. Уехала я удрученная. Тревожная атмосфера в Швеции".

Накануне советского нападения на Финляндию Коллонтай уехала в свой любимый Сальтшебаден. После начала войны ее вызвали для объяснений премьер-министр и министр иностранных дел Швеции.

"— Если вы не хотели войны, — спросил премьер Пер Альбин Ханссон, — почему вы отказались от шведского посредничества?

— Для ответа на ваш вопрос, — с обескураживающей прямотой сказала Коллонтай, — мне нужны указания от своего правительства. Я их не имею".

"Я ненавижу эту войну", — записала Коллонтай в дневнике.

Многотысячные толпы осаждали советское полпредство, выкрикивая лозунги: "Агрессоры-большевики, вон отсюда!" О ходе боевых действий Коллонтай записала в дневнике: "На Карельском перешейке идут бои. Наши войска продвигаются по направлению к Выборгу. В газетах то и дело мелькают названия местечек и дорог, знакомых мне с детства: Кюреле, Пелекелле, Кузанхови — Кууза (усадьба дедушки), дом с белыми колоннами, вся моя юность там. <…> Темные дни. Бои, бои. Знакомые названия местечек близ усадьбы дедушки — дорога на Вуоксу, красный деревянный мост через речку Канилан. На этом мосту финские девушки и парни плясали под гармошку, и мы, молодежь из усадьбы, нередко присоединялись к ним в светлые летние ночи. <…> А сейчас через красный мост над быстрой речкой, громыхая, переправляются орудия и танки. Там мне знаком каждый поворот. Но нет уже ничего, даже тех поворотов. Все уничтожено войной, все, все… Куусинен (глава марионеточного правительства Финской демократической республики. — Б.С.) не имеет поддержки в народе".

Когда в ходе "зимней" советско-финской войны Швеция, поддерживаемая Великобританией, отправила в Финляндию два батальона добровольцев и появилась угроза ее вступления в войну против СССР, Коллонтай сумела использовать шведское посредничество в советско-финских переговорах о мире. 21 декабря 1939 года брат шведского короля, принц Евгений, неплохой художник, попросил Коллонтай принять ее хорошего знакомого Карла Герхарда, популярного эстрадного певца и директора музыкального театра. 24 декабря они поужинали на вилле Герхарда в Сальтшебадене. С ними также были министр социального обеспечения Меллер с женой. Министр предложил Коллонтай шведское посредничество для достижения мира с Финляндией. Ответ Молотова содержал требования таких территориальных уступок и ограничения суверенитета Финляндии, на которые финны пока что не соглашались.

Можно отметить, что в 1942 году благодаря активности Герхарда банк Эншильда, подконтрольный Маркусу Валлен-бергу, профинансировал и осуществил сделку, когда в обмен на советскую платину была осуществлена поставка в СССР высококачественной стали.

В советском посольстве в Швеции в период войны с Финляндией активно работали представители спецслужб, что раздражало Коллонтай. Она записала в дневнике: "Все больше совещаются за моей спиной Ярцев (резидент НКВД майор госбезопасности Борис Аркадьевич Рыбкин, работавший под прикрытием советника посольства. — Б.С.) и Вуолийоки

(известная финская писательница Хелла Вуолийоки (Элла Мария Муррик), агент НКВД. — Б.С.). Часами строчат донесения в Москву, а о чем, не говорят. Она и Ярцев не доверяют искренности шведов. Тем более не доверяют мне. Не хотят понять, что Хансон (Пер Альбин Ханссон, премьер-министр и лидер социал-демократической партии Швеции. — Б.С.) кровно заинтересован в мирном разрешении конфликта. Обо мне нечего и говорить. Этого ни Ярцев, ни Грауэр (представитель НКВД. — Б.С.) понять не хотят. Зачем Таннер (министр иностранных дел и лидер социал-демократов Финляндии. — Б.С.) прислал сюда Вуолийоки? Может быть, у нее есть поручения не только из Хельсинки? Мне она не помощь, а эти совещания за моей спиной в секретной части советского полпредства меня нервируют и злят".

Когда в Стокгольм прибыл сам Вяйне Таннер, Коллонтай встретилась с ним, получив предварительное согласие Москвы, в Гранд-отеле, в номере, который занимала Вуолийоки, и в ее присутствии. В 1910 году Таннер и Коллонтай вместе участвовали в социалистическом конгрессе в Копенгагене. Несколько дней спустя они встретились наедине на квартире стокгольмского адвоката Матильды Сталь.

Коллонтай записала в дневнике: "Зима не сдает. Наше продвижение замедлилось из-за лютого мороза. На финнах тулупы, подбитые овечьими шкурками, и шапки белые бараньи из США. Наши замерзают стоя <…>. В темных лесах Финляндии много братских могил финнов и наших. Жуткие долгие черные ночи в безлюдных густых лесах, где над убитыми и ранеными вьются вороны. Откуда налетели в заснеженные и обычно затихшие зимою леса Финляндии эти стаи зловеще каркающих хищников? <…> Кууза давно позади нашего фронта, и о знакомых местах больше не пишут в газетах. Уцелела ли усадьба, белый дом с колоннами, парк с липовой аллеей и березовая роща, что в год моего рождения своими руками посадил мой отец?"

После того как советские войска с большими потерями, но все-таки прорвали линию Маннергейма и вышли к Выборгу.

7 марта финская делегация наконец-то вылетела в Москву из стокгольмского аэропорта Бромма. В ночь с 12 на 13 марта был подписан Московский договор, тяжелый для Финляндии, но сохранявший ее независимость. Из Москвы пришла благодарственная телеграмма: "Коллонтай. С Финляндией подписан и опубликован мирный договор. Ввиду ваших больших заслуг во всем этом деле горячо поздравляю вас с этим новым международным успехом Советского Союза. Молотов". Теперь ее родная финская Кууза была переименована в русское село

Климово. За два часа до вступления в силу мирного договора, по которому Выборг все равно отходил к Советскому Союзу, Сталин приказал еще раз штурмовать его. Неудачный и бессмысленный штурм стоил сотни ненужных жертв.

Тяготы военного времени все больше чувствовались в Швеции, особенно после того, как соседние Норвегия и Дания в апреле 1940 года были оккупированы Германией и создалась угроза германского вторжения в Швецию. В мае того же года Коллонтай писала: "Здесь много перемен. Европа перестраивается на военный лад. Кофе, мыло, сахар — все по карточкам. В Стокгольме мы почти все время сидим без света, напряжение колоссальное, но у шведов образцовый порядок, и, вопреки трудностям, у них все хорошо организовано".

По инициативе Александры Михайловны Мише с женой разрешили приехать в Стокгольм. Он стал представителем "Станкоимпорта" и "Машиноимпорта" в Швеции и получил должность инженера торгпредства. В октябре 1940 года резидентом внешней разведки НКВД в Швеции в должности советника был назначен полковник Иван Андреевич Чичаев. Они с Коллонтай друг друга невзлюбили. Александра Михайловна считала Ивана Андреевича (вряд ли справедливо) неучем, бездарью и выскочкой. Коллонтай раздражало то, что Чичаев, формально подчиненный ей, фактически ни в чем ей не подчиняется.

В марте 1941 года Коллонтай со ссылкой на только что вернувшегося из Берлина шведского дипломата Гуннара Хэгглофа сообщила в Москву, что Гитлер собирается напасть на Советский Союз в начале лета. 19 июня 1941 года на Коллонтай поступил донос, два главных пункта которого сводились к следующему: "1) …окружила себя шведской обслугой, не считая советских граждан достойными угождать ее прихотям, убеждена, что советский технический персонал работает хуже, чем шведский, и 2)… поселила в здании миссии сына с невесткой". Молотов наложил резолюцию: "Надо о товарище Коллонтай подумать. Кстати, почему ее сын с семьей находится там?" Начавшаяся через три дня спустя война сняла этот вопрос.

После начала Великой Отечественной войны с Германией Коллонтай записала в дневнике: "Тяжесть на душе большая. От всего, вместе взятого. От той тяжелой, ответственной работы, которая пала на меня здесь. А за последнее время и от тех "инцидентов", какие имели место в связи с дилетантизмом моих сотрудников в серьезнейшей отрасли нашей работы. И от того несозвучия, более — той враждебности, какая установилась между мной и одним из сотрудников. Это нервирует, это

отвлекает, это подрывает мои силы и сердит, так как тормозит мою работу вовне, большую, ответственную сейчас и очень тонкую.

Я бы лучше справлялась, больше делала, если бы меня не отвлекали, не брали мое время и силы эти ненормальные отношения и интриги за моей спиной.

<…> Мне сейчас неимоверно трудно. Но "вовне" справляюсь вполне удовлетворительно. Расту и учусь на крайне сложной задаче: борьба с немцами за то, чтобы Швеция не была втянута в войну".

Вскоре после начала войны Чичаев был отозван. В качестве советника ему на смену прибыл Владимир Семенов, который, в отличие от предшественника, не был резидентом НКВД. Его Коллонтай не знала. В качестве резидента НКВД и второго секретаря полпредства прибыл хорошо знакомый Александре Михайловне "Ярцев" (Борис Рыбкин) вместе с супругой Зоей Ивановной Рыбкиной, представителем Интуриста. Впоследствии она стала известной писательницей Зоей Воскресенской. Коллонтай предложила ей сменить свою нелепую должность на пресс-секретаря посольства. Иначе бы шведские газеты вдоволь над ней поиздевались. Ведь ни советских туристов в Швеции, ни шведских в СССР в условиях войны не было вообще и до конца войны не предвиделось.

Коллонтай знакомила нового пресс-атташе со своими приятелями из шведского высшего общества. Прибыл и новый шифровальщик Владимир Петров (Афанасий Шорохов), занимавшийся также нелегальной работой, а через два года после смерти Коллонтай, уже в Австралии, ставший знаменитым перебежчиком.

Коллонтай писала в дневнике: "Война — неимоверная. Жуткая. Кровавая. Какой еще не бывало. И это лишь преддверие — впереди перерастание этой войны стран и держав в войну гражданскую. <…> Моя любимая, горячо любимая Норвегия! Как ее топчут нацисты! И как норвежцы упорны в своем сопротивлении! <…> Но это вступление в новую эпоху человечества. Это подготовка социальной революции. Где, как будет переход? По существу, <…> восстание против системы капитализма с ее высшим политическим выражением — нацизмом — уже началось. <…> Буржуазия во всех странах еще не ухватила, что происходит. Она боится "большевизма", и две самые могущественные страны — Америка и Англия — вынуждены помогать Советскому Союзу. Вынуждены укреплять тот строй, то мировоззрение, которое таит в себе их гибель.

Война — ужасна. Чудовищна. И все же… Я вижу ее

превращение — неизбежное — в социалистическую революцию. Через это надо пройти человечеству.

Интеллигенты здесь часто вопрошают меня: "Как, чем окончится война?" Они мыслят себе "мирную конференцию", может быть, даже в Стокгольме. Ничего подобного! <…> И в Германии, и в Англии, и повсюду уже идет брожение. <…> Начавшееся народно-национальное движение перерастает неизбежно в классовое.

Рабочие, крестьянская беднота, малоимущие классы, передовая интеллигенция не удовлетворятся борьбой с завоевателем, с немцами. Они захотят "сами" решать свою судьбу. Не оставлять ее в руках Штрассеров, Рузвельтов, Бенешей и Черчиллей. Новые люди возглавят движение. Как у нас в 17-м году.

<…> Война — жуткий, безумно ужасный факт. Эта война — сплошная кровь и разрушение. Но она расчищает в Европе, во всем мире путь к новому строю. Она наносит смертельный удар капитализму. Уже никогда не будет "прежней Англии". <…> Уже не сможет Уолл-стрит дирижировать политикой мира через банки и тресты. Чем скорее Союз победит <…>, тем легче и скорее вступит человечество в новый этап своей истории: переход к социалистическому строю. И к победе всех тех великих и чудесных принципов, какие заложены в мировоззрении коммунизма".

В августе 1942 года, поднимаясь в лифте посольского здания на свой третий этаж, Коллонтай внезапно потеряла сознание и упала на руки оказавшихся вместе с ней в кабине лифта Зои Рыбкиной и горничной-норвежки фрекен Рагна. В больнице доктор Ада Нильссон и профессор Нанна Свартц диагностировали тромбоз сосудов головного мозга, вызвавший тяжелый инсульт.

В ответной шифровке Семенову за подписями Сталина и Молотова содержалось и еще два важных указания: регулярно информировать их лично о состоянии здоровья Коллонтай и немедленно, соблюдая строжайшую секретность, вскрыть ее личный сейф, сфотографировав содержимое. Указание было выполнено, но ничего компрометирующего в сейфе не нашли. Не было там и вообще никаких серьезных личных бумаг, в том числе и дневников. Возможно, часть архивов была укрыта у доктора Ады Нильссон.

В результате инсульта у Александры Михайловны оказались парализованы левая рука и нога и затруднена речь. Она так и не оправилась полностью от него до конца жизни.

Коллонтай стала к тому времени дуайеном дипломатического корпуса как старейшина по времени

пребывания в стране. 16 сентября 1943 года ей было присвоено звание Чрезвычайного и Полномочного Посла, четырьмя месяцами ранее введенное в СССР и соответствующее званию армейского генерал-майора. Более никто из женщин при жизни Коллонтай не был удостоен этого звания.

Для восстановления здоровья и сил Коллонтай перевели в санаторий Мессеберг неподалеку от Стокгольма. Ее сопровождала Рыбкина.

Александра Михайловна оказалась причастна к попыткам организации советско-германских переговоров о сепаратном мире. После того как стало ясно, что под Сталинградом германская армия потерпела поражение, министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп с согласия Гитлера начал поиски сепаратного мира с кем-либо из членов Антигитлеровской коалиции. Зондаж велся в нейтральных странах, в том числе в Швеции, где имелись посольства всех воюющих государств. После войны Петер Клейст, бывший сотрудник Риббентропа, вспоминал, как в декабре 1942 года оказался в Стокгольме: "Примечательный разговор состоялся у меня 6 декабря 1942 г. с одним известным шведом, который ничтоже сумняшеся предложил: "Объявите в Германии формальную капитуляцию по отношению к Западу, чтобы затем вместе сражаться на Восточном фронте". Я возразил, что ему должно быть известно, насколько далека от немецких реалий подобная мысль, не говоря уже о том, что ни английской, ни американской армий, которым можно было бы сдаться, пока на континенте нет. Кроме того, представлялось сомнительным, что эту частную инициативу шведа поддержит хотя бы одно-единственное американское или английское официальное лицо.

И тут случилось нечто удивительное: в восточной стене, которая казалась мне абсолютно непроницаемой, вдруг обнаружилась дверь или, если точнее, приоткрылось крошечное оконце. Один мой немецкий знакомец в Стокгольме, которого я попросил о помощи, с сожалением сообщил, что информации или связей с Западом у него нет, но: "Есть один человек, знакомство с которым может оказаться весьма интересным и полезным. У него прекрасные связи в советском посольстве в Стокгольме, и он уже несколько раз передавал нам поразительно точные данные. Беседа с ним, которую для безопасности можно устроить конспиративно, Вам не повредит. Я гарантирую, что этот человек будет соблюдать конфиденциальность. В Вашем молчании я не сомневаюсь, так как это в Ваших же интересах".

Мысль выйти на контакт с мадам Коллонтай увлекла меня. Эта женщина, дочь царского флигель-адъютанта (отец Александры Михайловны никогда не был флигель-адъютантом. —

Б.С.). во время Октябрьской революции пошла на баррикады, будучи женой коммунистического матроса, она писала книги о свободной любви, стала одной из ближайших сподвижниц Ленина и получила пост посла СССР в Стокгольме. Говорили, что она находится в оппозиции к Сталину, но имеющиеся в ее распоряжении материалы о том, как Сталин пришел к власти, защищают ее от диктатора (эта легенда не имеет ничего общего с действительностью. В тот момент, когда разворачивалась борьба Сталина с Троцким, Зиновьевым и Каменевым, Коллонтай находилась за границей и никакими материалами об этой борьбе не могла располагать. — Б. С).

Информация о предполагаемом посреднике, Эдгаре Клаусе, была довольно противоречива. Он родился в Восточной Европе, одинаково плохо говорил по-русски и по-немецки, занимался предпринимательством в Латвии, Литве и Германии, а затем бросил якорь в Швеции. Он был женат на шведке русского происхождения и абсолютно точно имел контакты как с мадам Коллонтай, так и с первым советником посольства Семеновым… Хотя восточное направление не лежало в центре моих интересов, я принял предложение своего знакомца, и 14 декабря мы встретились с соблюдением всех мер предосторожности. Один знакомый швед уступил мне (я придумал вполне убедительный предлог) на выходные свой загородный домик. Он стоял на Солсидане, на крутом гранитном утесе над морем. Не успела закипеть вода для чая, как появился мой знакомец вместе с Клаусом, приземистым темноволосым мужчиной, безупречно одетым и обладавшим хорошими манерами. После вежливой беседы на общие темы атмосфера стала более радушной, и Клаус начал осыпать нас новостями о политике и военной стратегии Советского Союза:

"Я всего лишь предприниматель и не интересуюсь политикой. Но у меня создалось впечатление, что советская сторона готова искать компромисс с Германией, чтобы как можно быстрее закончить эту кровопролитную войну. Поэтому я хочу ковать железо, пока горячо, и принять на себя посреднические функции. Я могу в любой момент свести Вас с людьми из советского посольства".

Быстрый разгон, который взял Клаус, живо напомнил мне о моем первом разговоре с советским уполномоченным Астаховым в 1939 году в Берлине, который сделал тогда предложение, приведшее впоследствии к заключению советско-германского пакта. Но тогда я действовал официально, сейчас же я на свой страх и риск ввязался в авантюру, личные и политические последствия которой я не мог предвидеть (Клейст явно

преувеличивает свою значимость. Невероятно, чтобы он вел поиски сепаратного мира без санкции Риббентропа. — Б.С.). Я поправил Клауса, пояснив, что вступил в разговор с ним исключительно по собственной инициативе и не ищу контакта с Советами ни сам, ни по заданию каких-либо немецких ведомств. Клаус пожал плечами и сказал, что очень сожалеет, гем не менее его предложение остается в силе:

"Я гарантирую Вам, что если Германия согласится на границы 1939 года, то уже через восемь дней может воцариться мир".

Во время дальнейшей беседы Клаус поведал, что встречался зимой 1917—18 гг. в Самаре со Сталиным, Троцким и Масленниковым, когда те трое прятались в отеле "Националь", которым управлял директор-австриец. Он также рассказал про переводчика Сталина, маленького светловолосого Павлова, о котором ходили слухи, что он, мол, незаконный сын Сталина. Клаус пояснил, что мать Павлова происходит из волжских немецких колонистов, и ее девичья фамилия Шмидт, и что своим прекрасным знанием немецкого Павлов обязан долгому пребыванию в Гере, где жил под фамилией Шмидт… После долгой беседы, во время которой Клаус почти непрерывно описывал свои приключения во время большевистской революции, мы расстались, поблагодарив друг друга за интересное времяпровождение, и разными путями вернулись в Стокгольм.

Немногие доверенные лица, с которыми я обсуждал итоги моей поездки после возвращения в Германию, убеждали меня не бросать затею на полпути. Фон Тротт из МИДа, которого я встречал и в Стокгольме, рассказал, что, хотя он немало общался со шведами и немецкими эмигрантами самых разных убеждений и получал от них множество чистосердечных, но абсурдных советов, о возможности контакта с вражеским лагерем никто доселе не упоминал: "Поэтому мы должны воспользоваться даже этим, столь призрачным шансом".

Граф Шуленбург, бывший посол в Москве, так оценил ситуацию: "Очевидно, что у Клауса есть связь с советским посольством, он доказал это, в том числе предоставлением безошибочной информации. Стокгольмскую миссию возглавляет Коллонтай, которая занимает довольно высокое место в советской иерархии и может быть посему использована Кремлем для выполнения заданий особой важности. Если утверждение Клауса о том, что Советы желают войти в контакт с Германией ложно, это выяснится при первой же проверке. Если же оно истинно, то нужно всерьез задуматься, чего хочет добиться Сталин. Он может преследовать две цели: или он действительно

хочет закончить войну с Германией, вернуть статус-кво и заняться восстановлением, или, не доверяя западным союзникам, он затевает игру, чтобы шантажировать их угрозой германо-советского соглашения. Если верно второе предположение, то Германия оказывается втянутой в опасную аферу, которая, однако, может угрожать и Советскому Союзу, если Гитлер решится обернуть против Кремля его же оружие. Впрочем, представляется сомнительным, что Гитлер пойдет на такой тонкий дипломатический трюк в ситуации, когда он упустил гораздо более выгодные шансы политической борьбы против большевизма".

Мы сошлись на мнении, что канал связи через Клауса надо сохранить и аккуратно зондировать, чтобы использовать малейшую возможность удержать Красную Армию хоть на какой-нибудь границе перед вратами Европы. По службе я занимался переселением ингерманландцев и решением эстонско-шведских проблем, что дало мне возможность в июне 1943-го еще раз отправиться через Хельсинки в Стокгольм, не запрашивая на это специального разрешения. Я остановился не в обычном дипломатическом отеле "Гранд", а направился в более скромный и спокойный "Странд-Отель". Уже в день моего приезда, 18 июня, на пороге моей комнаты возник Клаус. На удивленный вопрос, откуда он узнал мое имя и адрес, Клаус с усмешкой авгура ответил: "Вас это удивило, но мое сообщение удивит Вас еще больше. Ваш друг Александров сейчас в Стокгольме. Завтра он отбывает в Лондон, но 7 июля вернется, чтобы встретиться с Вами".

Мой ответ его несколько отрезвил: "У меня нет друга по фамилии Александров, кроме того, у меня нет ни желания, ни задания вести переговоры с Вашим приятелем. Я прибыл сюда с гуманитарной миссией. Если я и разговаривал с Вами, то лишь как частное лицо, интересующееся Востоком".

Клаус парировал: "Вы, безусловно, выступаете как час гное лицо, равно как и Александров, который абсолютно случайно встретится здесь со своим старым московским знакомым. Вы же должны признать, что знакомы с шефом европейскою отдела Наркомата иностранных дел. Вспомните, на одном из приемов, которые Советы давали в известном Вам морозовском особняке на Спиридоновке, вы даже познакомились с его женой".

Я действительно шапочно знал Александрова, но никогда не упоминал его имени, да даже и сам позабыл об этом незаметном и осмотрительном человечке. Что ж, после тою как Клаус назвал его имя, с детскими шуточками можно было кончать. Эти сугубо частные сведения он мог получить лишь из первых рук. Дело

приняло серьезный оборот.

"Дорогой господин Клаус, — отвечал я, — если частное лицо Александров желает встретиться с частным лицом Клейстом, чтобы непринужденно поболтать о прежних временах, что в этом плохого. После этого, правда, нам придется открыть тут в Стокгольме ресторан, как тем трем парням из "Ниночки". Потому что вряд ли Александрову захочется вернуться в Москву, где с ним разделаются точно так же, как со мной в Берлине. Но шутки в сторону! Если Александров готов со мной встретиться здесь, значит, он действует по заданию Кремля. И пойдет на это лишь в том случае, если я, в свою очередь, буду представлять правительство Рейха. Но, учтите, я не обладаю подобными полномочиями".

Клаус снова понимающе улыбнулся, но не отступил. Пришлось сделать хорошую мину при опасной игре. Я попросил подать еду и напитки, и мы присели над sakuska, к чему он как житель Восточной Европы был привычен: "Я не хочу расспрашивать Вас о методах Ваших контактов с Советами, пусть это останется Вашей тайной. Но мне было бы любопытно, если бы

Вы смогли объяснить, чем руководствуется Кремль, обращаясь к Германии с предложением о переговорах сейчас, когда немецкие армии повсюду отступают. Если Вы сможете доходчиво донести это до меня, можно будет продолжить разговор".

Клаус достал из кармана несколько листков с русским текстом и извинился, что он не политик, поэтому должен опираться на шпаргалки, которые сделаны во время двух продолжительных диалогов с сотрудниками советского посольства. "Советы, — утверждал Клаус, — не хотят сражаться за интересы Англии и Америки ни один лишний день, ни одну минуту — ni odnu minutu — дольше, чем необходимо. Из-за своей идеологической зашоренности и интриг капиталистических государств Гитлер оказался втянутым в войну, которая застала Кремль в самом разгаре индустриализации. Да, Советский Союз может, расходуя последние ресурсы и пользуясь поставками из США, противостоять немецким войскам, возможно, даже разбить их в смертельной битве. Но над трупом уничтоженной Германии изможденный, кровоточащий Советский Союз окажется один на один против сильного и ничуть не пострадавшего Запада. До сегодняшнего дня англо-американцы не сделали никаких четких заявлений о военных целях, территориальных разграничениях, мирных планах и т. д. Их отношение к Германии тоже можно критиковать. С Рудольфом Гессом в Англии обращаются не как с плененным военным преступником, а как с джентльменом. На все

вопросы русских по поводу будущего Гесса Англия дает туманные ответы. Вся тяжесть войны лежит на плечах Востока. О втором фронте в Европе нет и речи. Высадка в Африке больше похожа на фланговую операцию против СССР, чем на атаку стран Оси. Открытием второго фронта ее назвать нельзя. Второй фронт должен брать врага в клещи, а не щекотать с краю. От официальных лиц и штабных офицеров все чаще слышно про открытие второго фронта на Балканах. Кремлю это крайне нежелательно. Если этот план начнет осуществляться, Москва в ответ вынуждена будет пригрозить оккупацией Японии или даже пойти на нее. Высадка на Балканах отрежет Советам путь к их главным европейским военным целям — проливам.

Как первое ясное предупреждение, 150 тяжелых бомбардировщиков, доставленных из США, не отправились на Западный фронт, где они очень бы пригодились, а оставлены Дальневосточной Армии. В Сибири сейчас формируется 400 новых дивизий. 200 из них будут задействованы против Германии, так что к зиме против Германии будут сражаться 600 дивизий численностью 8—10 тысяч каждая. Оставшиеся 200 дивизий отойдут Дальневосточной Армии, которая получит абсолютное превосходство в живой силе против любой другой находящейся там армии.

И в Персии компромисс с Англией достигнут лишь с большим трудом. Поэтому утешения Рузвельта и Черчилля Сталин не может принимать всерьез. Германия же сейчас владеет многими тысячами квадратных километров территории, которую Красная Армия пядь за пядью должна отвоевывать, теряя при этом людей, технику и время. Эти территории сейчас — объект торга в немецких руках, благодаря чему соглашение может быть достигнуто немедленно".

"И что случится тогда?" — прервал я Клауса.

"Тогда имеются две гарантии сохранения мира. Первая — стоящая перед Советским Союзом необходимость залечить раны, восстановить разрушенное войной и продолжать индустриализацию. Вторая — экономическая помощь, которую при этом может оказывать Германия. Ведь если Германия будет уничтожена, Советский Союз попадет в зависимость от американской помощи, в которой ему в любой момент могут отказать".

На мое замечание о догме мировой революции Клаус возразил: "Бессмысленно убеждать Вас в том, что это лишь пустая идеология. От догмы мировой революции как шага, следующего за нынешним переходным периодом сталинского "социализма в одной, отдельно взятой стране", никто не откажется. Кремль не

может этого сделать хотя бы из-за своей пятой колонны во всем мире. Но мировую революцию следует понимать как логичное следствие распада империализма, являющегося конечной стадией капитализма. Ее нельзя совершить, она должна произойти сама. В любом случае государственник Сталин не станет наносить ущерб собственной стране незрелыми идеологическими прожектами. Приближению мировой революции скорее послужит то, что капиталистические страны сражаются друг с другом, взаимно ослабляя себя, вместо того чтобы нанести удар в сердце пролетарской мировой революции".

После долгих рассуждений военного характера Клаус добрался до темы, по которой у него были весьма подробные записи: "Европа все еще считает себя пупом мира. Особенно для Германии европейские поля сражений и европейские цели очень важны. Советский же Союз с 1917 года все дальше удаляется от своих европейских позиций. Потеря царских владений в Польше и Прибалтике и перенос столицы из Петербурга в Москву стали первым толчком. Развитие индустрии вокруг Москвы и в Донбассе — вторым. Третьим же, решающим, стало возведение новых индустриальных гигантов по типу Кузнецка по ту сторону Урала плюс сельскохозяйственное развитие Туркестана и других азиатских территорий. Теперь Советский Союз гораздо ближе азиатскому миру, даже Дальнему Востоку, чем европейскому сознанию. Сталин сам рожден за Кавказским хребтом, он знает Сибирь еще с дореволюционных времен, так как семь раз направлялся туда не по собственной воле. Западная Европа ему практически чужда. Западная Европа — старый континент со своими укоренившимися привычками, со своеобычными народами, их лишь с большим трудом и огромным терпением можно втиснуть в советскую концепцию, которая до окончательной победы мировой революции должна быть ориентирована на Москву.

Гораздо лучше и многообещающе выглядят шансы Москвы на дальневосточном плацдарме. Китайская революция разгромила тысячелетнюю китайскую культуру, обобществила былые ценности. Японское вторжение уничтожает последние еще сохранившиеся традиции, семейные связи и имущественные отношения, чем вдохновляет национальное сопротивление окончательно порвать с прошлым. Миллионы индивидуумов, которые, в отличие от европейцев, не приучены к особости статуса, попадают в руки тех, кто умеет работать с массами. Но работать с ними будет вовсе не проповедующий свободу англо-американский демократ, сам помогающий рушить старые стены, а человек в Кремле.

Так называемые знатоки Китая не понимают, что там происходит. Они влюблены в Китай и слепы, как все влюбленные. Они полагаются на старую нерушимую, с их точки зрения, твердь китайской культуры и не замечают, как эта твердь исчезает. Когда советские эмиссары Карахан, Бородин и Блюхер прокололись с китайской революцией, когда она не превратилась в пролетарскую по рецепту Маркса и Ленина, Москва повела очень дальновидную политику: в Москве и Ленинграде были основаны дальневосточные университеты, в которых сейчас год за годом учатся тысячи китайцев, индусов, бирманцев, яванцев, получая в дополнение к образованию политические установки. В их учебном плане не только учение Маркса и Ленина, но и тактика гражданской войны, саботажа и шпионажа, указании по учреждению независимых организаций, нелегальных типографий и т. д. Прилежные воспитанники мировой революции уже сегодня ведут партизанскую войну с Японией. При этом они получают оружие от Америки и Англии, которые в их близорукой наивности прилежно кормят московского дракона. Там, в Китае, решится судьба следующего столетия, там, в Китае, будет идти борьба за мировое господство, для Китая кремлевский хозяин будет экономить силы и порох. Именно поэтому Александров готов к разговору с Вами".

Я должен честно признать, что ожерелье причин было нанизано вполне убедительно. Разумеется, мысль в Москве вполне могла работать в этом направлении. Казалось невероятным, что Клаус сам выдумал все приведенные им аргументы. К тому же некоторые названные им имена и события прямо указывали на советские источники информации. Если Александров действительно находился в Стокгольме и был готов встречаться со мной, становилось ясно, что с частной авантюрой покончено. Вряд ли Александрова заинтересует встреча с оппозиционером, к какой бы группировке он ни относился. Нет, он ищет человека, имеющего прямой выход на Вольфсшанце. Дальнейшая самодеятельность была не только бессмысленной и опасной, но и невозможной. Оставалось лишь два пути: с минимумом потерь выйти из игры или стать тупым орудием большой политики и помочь Кремлю установить желаемый контакт. Непростой выбор. Часами бродил я той ночью по ярко освещенному Стокгольму. Мне пришли на ум слова Шекспира:

The time is out of joint: O cursed spite,

That ever I was born to set it right.

(Распалась связь времен.

Зачем же я связать ее рожден! (в переводе Б. Пастернака) — цитата из шекспировского "Гамлета". — Б.С.)

"Не излишне ли я самонадеян, поверяя свою скромную судьбу такими мерками", — подумал я. Но ведь на карте стоит много больше, чем во время той семейной ссоры в датском королевстве. Если существует хоть мимолетная тень малейшей надежды на то, чтобы закончить войну и оградить Европу от советского нашествия, есть ли у меня вообще выбор? Могу ли я сейчас выйти из игры и спокойно поехать домой, радуясь, что вышел невредимым из опаснейшей аферы. И пусть дни сами текут своим чередом до того момента, когда русские окажутся на берегах Эльбы?

На следующее утро я полетел в Берлин, чтобы "покаяться", но не успел выйти из машины в Темнельхофе, как был арестован.

Меня ждал чиновник из СД, чтобы, согласно приказу, доставить меня к своему шефу — обергруппенфюреру СС Кальтенбруннеру. По пути я узнал о причине столь повышенного внимания к моей персоне. Мой собеседник Клаус, желая узнать, действительно ли я тот самый человек, которому следует передать предложение Александрова, отправился к немецкому военному атташе в Стокгольме, где изложил свое сообщение повторно. Военный атташе доложил своему шефу — Канарису, а Канарис — Гитлеру. Но его версия гласила: еврей Клаус утверждает, что в Стокгольме находится еврей Александров, который ждет немецкого переговорщика. Если через четыре дня переговорщик не объявится, Александров отправится в Лондон, чтобы окончательно договориться там о совместной работе Кремля с западными державами. У Гитлера случился припадок бешенства, и он приказал немедленно привлечь к ответственности всех связанных с этой "грязной еврейской провокацией". Военный атташе из Стокгольма телеграфом проинформировал Берлин о моем прибытии, как и о том, что я могу дать вполне аутентичную справку о происшествии.

Так меня арестовали. Я был не слишком сильно удивлен этому повороту событий. Тот, кто сует пальцы меж шестеренок политической махины, не должен жаловаться, особенно во время войны и в государстве, в котором действует гестапо. Дворец на Вильгельмштрассе, в который меня доставили, как и многие здания своего рода, потерял после учрежденской перестройки свой былой шарм. Лишь отдельные комнаты все еще хранили старую классическую культуру. В одном из таких небольших овальных залов меня ожидал Кальтенбруннер, сидевший за широким столом вместе с двумя сотрудниками. Он усадил меня напротив и потребовал подробного рассказа обо всем. Его характерное тяжелое лицо не предвещало ничего доброго, но в глазах светилась искра интеллекта. Если он не принадлежал к

типу упрямых начальников, которым недоступна деловая аргументация, лучшим выходом было выложить все карты на стол.

Я начал рассказывать, как случай столкнул меня с человеком, которого я, будучи примерным чиновником, вроде бы должен был избегать. Но так как формальная корректность в этом случае показалась мне бегством от ответственности, я ввязался в это приключение. Я рассказал обо всем произошедшем, Кальтенбруннер слушал внимательно. Из его промежуточных вопросов я понял, что дело его заинтересовало. Мне передали пачку "Честерфиль-да". Как я знаю из богатой практики допросов после 45-го, это еще ничего не значит. Но то, что адъютант обошел стол, чтобы дать мне прикурить, я принял за хороший знак. Речь теперь шла не о моих грехах и раскаянии, а об обстоятельствах дела. Когда я закончил, Кальтенбруннер отвел меня в соседнюю комнату и сказал с глазу на глаз: "У меня создалось впечатление, что вы говорите правду, ведь если русские действительно захотели бы нас прощупать, то они бы придали всей истории вид случайного и ничего не значащего свидания двух старых знакомых, что и следует из Вашего описания. Доложенная фюреру версия ультимативного требования о вступлении в переговоры — полная чушь. Вы можете объяснить, откуда взялось это сообщение? И что, Клаус и Александров действительно евреи?"

"Александров — чистокровный русак и точно не еврей. Клаус, как мне кажется, тоже не еврей, хотя я до сего момента меньше задумывался о его родословной, чем о подлинности его сообщения. Почему Канарис доложил именно так, я не знаю. Или кто-то хотел дискредитировать затею как "еврейскую провокацию" или кто-то надеялся достигнуть этим преувеличением быстрой реакции на самом верху".

"В любом случае, — продолжил Кальтенбруннер, — вся история так запятнана в глазах фюрера, что сейчас никто не решится заговорить о ней снова. Не докладывайте пока ничего министру иностранных дел. Я сам извещу Риббентропа, когда дело слегка порастет травой и Вам не будет угрожать опасность. Отпускаю Вас под домашний арест. Вам сообщат, когда вы снова подучите возможность свободно передвигаться".

Под домашним арестом я просидел 14 дней, впрочем, меня по-дружески предупредили, чтобы я держал язык за зубами и не вредил себе сомнительными телефонными беседами и визитами. Что ж, обжегшийся на молоке дует на воду".

Донесения Клейста в германский МИД об этих переговорах до сих нор не найдены, равно как и советские, излагающие их ход.

Поэтому невозможно проверить, насколько точен рассказ П. Клейста. Однако то, что какие-то переговоры с участием Клейста имели место в Стокгольме, сомнений не вызывает. Стоит также отметить, что Йозеф Эдгар Клаус, родившийся в 1879 году в Риге и умерший 1 апреля 1946 года в Швеции, подозревался также в том, что он является советским агентом, равно как и выкрестом, перешедшим в лютеранство.

После войны журнал "Либерти" опубликовал статью журналистов Пауля Шварца и Гея Ричардсона о том, что в 1943 году при активном участии Коллонтай предпринимались попытки начать сепаратные переговоры с Берлином на шведской территории. По просьбе советского МИДа она написала письмо в редакцию газеты "Известия", которое 29 июля 1947 года было опубликовано:

"Я прочитала в американском журнале "Либерти" статью двух авторов — Пауля Шварца и Гея Ричардсона. Эта статья вызвала у меня чувство глубокого возмущения той клеветой по адресу Советского Союза, которую преподнес журнал своим читателям…

Эти два провокатора решили сделать сенсационное "разоблачение" будто бы имевших место весною 1943 года в Стокгольме, под моим руководством как посланника СССР, попыток переговоров о сепаратном мире между Москвой и Берлином…

Шварц и Ричардсон прежде всего сочиняют длинную повесть о приезде весною 1943 года из Москвы в Стокгольм сотрудника МИДа А.М. Александрова с поручением ко мне выяснить возможности сепаратного мира с Германией. Но легко проверить, что А.М. Александров в 1943 году находился в Австралии, будучи там советником Миссии СССР, и вообще никогда в Стокгольм не приезжал.

Затем следует подробное описание, как я старалась найти посредников для установления связей с немцами, хотя было известно, что именно весною 1943 года я была тяжело больна и находилась в клинике Красного Креста, о чем, между прочим, сообщало агентство Рейтер.

Этим фантазии соавторов относительно "фактов" деятельности моей и Александрова не исчерпываются, они уверяют своих читателей, что дело сорвалось из-за сомнений Гитлера, нет ли капли еврейской крови у Александрова…

Слухов о попытках сепаратного мира не только в 1943 году, но и за все время войны было очень много, в частности в Стокгольме. Они обычно исходили непосредственно из штаба Геббельса и Гиммлера. Корреспонденты английских газет "Дейли экспресс" и "Дейли мейл" сообщали в своей печати о попытках

немцев установить через них связь с англичанами в Стокгольме…"

Американские журналисты перепутали даты, события осени отнесли к весне, и это позволило Коллонтай утверждать, что журналисты врут. Но сама она тоже передергивала, заявив, что Александров был советником посольства в Австралии. Но в Австралии был тогда совсем другой Александров, Александр Михайлович, советник посольства. Между тем в переговорах вполне мог принимать участие Андрей Михайлович Александров-Агентов, который в дальнейшем стал помощником генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. В 1940–1947 годах он бессменно находился в Стокгольме, сначала референтом корпункта ТАСС, а с декабря 1942 года — атташе посольства и вторым секретарем посольства, и ни в какую Австралию не выезжал. А за свою работу он еще в годы войны был удостоен ордена Красной Звезды, что наводит на мысль, что он занимался не только дипломатией и переводами.

Можно с полным основанием предположить, что ни в 43-м, ни в 44-м Сталин не собирался заключать сепаратный мир с Гитлером. Зондаж в Швеции использовался исключительно с тем расчетом, что слухи о советских контактах достигли западных союзников и сделали их более уступчивыми в выполнении советских пожеланий насчет послевоенного устройства мира.

12 ноября 1943 года нарком Молотов информировал американского посла Аверелла Гарримана и британского посла Арчибальда Кларк-Керра о переговорах с Клаусом: "Сотрудник советской миссии ответил Клаусу, что ни о каких переговорах или контактах советских представителей с немцами не может быть и речи".

Дело в том, что 29 сентября американский посланник в Швеции поинтересовался у первого секретаря советской миссии, соответствуют ли действительности слухи о тайных контактах с немцами. Теперь Молотов подтвердил, что с Эдгаром Клаусом состоялась беседа, но "сотрудник советской миссии категорически отказался от ведения каких-либо переговоров и от дальнейших встреч".

28 июня 1944 года Петер Клейст побывал на вилле советника посольства СССР в Швеции Владимира Семеновича Семенова на острове Лидинге. При разговоре с немцем, по шведским данным, присутствовал советский военный атташе полковник Николай Иванович Никитушев.

16 августа 1944 года заместитель наркома иностранных дел А.Я. Вышинский шифрограммой поинтересовался у Коллонтай: "Правильно ли мы понимаем этот ваш ответ в том смысле, что

Семенов вообще не имел никаких встреч с Кляйстом?"

Через день Коллонтай ответила: "Разумеется, никакого свидания ни у кого из наших дипработников с Кляйстом не было. На такой шаг мы бы никогда не пошли без ваших указаний".

Но здесь, судя по всему, Александра Михайловна покривила душой. Встреча с Клейстом в действительности была. Но раз Вышинскому знать о ней не полагалось, значит, санкционировал ее либо Молотов, либо, что более вероятно, сам Сталин.

Майор Петр Михайлович Гусев окончил Академию имени Фрунзе в 1939 году и служил в военной разведке, в том числе с 1940 года в Стокгольме. 15 июня 1944 года его отозвали из Стокгольма. По прибытии на родину он был арестован. Из него выбили показания, что в июле 1943 года его будто бы завербовала британская разведка (впоследствии его реабилитировали). Заодно следователи получили от него показания на Коллонтай. Глава военной контрразведки Смерш В.С. Абакумов докладывал Сталину: "Особого внимания заслуживают показания Гусева о наличии среди сотрудников советского посольства в Швеции иностранцев — шведов, норвежцев и немцев…"

Гусев утверждал: "Должен заявить, что в Советском посольстве в Стокгольме работает сотрудник, который является агентом шведской полиции.

ВОПРОС: Назовите фамилию этого сотрудника.

ОТВЕТ: ВЫСТРЕМ (Эрнст Вистрем. — Б.С.) — шведский подданный, по национальности швед, работающий личным шофером советского посла КОЛЛОНТАЙ Александры Михайловны.

В августе 1943 года шведской полицией в Стокгольме были арестованы советские агенты — местные жители КАЦ Михаил и его сын КАЦ Ленарт, поддерживавшие через имевшуюся у них радиостанцию непосредственную связь с Главным Разведывательным Управлением Красной Армии.

Чтобы выяснить обстоятельства их ареста, я встретился с женой КАЦ Михаила. В беседе она рассказала, что после суда имела свидание со своим мужем, который передал для меня книгу.

Понимая, что книга передана мне с целью, я, возвратившись в посольство, стал изучать ее вместе с военным атташе полковником НИКИТУШЕВЫМ и его помощником подполковником ПЕНЮГИНЫМ. Через луну нам удалось заметить, что некоторые буквы отмечены точками.

Прочитав по порядку эти буквы, мы узнали, что КАЦ был арестован шведами после того, как шведские радиостанции государственного телеграфа, генштаба и полиции

запеленгировали его работу по рации с Москвой.

КАЦ также предупреждал, что на суде по его делу ему стало известно, что швед, работающий шофером в советском посольстве, является агентом шведской полиции, который донес о его, КАЦА, посещениях посольства.

Хотя фамилии шофера КАЦ не указал, но было ясно, что его сообщение относится к ВЫСТРЕМ — единственному шведу среди шоферов. Все остальные шофера были русскими.

ВОПРОС: ВЫСТРЕМ был уволен из посольства?

ОТВЕТ: Нет, когда я 15 июня 1944 года выезжал из Стокгольма в Москву, ВЫСТРЕМ продолжал исполнять обязанности шофера посла.

Необходимо указать, что ВЫСТРЕМ пользуется поддержкой у КОЛЛОНТАЙ, имеет свободный доступ в здание посольства, часто его можно видеть у дверей кабинетов советников, секретарей и других сотрудников посольства и военной миссии.

После сообщения КАЦ я понял, что ВЫСТРЕМ это делал не случайно, а по заданию шведской полиции вел наблюдение за работниками советского посольства.

Кроме ВЫСТРЕМ в посольстве работали и другие иностранцы, которые, видимо, подставлены шведской полицией или германской разведкой в целях шпионажа.

ВОПРОС: О каких иностранцах вы говорите?

ОТВЕТ: В советском посольстве в Стокгольме до последнего времени работало несколько шведов, норвежцев и даже немцев.

Эти иностранцы составляют личное окружение КОЛЛОНТАЙ, пользуются ее покровительством и, несмотря на то что все эти лица не внушают доверия, работают при посольстве по нескольку лет.

Работники посольства удивлялись, почему КОЛЛОНТАЙ окружила себя иностранцами, и в частности почему у нее пользуются доверием немцы.

Например, няней у посла работает немка ДАББЕРТ Эмма, которая пользуется особым покровительством КОЛЛОНТАЙ, имеет доступ в ее служебный кабинет и почти неотлучно находится с ней. ДАББЕРТ выезжала вместе с КОЛЛОНТАЙ в Сольчебаден (под Стокгольмом), где в одной из гостиниц происходили встречи ПААСИКИВИ с КОЛЛОНТАЙ по вопросу заключения перемирия между СССР и Финляндией.

Личной прислугой КОЛЛОНТАЙ работает норвежка РАНТЕ Равик, которая долгое время живет в посольстве, пользуется правом свободного хождения по всему зданию и имеет возможность наблюдать за всеми, кто посещает советское посольство и военного атташе. Зачастую ее можно было видеть на

2-м и 4-м этажах, где размещались военный и морской атташе, шифровальная, а также квартира посла.

Из наблюдений за поведением этой прислуги у меня сложилось определенное мнение, что РАНТЕ Равик по чьим-то указаниям следит за работниками посольства.

До конца 1943 года уборщицей посольства работала некая шведка (фамилию не помню), которая должна была убирать помещение до начала работы, однако ее каждый день можно было встретить в здании в дневное время.

Не менее подозрительным лицом является работающий в посольстве в качестве адвоката швед БРАНТИНГ.

ВОПРОС: Что вам известно о БРАНТИНГЕ?

ОТВЕТ: В посольстве всем сотрудникам было известно, что БРАНТИНГ является членом шведской социал-демократической партии, которая всю войну занимала враждебную позицию к СССР и предсказывала поражение России в войне с Германией.

БРАНТИНГ являлся активным членом згой партии и в посольстве никакими правовыми вопросами не занимался, хотя и получал ежемесячно зарплату в 500 крон.

В конце 1942 года лично КОЛЛОНТАЙ ему дала единственное поручение — уладить конфликт, возникший между одним из домовладельцев Стокгольма и его жильцом работником посольства. БРАНТИНГ провалил порученное ему дело, и работник посольства был демонстративно выселен из занимаемой им квартиры.

Сотрудник посольства ШЕКИН не раз удивлялся пребыванию БРАНТИНГА в посольстве и говорил мне: "За что такому прохвосту посол платит большие деньги? Если посольству нужен юрист, почему она не хочет пригласить его из Советского Союза".

Я лично, видя, как вокруг КОЛЛОНТАЙ группировались иностранцы, приходил к выводу, что она больше доверяет немецким и шведским специалистам, нежели русским. КОЛЛОНТАЙ 14 лет проживает в Швеции и в значительной степени оторвалась от советской действительности.

ВОПРОС: Какие основания вы имеете делать такое заявление?

ОТВЕТ: Я приведу конкретные примеры. В 1942 году к заведующему конторой "Интурист" в Стокгольме СИДОРЕНКО из Советского Союза приехала его жена, по специальности врач по детским болезням.

Узнав об этом, многие жены сотрудников посольства стали к ней обращаться за консультацией и приглашать для лечения детей. Женщины говорили, что обращаться к своему отечественному врачу удобнее. Когда об этом стало известно КОЛЛОНТАЙ, она вызвала СИДОРЕНКО и, как потом он мне

рассказывал, сделала ему выговор за то, что он разрешает жене заниматься врачебной практикой, заявив, что шведские врачи являются хорошими и более опытными специалистами, чем русские, и поэтому надо пользоваться их услугами.

Когда СИДОРЕНКО возразил, что этого хотят сами матери детей, КОЛЛОНТАЙ запретила жене СИДОРЕНКО принимать больных.

Не чем иным, как только особым доверием, питаемым КОЛЛОНТАЙ к иностранцам, объясняется и тот факт, что в детском саду, который существовал в 1942 году при посольстве, воспитательницей работала немка, немецкому языку посольских работников обучал немец и даже в кружке пения для жен сотрудников руководителем являлся также немец.

7 ноября 1943 года, когда хоровой кружок давал концерт, присутствовавшие в зале сотрудники и члены их семей были возмущены тем, что во время войны с Германией в советском посольстве в Стокгольме немец обучает советских граждан пению. К тому же, как мне известно, этот немец является офицером германской армии.

ВОПРОС: Как фамилия этого немца?

ОТВЕТ: Фамилия его ШТЕМПЕЛЬ.

ВОПРОС: Откуда вам известно, что ШТЕМПЕЛЬ — офицер германской армии?

ОТВЕТ: Об этом мне говорил помощник военного атташе ПЕНЮГИН, который тогда же обратил мое внимание, что ШТЕМПЕЛЬ продолжает оставаться в Стокгольме, несмотря на то что большинство немцев выехало из Швеции в Германию в связи с мобилизацией в армию.

Необходимо указать, что у этого же ШТЕМПЕЛЯ брал уроки немецкого языка военный атташе полковник НИКИТУШЕВ.

Другой преподаватель немецкого языка — немка по имени Герта — ее фамилию не помню, давала уроки поверенному в делах СЕМЕНОВУ, советнику ВЕТРОВУ и шоферу ТРОИЦКОМУ. Она так же, как и ШТЕМПЕЛЬ, пользовалась расположением посла" которая рекомендовала ее всем, кто намерен был научать немецкий язык.

Герта по указанию КОЛЛОНТАЙ в 1942 году являлась воспитательницей в детском саду.

Обращает внимание, что муж Герты — немец — не был мобилизован в германскую армию, несмотря на свой призывной возраст и всеобщую мобилизацию в Германии.

Только покровительство, которым пользуются эти немцы, норвежцы и шведы у КОЛЛОНТАЙ, дает им возможность оставаться в посольстве, а некоторым из них прощается даже

вызывающее их поведение.

Так, в посольстве работает швед СТОРГ, числящийся переводчиком в пресс-бюро. Его хорошо знает КОЛЛОНТАЙ. 7 ноября 1943 года на прием в советское посольство СТОРГ без разрешения привел двух членов шведской национал-социалистической партии.

По словам работника ТАСС ПАВЛОВА, приведенные СТОРГОМ гости известны ему как ярые фашисты.

После того как был окончен официальный прием и в посольстве остались только советские граждане, СТОРГ продолжил оставаться со своими друзьями-фашистами, и его пришлось просить, чтобы он ушел.

Учитывая это, на прием по случаю 25-й годовщины Красной Армии я, рассылая приглашения, СТОРГУ его не послал, однако он явился на прием незваным и опять в сопровождении тех же друзей-фашистов, которые были с ним в первый раз. Засидевшись до 10 часов вечера, СТОРГ начал хулиганить, и его пришлось из посольства выдворять. КОЛЛОНТАЙ на эти факты не реагировала.

Надо сказать, что на приемах, устраиваемых в посольстве, бывают и другие лица, которые ведут себя ничем не лучше СТОРГА.

Ранее прихода других гостей в посольстве обычно появляется русская белоэмигрантка графиня ПОССЕ, знакомая КОЛЛОНТАЙ и, кроме нее, никому не известная, которая, пользуясь хорошим отношением к ней КОЛЛОНТАЙ, держит себя свободно.

Другим таким же, как и ПОССЕ, посетителем посольства является шведка НИЛЬСОН, именующая себя врачом, которая посещает КОЛЛОНТАЙ только во время завтраков и обедов.

ПОССЕ и НИЛЬСОН играют при КОЛЛОНТАЙ роль приживалок, и они в курсе разного рода дел, происходящих в посольстве.

Симпатии КОЛЛОНТАЙ к иностранцам в Стокгольме известны, и она не случайно пользуется у шведов авторитетом. Однако этот авторитет КОЛЛОНТАЙ снискала, по моему мнению, не как посол Советского Союза, а скорее как частное лицо.

В этом отношении показателен факт, когда министр иностранных дел Швеции ГЮНТЕР, известный своей враждебностью к Советскому Союзу и являвшийся организатором помощи немцам под прикрытием "нейтралитета", неоднократно частным порядком посещал КОЛЛОНТАЙ во время ее болезни.

Кроме этого ряд сотрудников посольства также, по моему мнению, не заслуживают оказываемого им доверия, так как они задерживались шведской полицией.

ВОПРОС: Кто из сотрудников посольства задерживался

шведской полицией?

ОТВЕТ: В начале 1944 года было два случая задержания работников посольства шведской полицией, при этом как в одном, так и в другом случае задерживались лица, имевшие отношение к шифрам посольства.

В один из воскресных дней шифровальщик посольства СУРОГИН после просмотра кинокартины в клубе посольства и обеда у курьера АФИНОГЕНОВА отправился прогуляться по городу. В 2 часа ночи СУРОГИН возвратился в посольство в опьяненном состоянии в сопровождении двух полицейских.

Все сотрудники посольства, с которыми мне приходилось об этом разговаривать, высказывали мнение, что СУРОГИНА к работе с шифрами допускать нельзя, тем не менее по распоряжению КОЛЛОНТАЙ он продолжительное время оставался на этой работе, а затем был переведен в Торгпредство.

Также в начале 1944 года, вскоре после случая с СУРОГИНЫМ, работающие в посольстве ПЕТРОВ и ПАВЛОВ но время одной из прогулок на автомашине задерживались полицией, и каким образом они были освобождены, мне неизвестно.

Об этом случае было доложено КОЛЛОНТАЙ, однако ПАВЛОВ был оставлен на работе в ТАСС, а ПЕТРОВ продолжал оставаться шифровальщиком.

Должен также сообщить, что в 1940 году, когда я прибыл на работу в Швецию, полковник НИКИТУШЕВ, знакомя меня с работой, говорил, чтобы я учитывал особенности характера КОЛЛОНТАЙ, которая, по его словам, со всеми сотрудниками любезна, но в то же время склонна сплетничать о них. Она, говорил НИКИТУШЕВ, хорошо относится только к некоторым сотрудникам, считающимся ее любимцами.

За более чем 4-летнюю работу в посольстве я наблюдал, как некоторые сотрудники совершенно незаслуженно пользовались особым расположением посла.

В 1940 году на должность курьера охраны прибыл некий ВОЛЬФЕН, направленный за границу по просьбе его жены, работающей референтом в посольстве.

ВОЛЬФЕН снискал симпатию КОЛЛОНТАЙ не совсем обычным способом. Когда стало известно, что КОЛЛОНТАЙ в связи с ее 70-летием награждена орденом Трудового Красного Знамени, ВОЛЬФЕН рано утром собрал в посольстве из ваз все цветы и, когда КОЛЛОНТАЙ находилась еще в постели, преподнес их ей, поцеловав руку.

С этих пор, как заявил мне полковник НИКИТУШЕВ, КОЛЛОНТАЙ считала курьера ВОЛЬФЕНА самым культурным и

образованным человеком в посольстве.

Пользуясь репутацией любимца КОЛЛОНТАЙ, ВОЛЬФЕН стал позволять себе насмешки над некоторыми ответственными работниками и, в частности, иронизировал советника СЕМЕНОВА. Полковник НИКИТУШЕВ тогда сделал ему замечание, на что ВОЛЬФЕН ответил грубостью.

Будучи близок к послу, ВОЛЬФЕН в то же время имел связь с подозрительными лицами.

ВОПРОС: С кем именно?

ОТВЕТ: В соседнем с посольством доме по ул. Виллагатен в Стокгольме проживала белоэмигрантка, фамилию которой я не знаю. На нее мы обратили внимание в связи с тем, что она все время проводила у окна, наблюдая за выходом из посольства. Из окон второго этажа посольства можно было заметить, что эта женщина хотя и делала вид, что занята вязаньем, однако периодически, когда открывалась дверь посольства, свою работу откладывала, брала в руки карандаш и делала какие-то записи.

Однажды вечером по приглашению курьера охраны КУДРЯВЦЕВА я посмотрел через окно внутрь помещения, где проживала эта белоэмигрантка, и увидел сидящего там за столом ВОЛЬФЕНА.

ВОПРОС: Где ВОЛЬФЕН находится сейчас?

ОТВЕТ: В августе 1944 года в Москве я встретил старшего помощника 2-го отделения Главного Разведывательного Управления майора СТАРОСТИНА, который некоторый период находился в Швеции и знал работников посольства.

СТАРОСТИН мне рассказал, что ВОЛЬФЕН устроился в институт иностранных языков Красной Армии преподавателем скандинавских языков. Оба мы этому удивились, так как знали, что ВОЛЬФЕН слабо владеет шведским языком.

Другим приближенным КОЛЛОНТАЙ являлся некий КАБАН КОВ, который работал заведующим шифровальной. КАБАНКОВ заслужил известность среди посольских работников как беспробудный пьяница.

В разговоре со мной секретарь посольства ГРАУР говорил, что КАБАН КОВ А снять с работы нельзя — это запрещает КОЛЛОНТАЙ.

Доверенным лицом КОЛЛОНТАЙ является жительница Стокгольма Анна Ивановна ПЕТРОВА, которая обслуживает ее приемы, устраиваемые в посольстве.

Полковник НИКИТУШЕВ мне как-то говорил, что ПЕТРОВА очень подозрительна и не исключено, что она завербована шведской полицией. Какими фактами располагал НИКИТУШЕВ о ПЕТРОВОЙ, я не знаю".

Однако показаниям Гусева не был дан ход. Сталин Коллонтай полностью доверял.

Александров-Агентов вспоминал: "На приемах блистала. До сих пор у меня перед глазами картина: стройная, хрупкая (а ведь почти 70-летняя) Коллонтай в черном бархатном платье с белым испанским кружевным воротником и с букетом роз, лежавшим на руке, танцует вальс, меняет язык своих бесед почти так же часто, как партнеров по танцу". Александра Михайловна старалась оставаться элегантной до последних дней.

После инсульта она уже не танцевала, но переговоры все еще вела, хотя и не так активно, как прежде. 7 ноября 1943 года на прием, устроенный в Гранд-отеле, был приглашен весь бомонд. По свидетельству прессы, пришло более 400 гостей. Под бурные аплодисменты присутствовавших ввезли Коллонтай — жизнерадостную, улыбавшуюся, в элегантном атласном сиреневом платье с серой отделкой. Опять рекой лилось вино, манила икра в серебряных бочонках. Заместитель министра иностранных дел Швеции Бохеман подошел к Коллонтай, но вместо светских любезностей выразил желание "встретиться и поговорить". Она тут же пригласила его на завтрак. Через несколько дней Коллонтай уже имела возможность сообщить Москве, что во время завтрака Бохеман пытался понять, согласится ли господин Сталин на встречу его представителей с представителями Финляндии для предварительных переговоров.

Р. Валленберг

В феврале 1944 года зондаж продолжился через Валленберга. Коллонтай называла Маркуса Валленберга "некоронованным королем Швеции", а всю его банкирскую семью — "подлинной династией, управляющей страной". Предварительно с Валленбергом по рекомендации Александры Михайловны встретилась Рыбкина.

Переговорив с Коллонтай, Валленберг отправился в Хельсинки. На следующий день после его приезда туда советская авиация нанесла мощнейший бомбовый удар по финской столице. Руководители Финляндии уже не сомневались в поражении Германии, из задумывались о том, как выйти из войны с наименьшими потерями. На переговоры в Стокгольм отправился государственный советник Юхо Куста Паасикиви, которого Коллонтай хорошо знала еще тогда, когда он был финским послом в Швеции. 20 февраля Паасикиви с женой прибыл в Стокгольм, а затем отправился в курортный Сальтшебаден, где в Гранд-отеле проходила реабилитацию Коллонтай. 1 марта 1944 года НКИД опубликовал заявление, где говорилось: "В середине февраля с. г. один видный шведский промышленник обратился к советскому посланнику в Стокгольме А.М. Коллонтай с

сообщением, что в Стокгольм прибыл представитель финского правительства г-н Паасикиви, имеющий поручение выяснить условия выхода Финляндии из войны…" Тем самым стремились подтолкнуть Финляндию к миру и усилить недоверие между Хельсинки и Берлином. В Кремле прекрасно сознавали, что сил для оккупации Финляндии у Германии все равно нет.

22 июня 1944 года, через 12 дней после начала советского наступления на Карельском перешейке, генеральный секретарь министерства иностранных дел Швеции Эрик Бухеман беседовал с Коллонтай на предмет переговоров о выходе Финляндии из войны. На ее запрос ответ из Москвы последовал на следующий день: переговоры возможны, но правительство Финляндии должно заявить о своей капитуляции. Финнов это не устроило. Финские войска упорно сопротивлялись, хотя и отступали, и разбить их не получалось. 20 июня пал Выборг. Однако финны, получив помощь от немцев штурмовыми орудиями и авиацией, нанесли поражение советским войскам в сражении при Тали-Ихантала в период с 21 июня по 15 июля. По оценке финских историков, по данным советских архивов, советские войска потеряли 15 тыс. убитыми и пропавшими без вести и 53 тыс. ранеными и больными. Финские потери составили 1,1 тыс. убитыми, 1,1 тыс. пропавшими без вести и 6,3 тыс. ранеными.

14 июля Москва согласилась на переговоры без требования капитуляции. Но в целом советское наступление на Карельском перешейке, которое финнам удалось остановить только после взятия Красной армией Выборга, заставило финских представителей быть сговорчивее. Летом Паасикиви сменил финский посол в Стокгольме Грипенберг. Профессор Свартц нашел у Александры Михайловны предынсультное состояние: кровяное давление доходило до двухсот сорока, новый удар мог последовать в любую минуту. Финская делегация подписала в Москве перемирие 19 сентября 1944 года, но боевые действия прекратились еще 4–5 сентября. Стороны возвращались к границе 1940 года. Кроме того, Советскому Союзу передавался район Петсамо, а полуостров Порккала сдавался в аренду для создания советской военно-морской базы. Перемирие было заключено на условиях, которые были согласованы в ходе переговоров с Коллонтай и гарантировали Финляндию от оккупации Красной армией. "Я поплатилась во время переговоров параличом левой ноги и руки, — вспоминала Александра Михайловна, — но продолжала работать и оставалась на поле брани до отъезда делегации финского правительства в Москву, после чего слегла от истощения и воспаления легких".

Коллонтай получила указание лично поблагодарить

шведского короля Густава, который в ходе затягивавшихся переговоров с финнами сам обращался к президенту Финляндии Ристо Рюти с рекомендацией как можно скорее идти на мир с Москвой. Но на приеме у короля полагалось стоять, а левая нога все еще не слушалась Александру Михайловну. Пришлось устно передать благодарность через навестившего ее премьер-министра.

8 июля 1944 года Президиум Верховного Совета СССР издал указ, согласно которому отныне признавался только зарегистрированный, а не фактический брак. Развод теперь был сопряжен с судебной процедурой, а рожденные вне брака дети лишались прежних прав. Было также запрещено установление отцовства по суду и взимание алиментов с отца, который не признавал отцовства. Коллонтай была очень огорчена, так как новый закон, как она считала, вновь закрепощал женщину, за раскрепощение которой она боролась всю жизнь.

Она первой информировала Москву о специальной миссии, с которой направлялся в Будапешт молодой шведский архитектор, племянник Маркуса, Рауль Валленберг, получивший дипломатический пост. Назначенный сотрудником шведского посольства в Венгрии, он получил задание спасти как можно больше венгерских евреев, предназначенных оккупировавшими страну немцами для депортации в лагеря смерти. Деньги для выполнения миссии, в том числе на взятки венгерским и германским чиновникам, дали американские финансисты еврейского происхождения и благотворительные фонды. Александра Михайловна не могла предполагать, что по приказу Сталина Рауль Валленберг будет арестован в занятом советскими войсками Будапеште, а в 1947 году убит.

Теперь Коллонтай взялась за мемуары. Их первоначальный текст она отправила Молотову и Майскому, который стал заместителем Молотова. Нарком не ответил, а Майский 9 марта 1945 года отзыв прислал: "Воспоминания стоит напечатать, безусловно, как за границей, так и у нас. Правда, судя по вашему письму к т. Молотову, Вы как будто собираетесь для СССР написать другую версию Вашей работы. <…> Вы выступаете резко против Англии, Франции и США. Правда, одновременно Вы выступаете не менее резко и против Германии. <…> Удобно ли Вам это, поскольку Вы посол на посту? А во-вторых, вообще верно ли то, что Вы пишете?"

Коллонтай получила письмо Майского неделю спустя. А 17 марта Молотов известил ее телеграммой о том, что утром следующего дня за ней прилетит специально посланный советский самолет. В самолете ее будет сопровождать представитель Швеции и шведский врач. Лететь согласилась

Нанна Свартц. Сопровождать Коллонтай вызвалась Эми Лоренссон, посвятившая ей свою жизнь. Не исключено, что поспешная эвакуация мосла была вызвана делом Рауля Валленберга.

В середине февраля личной встречи с Коллонтай попросила жена министра иностранных дел Ингрид Гюнтер. Она просила прояснить судьбу пропавшего Рауля Валленберга. Александра Михайловна отправила в Москву соответствующую шифровку. Ей ответили, что он находится в безопасности и за его судьбу можно не волноваться. Сразу после этого из Стокгольма был отозван Владимир Семенов, а вскоре и сама Коллонтай.

Этому предшествовали следующие события. 28 февраля дядя Рауля Маркус Валленберг встретился с Коллонтай в советском посольстве и просил сообщить, где племянник и как себя чувствует. Коллонтай пообещала. А затем с ней встретилась мать Рауля, баронесса Май фон Дардель, но ничего нового не узнала. Коллонтай сообщила о своей беседе в Москву В ответ Молотов потребовал больше не вести разговоров о судьбе Рауля Валленберга.

И как раз 12 марта 1945 года советские представители в Бухаресте сообщили шведским дипломатам, что Москве ничего неизвестно о судьбе Рауля Валленберга. Разумеется, в этих условиях нельзя было оставлять в Стокгольме Коллонтай, которая совсем недавно сообщала шведам прямо противоположное, причем со ссылкой на сведения, полученные из Москвы. И когда во второй половине апреля 1945 года шведская сторона в Стокгольме и Москве пыталась узнать о судьбе Валленберга, советские представители им врали, что ничего о нем не знают.

Последние годы

В 1945 году депутаты норвежского стортинга и шведского риксдага, женский секретариат Норвежской рабочей партии, социал-демократический и радикальный союзы женщин Швеции, а также многочисленные общественные деятели двух стран выдвинули кандидатуру Александры Михайловны Коллонтай на получение Нобелевской премии мира. Но лауреатом Нобелевской премии мира 1946 года стал Джон Рэлей Мотт — видный американский протестантский деятель и председатель Христианского союза молодых людей (Young Men Christian Assotiation — YMCA), который в 1921 году основал в Праге знаменитое издательство YMCA-PRESS. Он был удостоен премии "за миссионерскую деятельность". Премию разделила с ним американка Эмили Грин Болч, которую наградили "за многолетний, неутомимый труд на благо мира". Коллонтай решением Нобелевского комитета была уязвлена.

5 сентября 1945 года ее наградили орденом Трудового Красного Знамени за успешное выполнение заданий советского правительства во время Великой Отечественной войны.

А в 1942 году она получила орден Трудового Красного Знамени в связи с 70-летнем со дня рождения.

10 июня 1946 года в норвежском посольстве в Москве Коллонтай вручили Большой крест ордена Святого Олафа 1-й степени с лентой. А в 1947 году она была удостоена мексиканского орден Ацтекского орла.

Коллонтай продолжала числиться советником МИДа СССР в ранге Чрезвычайного и Полномочного Посла, Во Внукове Шуру встретил внук Владимир. Петр Маслов умер своей смертью 4 июля 1946 года. Посмертно, в 1947 году, вышла его последняя книга "Опыт изучения работы машинно-тракторных станций", которую сегодня вряд ли кто будет читать. Все- таки он всегда был "ее любовником". И в истории осталась полпред Коллонтай, а не академик Маслов.

Постаревшая Александра Михайловна писала своему старому другу Боди: "Ни у кого, ни к кому нет доверия, все следят друг за другом и друг на друга доносят. Это не жизнь, это пытка… Мы проиграли. Идеи рухнули, друзья превратились но врагов, жизнь стала не лучше, а хуже. Мировой революции нет и не будет. А если бы и была, то принесла бы неисчислимые беды всему человечеству. Но все равно надо жить…"

Коллонтай предоставили трехкомнатную квартиру № 149 в доме 11 по Большой Калужской. Это был престижный дом,

построенный руками немецких военнопленных. Александра Михайловна навестила Елену Стасову, но былой близости уже не было. Зоя Шадурская умерла еще в 1939 году. Из подруг часто навещала Коллонтай только Татьяна Львовна Щепкина-Куперник. Изредка приходил Семен Мирный. Он намного пережил ее и умер в 1973 году, в возрасте 77 лет. Уйдя из органов, Семен Максимович с 1955 года трудился главным библиографом в библиотеке имени Ленина.

Только 27 июля 1945 года Коллонтай формально перестала быть послом в Швеции.

Александра тщательно сохраняла свой личный архив с молодости. Но правила свои дневники, убирая нелицеприятные характеристики в адрес вождей и добавляя дифирамбы Сталину. Но она оставила добрые слова обо всех своих репрессированных друзьях — Дыбенко, Шляпникове, Статкевиче и др., не сказала о них ничего плохого.

Однажды звонок из Стокгольма заставил ее написать письмо в МИД: "Заведующему 5-м Европейским отделом МИД СССР товарищу Орлову П. Д.

Многоуважаемый Павел Дмитриевич! <…> Час тому назад из Стокгольма мне позвонил мужской голос. Он спросил, сама ли это мадам Коллонтай. Я ответила "да", уверенная, что это от моих друзей Линдерутов или доктора Ады Нильсон.

Мужской голос сказал: "Я говорю по поручению жены Гюнтера. Ингрид Гюнтер шлет вам привет и напоминает разговор перед вашим отъездом из Стокгольма".

Я: Когда это было и о чем?

Он: Это было в 1945 году и вы обещали узнать о судьбе Рольфа (правильно: Рауля. — Б.С.) Валленберга. Мадам Гюнтер спрашивает, нет ли у вас каких-либо сведений о нем?

Я: Никаких новых сведений я не имею и вообще к этому вопросу не имею касательства <…>. Прошу по этому вопросу меня больше не беспокоить.

Считаю своей обязанностью, многоуважаемый Павел Дмитриевич, незамедлительно поставить Вас об этом в известность".

Александра Михаиловна чувствовала, что дело Рауля Валленберга смертельно опасно для нее. В ее дневнике сохранилась единственная запись об этом деле: "Взволновал телеграфный запрос гетеборгской газеты о судьбе молодого Валленберга. Телегр[амма] провокационная и все дело "нехорошее" — из него делают шум. Под суфлерство Валленберга*. Очевидно, Коллон-тай понимала, что Валленберг побывал в советских руках и что его давно нет в живых.

Тут возникла проблема определения ее партстажа, что очень существенно влияло на размер пенсии. Ее стаж с 1917 года готовы были признать, ведь в том году ее избрали в ЦК. Но в этом случае ей не хватало двух лет: высшая партийная пенсия давалась лишь при минимальном тридцатилетием стаже. С помощью Стасовой удалось доказать, что Коллонтай — большевичка с 1915 года.

По старой памяти она обратилась к Ворошилову, когда-то покровительствовавшему Дыбенко, с просьбой помочь внуку: "Дорогой Климент Ефремович! <…> На сердце у меня забота о моем внуке Владимире Коллонтай. Он второй год является аспирантом экономических наук в государственном институте международных отношений, кандидат партии ВКП(б) и секретарь (вероятно, комсомольского бюро. — Б.С.) факультета Ему 23 года, и он на хорошем счету. Но юноша рано женился на комсомолке, дочери заместителя (директора — Б.С.) Высшей Дипломатической школы тов. Поповкина

И вот уже два года молодая чета не имеет собственного крова, а ютится попеременно то на жилплощади (очень притом тесной) моего больного сына, личного (правильно: персонального. — Б.С) пенсионера <…>, то в перенаселенной квартире Поповкина <…> Временно я приютила внука с женой у себя, но лишаюсь этим необходимого мне покоя и рабочего кабинета <…> Писала т. Молотову, но на два письма не получаю ответа что на Вячеслава Михайловича совсем непохоже. К Вам моя просьба выяснить, есть ли надежда на получение еще этой зимою жилплощади (1 или 2 комнатки) для научного работника и, по-видимому, дающего хорошие надежды Владимира Коллонтая. <…> Буду сердечно и горячо благодарна Вам, дорогой соратник первых боевых годов Революции и установления первой в мире Советской республики…"

Через год с небольшим Александра Михайловна повторила свою просьбу: "Дорогой Климент Ефремович. <…> Сейчас готовы для заселения две секции правительственного дома на Донской улице. <…> Мой внук — член партии, он заканчивает диссертацию. Моя самая большая забота, давящая на душу и на нервы, — это обеспечение внука нормальной жилплощадью…"

Ответа так и не последовало.

Иногда Коллонтай отдыхала в правительственных санаториях "Барвиха" и "Сосны".

"О Хозяине (Сталине. — Б.С.) ничего не слышно, — писала она в своем дневнике. — И не пишут. Внук его от первого брака живет в Соснах… Все работают много, нигде в мире так не работают. И хорошо, и плохо физически. В колхозах голодно

пока. <…> Удивительно: в церквах много народу, особенно в субботу и воскресным утром. <…> Народу очень трудно. Все дорого, хлеба мало. Недоедание. <…> Литература <…> сейчас скучная, хоть и "героическая". Плохо освещает проблемы, нужды дня и выход. Непсихологично <…>".

Александра Михайловна утверждала: "Советский Союз живет пафосом строительства и умной политикой Сталина. <…> Безмерная душевная радость от нашей политики. Это дело ума Сталина". Но при этом критиковала советскую внешнюю политику, очевидно, отделяя ее от Сталина: "Абсолютно неразумная, негибкая политика. Испытываю страх, точнее беспокойство, за наши отношения с США… У нас холодная, чрезмерно умственная внешняя политика. Мы слишком мало придаем значения эмоциям, а они — огромная сила".

26 мая 1947 года Сталин в пропагандистских целях, на короткий срок, до 12 января 1950 года, отменил смертную казнь. Это событие Коллонтай отметила восторженной записью в своем дневнике: "Великий День — знаменательный и необычайно дорогой для меня: отмена смертной казни по законодательству СССР. Годами смертная казнь была моим кошмаром. Меня преследовала вся нецелесообразность и средневековщина этого акта. Я исписывала тетради в минуты, когда муки перехлестывали через край души, а поделиться было не с кем. <…> Осенью 17-го года в Питере мы с Горьким долго говорили о том, что же сделать, чтобы молодая республика не шла по пятам жестокостей, не оправдываемых здравым смыслом. <…> И когда я раз высказала Ленину свои мысли, он ответил мне: "Революцию нельзя делать в белых перчатках". И Горький позднее иначе разъяснял вопрос. И я понимала умом, но и до сего дня каждая казнь <…> больно ударяла по сердцу. Это то, чего я никогда не приму в жизни".

В 1947 году Тито еще не стал "фашистом" и "агентом империализма", и во введенном им "рабочем самоуправлении" Коллонтай увидела попытку осуществить идеи "рабочей оппозиции", которые она до сих пор втайне одобряла, хотя в свое время публично от них отмежевалась. Но вскоре Тито превратился во врага, и высказываться положительно о югославском опыте даже в дневнике стало рискованно.

"Что я больше всего ненавижу?" — спрашивала себя Коллонтай в дневнике. И тут же перечислила, что именно: "1) фарисейство и хамство; 2) жестокость и всяческую несправедливость; 3) унижение человеческого достоинства".

В последние годы жизни Александра Михайловна занималась мемуарами. В 1945 году воспоминания Коллонтай были

опубликованы на шведском языке в Стокгольме. Небольшой отрывок появился в журнале "Октябрь", в девятом номере за 1945 год. Больше прижизненных публикаций не было.

14 мая 1949 года Александра Михайловна писала о своей жизни Вере Юреневой: "Мы с Эми живем очень тихо, однообразно, как полагается летом. Я строго распределила день: утром два часа работаю, потом Эми везет меня на чудесные прогулки в парк или в лес, оттуда вид на реку Клязьму, в четыре часа — обед, вечером Эми мне читает вслух "Ярмарку тщеславия" Теккерея… Эми ходит в кино два раза в неделю…

Я отдыхаю без разговоров и встреч.

Жду Мишу и Иру в июле…"

Она писала Вышинскому, в 1949 году сменившему Молотова во главе МИДа: "Глубокоуважаемый и дорогой Андрей Януарьевич, пишу Вам под свежим впечатлением живых рассказов окружающей меня молодежи, аспирантов и студентов Института международных отношений, о Вашем интереснейшем выступлении перед [ними], так много им давшем. <…> Мне хочется искренне приветствовать Вас за то, что Вы уделили время <…> нашей молодежи, среди которой находится и мой внук Владимир Михайлович Коллонтай, аспирант по кафедре экономики. <…> Неизменно восхищаюсь той мудрой внешней политикой, которую Вы проводите, Вашими всегда блестящими речами. <…>

Примите мой сердечный привет и искренние пожелания успехов в Вашей ценной и большой работе".

А в другом письме: "С неизменным восхищением читаю Ваши, как всегда, глубокие речи в ООН, они высоко поднимают престиж нашей социалистической Родины…"

Но в дневнике она оценивала "дорогого Андрея Януарьевича весьма критически: "Во внешнеполитической линии я очень боюсь узкого догматика Вышинского. Боюсь вреда, который он причинит своей жесткостью, непримиримостью, прямолинейностью"; "Если бы с момента окончания войны <…> мы повели бы более гибкую, вернее "здравую", внешнюю политику, без натужно неумелых осложнений вопросов "юристами", мы могли бы оттянуть <…> процесс вражды и реакции. Дипломатия в том и состоит, чтобы при неблагоприятной обстановке суметь извлечь для своей страны наибольшую пользу. Наша дипломатия с конца 1945 года шла по другой линии. Незнание психологии вождей других стран <…> — вот что вносило ненужные трудности, где их можно было избежать. "Юрист" — плохой дипломат".

Она чувствовала приближение конца и записала в дневнике:

"Смерти никогда не боялась и не боюсь. Это неизбежно и естественно, а потому входит в круг задач человека. Но смертную казнь ненавижу даже больше войны".

Коллонтай откликнулась в дневнике на смерть Литвинова: "Умер Литвинов. Мир опустел для меня. Лишиться такого большого человека и личного друга! Пусто… И больно…"

Александру Михайловну волновала судьба ее архива. Она написала письмо Майскому: "Глубокоуважаемый и дорогой друг Иван Михайлович, обращаюсь к вам не с письмом, а со своим завещанием. Посылаю весь мой личный архив — дневники, письма, записки и прочее. Товарищ Эми Генриховна Лоренсен знает, где находятся все материалы по моему архиву <…>".

17 ноября 1950 года она написала С.М. Мирному: "Я не базируюсь на документах, в этом ценность моих записок. Пишу о том, что видела сама, о тех людях и впечатлениях, которые вынесла лично. Сверяю иногда лишь какую-нибудь дату, если ее упустила в записках. Для будущих историков интересно будет непосредственное впечатление живого участника тех лет…"

Через много лет после смерти Коллонтай в Швеции нашлись два ее письма по-немецки, адресованные Аде Нильссон, в которых Коллонтай просит укрыть свои "письма, заметки, дневники, все личные материалы" и передать их в Москву не раньше чем через десять лет после ее смерти. Они будут опубликованы, добавляла Коллонтай, "когда в Советском Союзе наступят подходящие времена".

Мысль о том, чтобы успеть устроить карьеру внука, не покидала ее. Владимир уже работал научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Академии наук, но и внук, и бабушка мечтали о серьезной карьере. За пять дней до смерти Коллонтай обратилась к Вышинскому с льстивым письмом, надеясь помочь внуку:

"Глубокоуважаемый и дорогой Андрей Януарьевич.

<…> Не могу не выразить Вам моего поздравления за совершенную Вами огромную ценную работу в Париже. Если сопоставить, что было год тому назад у наших противников и что у них имеется сейчас, нельзя не почувствовать, как успешно и целеустремленно ведется наша политика и сколько Вы в нее привнесли за это время. <…> Вы себе не представляете, как москвичи с жадным интересом читали Ваши блестящие доклады в Париже. С искренним уважением и преданностью…"

Судя по записям в дневнике, Александра Михайловна кривила душой. Но она вполне освоила советское "двоемыслие".

Умерла Александра Михайловна Коллонтай 9 марта 1952 года от сердечного приступа, не дожив до своего 80-летия лишь

22 дня. Интересно, что смерть случилась на следующий день после так чтимого ею праздника 8 Марта. "Все случилось очень быстро, — писала Эмми Лоренсон. — 7 марта, в пятницу, Александра чувствовала себя очень хорошо, успела закончить большую работу и сдала ее в архив. 15 марта мы собирались ехать в Барвиху. Но вечером у нее случился сердечный приступ, а через сутки все было кончено. Она уснула у меня на руках. Врач был рядом, ей впрыснули камфару, дали кислород. А я все думала о профессоре Нанне Шварц, которая, быть может, смогла бы помочь ей еще раз…"

О смерти Коллонтай написали все крупнейшие газеты мира. В СССР скромный некролог был помещен только в "Известиях". Гражданская панихида прошла в конференц-зале Министерства иностранных дел. Ее похоронили на Новодевичьем кладбище, на "аллее дипломатов" — рядом с Чичериным и Литвиновым.

Александра Коллонтай прожила бурную, но счастливую жизнь. Человеку с ее биографией умереть в своей постели и в весьма преклонном возрасте в тех условиях было немалым достижением.